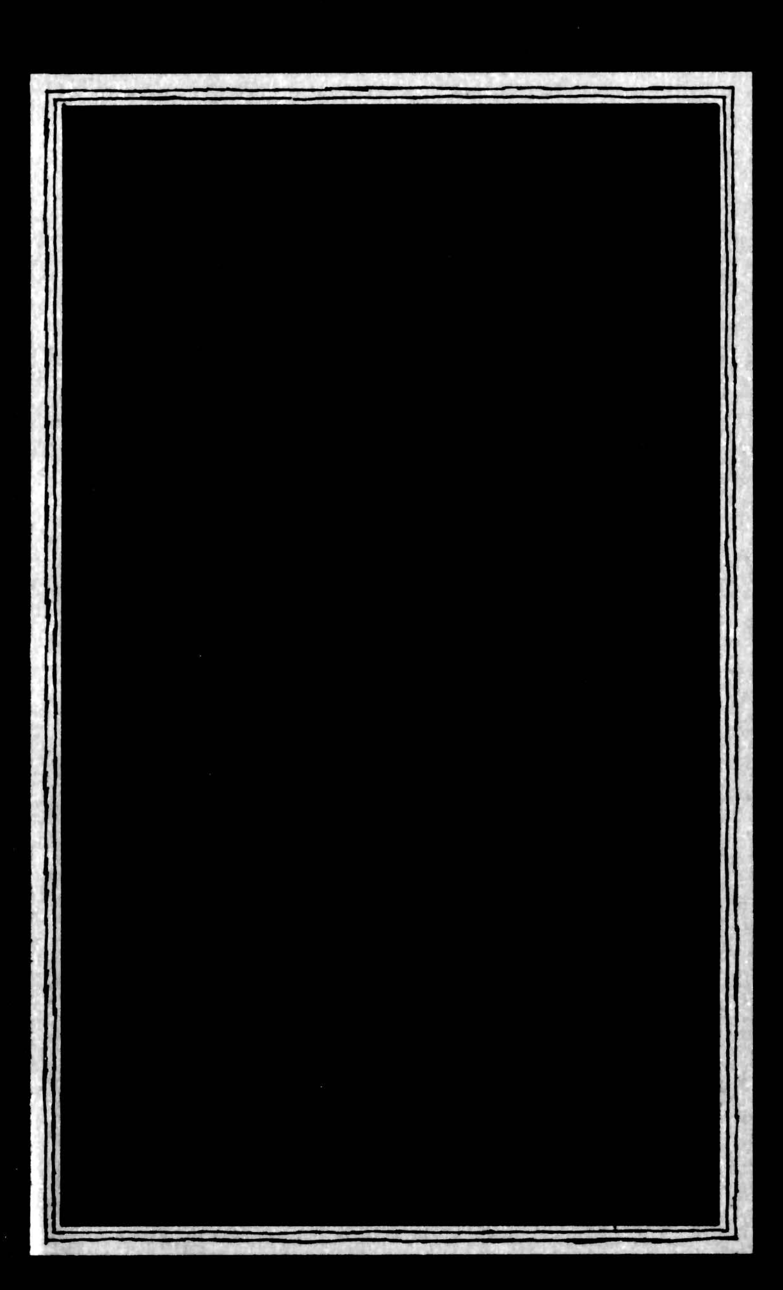
М.А.БУЛГАКОВ

1

Михаил Булгаков

1





М. А. Булгаков. 1926, Москва

Михаил Булгаков

*Собрание сочинений*
*в пяти томах*

# М.А.БУЛГАКОВ

*Собрание сочинений в пяти томах*

■



■



*Москва*
*«Художественная литература»*
*1989*

# М.А.БУЛГАКОВ

*Собрание сочинений в пяти томах*
*Том первый*

■

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

РАССКАЗЫ

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

■



*Москва*
*«Художественная литература»*
*1989*

ББК 84Р7
Б90

Вступительная статья
В. Я. ЛАКШИНА

Подготовка текста
М. О. ЧУДАКОВОЙ

Комментарии
Я. С. ЛУРЬЕ, А. Б. РОГИНСКОГО («Белая гвардия»),
М. О. ЧУДАКОВОЙ

Оформление художника
Ю. КОПЫЛОВА

Б 4702010201-312 / 028(01)-89 Подписное

ISBN 5-280-00759-5 (Т. 1)
ISBN 5-280-00760-9

## МИР МИХАИЛА БУЛГАКОВА

### 1

Великая, непредсказуемая сила — время.

При жизни Булгакова вряд ли кому в голову пришло бы называть его «классиком». Первое, с чем писатель столкнулся после яркого, но кратковременного успеха в середине 20-х годов, было недоверие, хула, политические наветы, а в последние, наиболее плодотворные, десять лет его жизни — замалчивание и забвение. Автор единственной шедшей на сцене в пору, когда он умирал, пьесы «Дни Турбиных» как бы выпал из современной ему литературы.

В 60-е годы, во времена начальной посмертной славы Булгакова, считаясь с нараставшим его успехом у читателей, критика удостоила его включения в обширный ряд советских писателей 20-х годов, запечатлевших эпоху революции. Причем по выдержанности мировоззрения, а стало быть, и по масштабу творчества он, согласно распространенному мнению, уступал большинству современников[1].

Однако прошло еще два десятилетия, и, по воле читательского большинства, Булгаков своенравно вышел из этого ряда и

---

[1] В 1957 г. А. А. Сурков, руководивший тогда Союзом писателей, предостерегал от увлечения Булгаковым: «...кое-кто стремился зачислить в классики советской драматургии Михаила Булгакова при полном забвении многого чуждого нашему времени, что несло в себе творчество этого литератора» (Правда, 1957, 1 декабря). А еще спустя десять лет, когда читатели познакомились с прозой Булгакова, профессор А. И. Метченко разъяснял, что его произведения «уступают по глубине и верности изображения советской действительности произведениям, написанным с позиций социалистического реализма» (Москва, 1967, № 6, с. 202).

встал в ряд другой — старших богатырей русской литературы: Тургенева, Толстого, Чехова — и, вероятно, навсегда останется в нем. Здесь его законное место.

Одновременно шел и другой процесс — переводы Булгакова на многие языки постепенно завоевывали весь культурный мир. И недаром в «Пантеоне XX века», который задумали создать в память самых выдающихся людей столетия в Америке, одно из двух имен русских писателей, прославивших свое время и свою страну,— имя автора «Мастера и Маргариты».

Обаяние таланта Булгакова оказало влияние на многих художников мира, и значение его художественных открытий благодарно признают крупнейшие писатели — от Чингиза Айтматова до Габриэля Гарсия Маркеса.

За двадцать с небольшим лет, что существует «булгаковедение», об этом писателе написано на разных языках земного шара больше, чем о ком-либо другом из недавних литературных знаменитостей. Когда четверть века назад Булгаков стал возвращаться к нам своими книгами, приходилось расчищать на пути к нему такие завалы, созданные усилиями критиков и литературоведов, перепрыгивать через такие расселины незнания его биографии и наследия в целом, что многое в его судьбе рисовалось смутно, как если бы он жил столетия два назад. Диковинно ли, что многие суждения в первых биографических очерках о нем, в том числе и принадлежащие автору этих строк, грешили неполнотой и приблизительностью.

Последние полтора десятилетия наше знание о Булгакове развивается стремительно, количество его изданий и работ о нем растет по экспоненте, и сейчас трудно уже обозреть и учесть все, что печатается о нем и его творчестве. К концу 80-х годов закончены все основные публикации неизвестных ранее художественных текстов Булгакова, и ждать новых ошеломляющих находок не приходится. Но еще остаются задачи собирания его писем, текстологических уточнений в известных вещах, работа над вариантами. В Советском Союзе вышли книги о Булгакове А. Смелянского, М. Чудаковой, Л. Яновской, значительные исследования Я. Лурье, И. Бэлзы, В. Гудковой, А. Нинова и других. Его судьбе и книгам посвящены работы Лесли Милн, Эндрю Беррата и Джули Куртис — в Англии, Эллендеа Проффер и Эдит Хайбер — в США, Колина А. Райта в Канаде и Питера Дойля в Новой Зеландии, Ральфа Шрёдера в ГДР и Волькера Левина в ФРГ, Э. Баццарелли и Р. Джулиани — в Италии, М. Йовановича в Югославии и Анжея Дравича в Польше, Калпаты Спхни в Индии и Л. Халлера в Венгрии — всех перечислить было бы трудно.

Ныне фигура Михаила Булгакова, первое собрание сочинений которого выходит у нас в свет, рисуется много яснее и объемнее, чем раньше, но от этого она не становится менее привлекательной. Книги его завоевывают внимание новых поколений читателей.

## 2

В жизни всякого человека, тем более писателя и тем более писателя крупного, бывают такие моменты, когда он ходом внутреннего развития или внешними событиями приведен к необходимости оглянуться на себя и свой труд, подумать, что он значит для людей, ради чего живет и во что ценит свет.

Таким драматическим моментом самосознания был для Булгакова конец марта 1930 года, когда оставшийся безработным литератором, лишенный, по выражению Ахматовой, «огня и воды», уничтоженный критикой и растоптанный цензурой Булгаков держал в ящике стола револьвер, подумывая о самоубийстве. Чувствуя себя на краю, в настроении решительного выбора, он написал и разослал в семь адресов письмо «Правительству СССР». Письмо это не было жалобой, еще менее покаянием или льстивой просьбой. Булгакову надо было решить свою судьбу — твердо и бесповоротно. Он хотел разрубить туго затянувшийся узел и прежде всего понять — сможет ли он работать в своей стране или для него остается один путь — в эмиграцию. Если же обе эти дороги закрыты — а молчание для него равносильно «погребению заживо»,— он готов был и к окончательному расчету с жизнью.

В *таком* письме не могло быть ни слова неточного или фальшивого. Булгаков хотел предстать перед возможными читателями письма без всяких уловок и экивоков, таким, каков есть.

Он понимал и то, что в любом случае его письмо может сохраниться для будущего (а Булгакову было в высшей степени свойственно чувство исторического присутствия) и приобрести вид завещания или исповедания веры. И потому в этом письме, помимо указаний на крайность своего положения и просьб так или иначе определить его судьбу, содержались дорогие писателю мысли, которые вернее было бы назвать убеждениями, поскольку они были оплачены суровым и горьким опытом.

Эти убеждения, высказанные откровенно и жарко, с риском быть вовсе непонятым возможным адресатом и окончательно

погубить себя, были таковы. Во-первых, Булгаков резко отметал попытки представить его пасквилянтом Великой Революции, но честно говорил, что предпочитает Великую Эволюцию, мирный и постепенный ход развития, более естественный, на его взгляд, в отсталой стране. Во-вторых, он называл лучшим слоем в отечестве русскую интеллигенцию, с которой чувствовал кровную связь, и, подобно своему «учителю» Салтыкову-Щедрину, считал себя вправе изображать «страшные черты моего народа», глубоко страдая от его темноты и невежества. В-третьих, с прямотой, которая могла почесться вызовом, он называл себя «мистическим писателем», признавал, что язык его пропитан сатирическим «ядом», объявлял свободу слова высшим благом для любого писателя, а цензуру своим злейшим врагом.

И все это — не забудем — как раз в разгар «раскулачивания» в деревне, когда в том же 1930-м высланную семью Твардовского, подобно тысячам других крестьянских семей, выбросили из эшелонов в снег на Северном Урале; когда готовился процесс Промпартии и в каждом спеце-интеллигенте готовы были видеть вредителя; когда лозунг классовой борьбы в литературе трансформировался в практику групповой и классовой ненависти и Маяковский, не признанный РАППом «своим», был на пороге самоубийства.

Похоже, что, изумленный непривычной и отчаянной отвагой письма отверженного писателя, а кроме того, преследуя, несомненно, свои политические расчеты, 18 апреля 1930 года Сталин позвонил на квартиру Булгакову. Он не предлагал ему вернуться к литературе, не обещал возвращения на сцену его пьес. (Булгаков не знал, что в недавнем письме к В. Билль-Белоцерковскому Сталин отозвался о «Беге» как об «антисоветском явлении», а «Багровый остров» назвал «макулатурой» [1].) В телефонном разговоре Сталин не возразил ни словом на горькое предположение Булгакова, высказанное в письме, что его «обрекут на пожизненное молчание в СССР». Он удовлетворенно отметил вырвавшийся у Булгакова возглас, что русский писатель не может жить вне родины. И одобрил бедственный по существу выход, подсказанный самим писателем: дать ему режиссерскую работу в Художественном театре, дабы несостоявшийся драматург и литератор, утверждавший, что его ждет «нищета, улица и гибель», в самом деле не пропал с голоду.

Таким образом, практический результат булгаковского письма был сомнителен, успех его невелик. Но для самого

---

[1] Сталин И. В. Сочинения, т. 11. М., 1949, с. 328—329.

Булгакова оно было крупнейшей вехой. Самохарактеристики, обдуманные и запечатленные здесь, убеждения, с прямотой почти вызывающей выраженные в письме правительству, были им выстраданы и пронесены через всю оставшуюся жизнь. Среди них главное — верность правде, чувство чести и стоическое выполнение, вопреки немилостям судьбы, своего писательского долга.

## 3

Впечатлительный и нервный, но порой удивлявший своим упорством, Булгаков имел крепкие жизненные корни. Он родился в Киеве на Воздвиженской улице 3(15) мая 1891 года. Что сказать о начале его дней? По-видимому, первой важной краской для биографа будут — картины родного города и традиции рода, семьи. Златокупольный, тонущий в садах Киев с Владимирской горкой над Днепром — «мать городов русских», где как бы сошлись юг и север, песенная народность и столичная культура, Украина и Россия,— остался навсегда для Булгакова притягательнейшим местом на земле.

Михаил был первенцем в большой семье преподавателя Духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. Мать Варвара Михайловна, урожденная Покровская, в молодости учительница, потом вспоминала о своей профессии лишь в годы бедствий, служа инспектором на женских курсах. Но при жизни мужа, да и позже, ей с лихвою хватало обязанностей хозяйки дома, на которой еще лежало отрадное бремя — поднять семь человек детей, троих мальчиков и четырех девочек.

К этому стоит прибавить, что бабушка со стороны матери, Анфиса Ивановна, часто гостившая в их доме и на загородной даче под Киевом, в местечке Буча, носила фамилию Турбина — родовое имя, стойко реющее над молодыми замыслами Булгакова. Деды писателя и по матери, и по отцу принадлежали к церковному сословию. В XIX веке из семей священнослужителей выходили молодые люди, тянувшиеся к светской культуре, кончавшие столичные университеты. Они пополняли ряды демократической бессословной интеллигенции, сливавшейся, кстати сказать, и с терявшей свой аристократический блеск интеллигенцией дворянской. В недавнем прошлом из этой среды поднялись драматург Островский, критик Чернышевский, историк Сергей Соловьев. Понятие дворянской чести переходило по наследству к образованным людям, рождая представление

о чести русского интеллигента, столь важное впоследствии для Булгакова.

Небезразлично и то, что родовые корни Булгакова уходят в Орловскую землю: здесь плодородный для русского гения пласт национальных традиций, полнозвучия неиспорченного родникового слова, которое сформировало талант Тургенева, Лескова, Бунина, позже Замятина. В лучших, наиболее просвещенных священнических семьях сберегались традиции живой народной речи. Их не гасило, а лишь облагораживало церковное красноречие и высокий слог славянского перевода священных книг, из которых потом так охотно черпал эпиграфы Булгаков.

Отец писателя был человеком ученым, историком церкви, и хотя непосредственное влияние его на старшего сына, судя по всему, не было слишком заметным, Булгаков сохранил о нем благодарную уважительную память как о вечном труженике. Образ отца, склонившегося над книгой в кругу света от настольной лампы, сопровождал его всю жизнь. Коллеги чтили Афанасия Ивановича как человека справедливого, без уклонов в крайность, терпимого, строго объективного. И кто знает, сколько раз вспоминал Булгаков отца, работая над страницами о Христе в своем последнем, «закатном», романе.

В 1907 году Афанасий Иванович умер от склероза почек, той самой наследной болезни, какая тридцать три года спустя настигнет и его сына. В пятнадцать лет лишившись отца, оставшись за старшего помощника матери в большой многодетной семье, Михаил не слишком радовал близких своими гимназическими успехами, да и ярко выраженных способностей до известной поры не проявлял. Он окончил Первую Киевскую гимназию, картинно изображенную в III действии «Дней Турбиных», получив аттестат зрелости лишь с двумя отличными оценками — по закону божьему и географии. Последнее, впрочем, пригодилось мало — далеко ездить ему не пришлось, зато, сочиняя потом свои книги, он много путешествовал по карте — в Париж с Мольером, в Рим с Гоголем, в Испанию с Сервантесом, в Палестину — с Иешуа Га-Ноцри.

Дни отрочества и юности, дом на Андреевском спуске, семья под началом сильной, гордой и деятельной Варвары Михайловны в памяти Булгакова всегда были окружены поэтической дымкой, как оазис мира, семейного тепла, интеллигентного быта — с музыкой, чтением вслух по вечерам, праздником елки и домашними спектаклями. Хлопотливая забота матери, мечтавшей, чтобы сыновья ее стали инженерами путей сообщения, изливалась на всех детей, но, пожалуй, более на младших.

Простой и демократический стиль общения царил в не слишком богатом, но уютном доме, который прежде заполнял шум звонких ребячеких голосов, потом — споры, пение, смех веселой, шумной молодежи.

У Михаила рано развилось чувство самостоятельности, взрослости. В младших классах, как рассказывают его однокашники, он был изрядным драчуном, в старших — пуще всего охранял свою независимость и достоинство. Панибратства и фамильярности не терпел с молодых лет. Но примерным домашним юношей не был: однажды дурно отличился, истратив на кинематограф деньги (1 р. 50 коп.), ассигнованные матерью на учебник физики Краевича, тайком бегал в театр, а по весне, прогуливая уроки, бродил по киевским бульварам с барышнями под цветущими каштанами. Слишком рано, по мнению матери, он надумал жениться, увлекшись девушкой из Саратова, и был самостоятелен в выборе своего будущего. По пути отца он не пошел, лишний раз подтвердив, что в проблеме отцов и детей наследование призвания случается не чаще, чем отталкивание от него. По некоторым сведениям, молодой Булгаков даже своих приятелей — братьев Гдешинских — уговаривал уйти из семинарии[1] и сам выбрал медицинский факультет университета.

Став студентом-медиком, он пропадал в анатомическом театре, увлекался работой с микроскопом, штудировал учебники. Лишь однажды пропустил сессию, отдавшись романтическому «кружению сердца», но вскоре наверстал упущенное — и получил при выпуске специальность детского врача.

С юности Булгакова не влекла к себе политика. Вследствие этого наивны были бы попытки характеризовать его общественные взгляды между 1905 и 1917 годами как нечто сложившееся и определенное. В эти годы в его родном городе, как и повсюду в стране, бушевали политические страсти, волнами проходили забастовки и митинги, рождались социал-демократические и эсеровские кружки и группы, влиятельна была монархическая газета «Киевлянин», выходившая под редакцией Шульгина, большой шум сопровождал убийство Столыпина террористом Богровым в киевском театре и скандальное «дело Бейлиса».

Но нет серьезных данных, которые позволяли бы отнести молодого Булгакова к «левым» или «правым», приписать ему сочувствие к социалистическим кругам или, тем менее, симпатии

---

[1] См.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., 1988, с. 38.

к квасному патриотизму и монархизму. Не заметно у Булгакова и национальных предубеждений. Он рос в районе киевского Подола, где в тесном соседстве жили русские, украинцы, евреи, поляки. Булгаков чувствовал свою кровную связь с русской культурой, воспринимал родной город как мост в древнейшую Русь, но вовсе не сторонился украинцев и, как всякий русский интеллигент той поры, стыдился бы иметь хоть что-либо общее с черносотенцами.

Впрочем, умной юности свойствен задор самоутверждения, ирония в глазах и легкий скептицизм ко всему на свете. Как вспоминает сестра Булгакова Надежда Афанасьевна, в их доме бурно спорили о Дарвине и Ницше, которыми, будучи студентом, увлекался Михаил[1]. Можно предположить, что он пережил свою эпоху «бури и натиска», ища в строгом материализме одного и резком самоутверждении личности, граничившем с моральным нигилизмом, другого опору независимости своих взглядов. Определялись и литературные пристрастия Булгакова. Быстро отошло полудетское увлечение Виктором Гюго и Вальтером Скоттом. Насмешливость, какую мы легко читаем на молодых фотографиях Булгакова, «вольнодумство», о котором знаем по семейным преданиям и рассказам, питалось, в частности, чтением Гоголя, а позднее и Салтыкова-Щедрина, писателя отнюдь не идиллического, с ядом высмеивавшего и либералов Балалайкиных, и тупых «помпадуров»-консерваторов. Вряд ли можно было склониться к идейному монархизму, оставаясь восхищенным читателем «Истории одного города».

Однако насмешливый юноша с острым складом ума, смущавший своими экспромтами, шутками и розыгрышами соседей и родственников, обладал тайным лиризмом души и острым любопытством к людям. Сочинять он стал, по свидетельству близких, рано и еще без расчета печататься — небольшие рассказы, сатирические стихи, драматические сценки. Уже в молодые годы, помимо иронического наклона ума, в нем можно было отметить пристальность аналитика, имеющего дело с медициной и естествознанием. Другой важной его чертой был художественный артистизм, интерес к перевоплощению, чуткость ко всякой театральности. Он тянулся к сцене, одно время мечтал стать оперным певцом, знал наизусть «Аиду» и «Фауста», реминисценции из которых возникали потом в его творчестве (по воспоминаниям, он слушал «Аиду» в театре более 40 раз). Писал он и пьесы для домашнего театра, играл на подмостках дачного театра в Буче.

---

[1] См. сб.: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988, с. 68—72.

Мировая война оборвала казавшийся предугаданным наперед, спокойный и ровный ток дней. Юная Татьяна Николаевна Лаппа, дочь управляющего саратовской казенной палатой, с которой Булгаков обвенчался в 1913 году, сполна разделила с ним первый круг его жизненных мытарств. Ускоренным выпуском закончив университет святого Владимира, Булгаков работает в прифронтовых госпиталях первой мировой войны, набираясь нелегкого врачебного опыта. Освобожденный по болезни от призыва, он в 1916—1917 годах едет по назначению в земскую больницу Смоленской губернии, работает врачом в селе Никольском под Сычевкой, а затем в Вязьме. За первый год самостоятельной врачебной деятельности Булгаков, по некоторым сведениям, принял 15 613 больных, то есть едва ли не по 50 больных за день[1]. Впечатления этих лет отзовутся в окрашенных юмором, печальных и ярких картинах «Записок юного врача». Таково свойство волшебного фонаря искусства: все, пережитое в Никольском, казалось впоследствии и легче, и забавнее. В действительности же это был умопомрачительно тяжелый, изнуряющий труд от рассвета до заката, и с этой усталостью могла сладить только молодость да еще сознание насущной помощи людям. Вот где впервые проявилась у Булгакова эта черта — внутреннего долга, стоического, вопреки всему, выполнения своих обязанностей. Так будет он относиться потом и к своему литературному призванию.

Вернувшись в марте 1918 года из глухой русской провинции в родной Киев, Булгаков попытался заняться частной врачебной практикой. Он прикрепил к дверям табличку о часах приема как вольнопрактикующий врач-венеролог и в спокойные минуты сознательнее и усидчивее стал пробовать свое перо. Известны лишь названия этих уничтоженных впоследствии сочинений: «Первый цвет» и «Недуг». Набрасывал он, по-видимому, и окончательно обработанные десять лет спустя «Записки юного врача». Впрочем, спокойных минут за те полтора года, что он провел в Киеве, продутом вихрями и охваченном пламенем гражданской войны, почитай что не было. Белые, красные, оккупанты-немцы в «рыжих тазах» с шишаками, гетман в черкеске, петлюровцы в синих жупанах, снова красные, снова Петлюра и опять белые... Позднее Булгаков писал, что насчитал в Киеве той поры четырнадцать переворотов, десять из которых он лично пережил.

---

[1] Гиреев Девлет. Михаил Булгаков на берегах Терека. Орджоникидзе, 1980, с. 6.

В анкете для поступления на службу в Большой театр в 1936 году Булгаков откровенно отметил одно обстоятельство, долго смущавшее его биографов: «В 1919 году, проживая в г. Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город»[1]. Достоверно известно, что его мобилизовывали петлюровцы, от которых ему удалось бежать, призывали его и в Красную Армию, но, по свидетельству Т. Лаппа, «добровольцем он совсем не собирался идти никуда»[2]. Очевидно, не по доброй воле и уж никак не из воинственного энтузиазма Булгаков попал в качестве врача в военные формирования деникинской армии и был отправлен с эшелоном через Ростов на Северный Кавказ. Насколько сильно занимала его уже в то время мысль о литературном призвании и как постыла была военная служба, видно уже по тому, что, едучи осенью 1919 года в «расхлябанном поезде», при свете свечки, вставленной в бутылку, он под дерганье состава, на дрожавшем столике писал рассказ. Рассказ этот, упомянутый в одной из автобиографий, был напечатан, но найти его не удалось. Однако первые обнаруженные булгаковедами публикации в газетах Грозного и Владикавказа относятся как раз к концу 1919 и началу 1920 года. Некоторые из сохранившихся фрагментов, не станем этого таить, носят откровенно «белогвардейский» характер: Булгаков пишет об отречении Николая II как об историческом несчастье. Но в его настроениях той поры громче всего одно — усталость от братоубийственной войны.

Написанные по горячему следу уже в Москве, автобиографические «Записки на манжетах» (1921—1922) начаты в одной из редакций с главы, названной «Кавказ» и заключающей в себе два ряда точек. Такими пунктирами прерывается то и дело и ранняя биография Булгакова — пробелы в ней только начинают заполняться. Можно лишь догадываться, что первые впечатления революции в смоленской деревне, когда горели барские усадьбы, пожаром гулял мужицкий гнев, а ревкомы крутой поры военного коммунизма осуществляли в Вязьме бессудные расправы, произвели сильное впечатление на Булгакова и заметно качнули его в сторону старого режима, с которым связывалось в воспоминании «мирное время», счастливое «до войны»: просторный уютный дом, любящие братья и сестры, ноты «Фауста» на пюпитре рояля, светло, тепло, жена молодая... 1913-й —

---

1 См.: Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Л., 1987, с. 143.

2 См.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 116.

«блестящий, пышный год». Кровавую черту под прошлым для него, как и для многих людей его круга, подвело известие о расстреле в 1918 году царской семьи. Короче, с белыми его связывало слишком многое. Как же тогда оказался он среди тех, кто стал сотрудничать с советской властью?

Когда после сражений белой армии на Кавказе с горцами, в которых Булгаков принял участие как военный врач, деникинцы стали отступать под ударами Красной Армии, он остался во Владикавказе. То, что его вчерашние товарищи по оружию бросили его больным, в злейшем тифу, заставило Булгакова, по-видимому, пережить личное потрясение, усиленное общим позором поражения. Не случаен отчаянный выкрик в «Записках на манжетах»: «Меня бросят! Бросят!» И когда «бросили», он, заодно с приятелем Юрием Слезкиным, известным петербургским беллетристом, пошел сотрудничать в подотдел искусств, не ощущая это как гибельный компромисс или, еще менее, предательство. Сотрудничество с новой властью он воспринял не только как средство не погибнуть с голоду, но и как неизбежный поворот судьбы. Кстати, просветительство — лекции, доклады о Пушкине и Чехове, а вскоре и писание пьес для местного театра — в чем-то отвечало его склонностям и стало заметно увлекать его.

Но на Кавказе он еще не оставлял мысли об эмиграции. Впрочем, когда оказалось, что путь через Константинополь в Париж для него труден или вовсе неосуществим, Булгаков примирился с этим. Потом он проделает эти дороги в своем воображении — с Голубковым, Корзухиным, Люськой и Чарнотой. «Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Я голоден, я сломлен! <...> Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...»

Многозначительная недоговоренность XIV главки «Записок на манжетах» прояснялась заглавием XV — «Домой». «Домой», как ни странно для киевлянина, значило в Москву — в красную Москву, столицу большевиков.

## 4

В 1920—1921 годах во Владикавказе Булгаков окончательно понял, что он не актер, не лектор и даже не врач, а прежде всего литератор. Литератор по призванию, по склонностям, так сказать, по «составу крови». В письме к брату он сетовал, что зазря потерял четыре года для писательской работы. А между тем к пьесам, написанным им наспех для провинциальной

труппы, сам автор, едва их сочинив и поставив, получал стойкое отвращение. Дольше других нравилась ему смешная комедия «Глиняные женихи» (другое название «Вероломный папаша»)—Булгаков считал ее пьесой «подлинного жанра». Но вскоре же, заодно с «Самообороной», «Братьями Турбиными», «Парижскими коммунарами» и, конечно же, с написанными в соавторстве с присяжным поверенным «Сыновьями муллы», он в приступе самобичевания называл «Женихов» «рванью».

И все же в его жизни случился перелом: на владикавказской сцене он впервые узнал авторские волнения и выходил кланяться публике. «Парижских коммунаров» он посылал в Москву, надеясь на успех в конкурсе, а немного спустя замыслил большую пьесу о падении империи, с которой хотел дебютировать в столице. Пьеса о Николае II и Распутине так и не была написана, но, вероятно, именно тогда, знакомясь с историческими материалами, опубликованными документами, дневниками лиц, близких Зимнему дворцу, Булгаков пережил прощанье с последними монархическими иллюзиями.

Оказавшись в конце 1921 года в Москве без службы, жилья и денег, Булгаков пошел по знакомому с Владикавказа следу: он разыскал Лито (Литературный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе) и устроился туда секретарем. Однако век этого учреждения, рожденного, как многое другое, сгоряча в пору военного коммунизма, был недолог. С наступлением нэпа Москва перешла «к новой, невиданной в ней давно уже жизни—яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д.». «Вне такой жизни жить нельзя,—писал Булгаков матери,—иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю». Москва переживала, по выражению Булгакова, «приспособление к новым условиям жизни». И слова о «бешеной борьбе за существование», которые он адресовал городу, можно отчасти отнести и к нему самому.

Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахарином и картошкой на постном масле, Булгаков твердо знал, чего хочет. Для начала он мечтал начать жить по-людски, «восстановить норму—квартиру, одежду и книги». Но еще более мечтал получить литературное имя и в покое продолжить писание большого романа, начатого им еще во Владикавказе.

В эпоху «уплотнений» и жилищного кризиса укорениться в Москве было нелегко. После скитаний по общежитиям и чужим комнатам ему удалось получить право на жилье в большой коммунальной квартире дома на Садовой, принадлежавшего

некогда табачному фабриканту[1]. Нравы квартиры № 50 и ее обитателей множество раз отзовутся в его рассказах, фельетонах («Трактат о жилище», «Дом Эльпит-Рабкоммуна» и др.), дойдя далеким эхом и до страниц «Мастера и Маргариты» — в описании подъезда дома, где живет Степа Лиходеев и шныряет по лестнице Чума-Аннушка.

Прежде чем стать московским журналистом, Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором хроники в частной газете, занимать должность инженера в Научно-техническом комитете, сочинять проект световой рекламы. Однако уже с весны 1922 года Булгаков плотно входит в столичный журнальный мирок — печатается в «Рабочем», «Рупоре», «Железнодорожнике», «Красном журнале для всех», «Красной ниве» и т. п. С помощью знакомого журналиста А. Эрлиха он устраивается в 1923 году литобработчиком в газету «Гудок», а вскоре становится постоянным фельетонистом этой газеты. Годом ранее он начинает печатать в берлинской русской газете «Накануне», литературное приложение к которой редактирует еще не вернувшийся из эмиграции А. Н. Толстой, принесшие ему первое признание московские очерки.

О работе в «Гудке» Булгаков отзовется потом довольно саркастически: «...сочинение фельетона в строк семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой,— 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон каким-нибудь глупым псевдонимом или иногда зачем-то своей фамилией и нес его...» («Тайному другу»). Сочиняя очерки для «Накануне», молодой автор мог «несколько развернуть свои мысли», и эта работа была во всех отношениях крупнее и серьезнее.

Хотя Булгаков рано осознал, что творчество его «разделяется резко на две части: подлинное и вымученное»[2], в лучшем, что написано им как журналистом в 1922—1924 годах, есть внимательное вглядывание и вслушивание в современность.

В пору нэпа, при полном отсутствии симпатий к нэпманам-буржуа, Булгаков чутко ловил звуки возрождающейся жизни,

---

[1] В трудную минуту Булгаков написал письмо В. И. Ленину и пошел с ним на прием в Наркомпрос, сотрудником которого недавно числился, к Н. К. Крупской. Крупская помогла ему, о чем Булгаков, уже после смерти Ленина, со свойственной ему благодарной памятью рассказал в очерке «Воспоминание...».

[2] Письмо Булгакова В. А. Булгаковой от 26 апреля 1921 г.— Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 35. 1976, № 5, с. 458.

восстановления хозяйства и быта, различал поступь близкой ему Великой Эволюции и искренне радовался этому. Его картины с натуры, печатавшиеся в «Накануне», лишены слащавости, лести советской власти. Но с ревнивым участием он отмечает всякое движение жизни, возвращение мирного быта, в особенности если это напоминает близкие ему формы.

О Москве: «Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение...» («Шансон д'Этэ»). «Москва — котел,— в нем варят новую жизнь. Это очень трудно» («Столица в блокноте»). И о Киеве то же: «Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город» («Киев-город»).

Булгаков по крохам набирает отрадные впечатления, сулящие надежду на возрождение жизни: вот мальчик с ранцем за спиной бежит в школу, вот в фойе оперного театра появился «фрачник», вот открылись кондитерские, стал гулять по столице Бог Ремонт и воздвигся на пустыре неслыханный «золотистый город» — выставка. Своим скептическим берлинским читателям, эмигрантам с Фридрихштрассе, Булгаков возражает: «Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно» («Столица в блокноте»).

Значит ли это новое настроение Булгакова, что он, оставаясь симпатиями и убеждениями в прошлом, попросту приспособился к обстоятельствам? Нет ничего обиднее для Булгакова и дальше от существа дела, чем думать так. Что такое приспособленчество, писатель показал в самых неприятных ему героях: Тальберге из «Белой гвардии», надевшем после революции красный бант, а при гетмане учившем украинскую грамматику; Аметистове из «Зойкиной квартиры», которого, когда он не при деньгах, «на социализм тянет»; и, может быть, наиболее саркастично в литераторе Пончике-Непобеде из пьесы «Адам и Ева», сочинителе романа «Красные зеленя».

Булгаков не менял своих взглядов по моде или из выгоды. Но он напряженно думал обо всем, что видел перед собой. И мысль его, «острая как лезвие», по выражению одного из мемуаристов, была наклонна к анализу живого, не заморочена догмами или предвзятостью и подкреплена ответственностью свидетеля и летописца великих и трагических событий в жизни родины. На всех перекатах судьбы Булгаков оставался верен законам достоинства: «Цилиндр мой я с голодухи на базар

снесу. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну» («Записки на манжетах»). Вопреки тому, что приписывала потом Булгакову подозрительная рапповская критика, он отнюдь не был затаившимся монархистом и тайным белогвардейцем. Всегда и везде оставался прежде всего художником, и художником думающим. Он вглядывался в текущую на его глазах жизнь — одно отрицал, к другому присматривался, на третье надеялся.

Слов нет, литературная поденщина иссушает мозг, подтачивает силы и отнимает время, приводит порой к смертельной усталости. И далеко не все, что написано Булгаковым в те годы, заслуживает называться литературой. А между тем инстинкт художника заставляет его все бережнее относиться к своему литературному имени: еще из Владикавказа он писал сестре, чтобы та безжалостно уничтожала его ранние черновики и наброски, резко отзывался о своих скороспелых и незрелых драмах, которые, похоже, сам сжег. «Аутодафе», «В печку! В печку!» — таков его обычный девиз. Точно так же далеко не обо всем, вышедшем из-под его пера, в периодике начала 20-х годов — к примеру, о фельетонных заметках под псевдонимом или без подписи — он хотел бы потом вспоминать: не попавшие в печь, они сгорели в его памяти.

В «Записках на манжетах» передан момент внезапного прозрения, сознания ответственности за слово: «Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что... сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо».

В 1921 году Булгаков сознал, а чем дальше, тем понимал полнее и глубже, что существует крепчайшая тайная связь автора с каждой созданной им страницей. Даже то, что написано случайно, по безденежью и впопыхах, конвульсивно и полусознательно, томит и печет потом самим фактом существования на типографской бумаге или на сцене, в устах актеров, то есть вне тебя, и, как брошенное дитя, требует отцовской ответственности.

Но та же мысль имеет и оборотную сторону: рядом с максимой «написанное нельзя уничтожить» возникает девиз «рукописи не горят» [1]. Создав нечто ценное, мысль, образ или целый художественный мир, автор как бы сообщает им проч-

---

[1] На связь отношения Булгакова к своим ранним пьесам с формулой «рукописи не горят» впервые указал А. Смелянский в кн. «Михаил Булгаков в Художественном театре» (М., 1986, с. 32).

ность несокрушимой реальности. Частным практическим следствием этого закона служит то, что рукопись, не нужная современности, случается, сохраняет значение для людей будущего. Другой вывод отсюда, что великое создание, важная книга входит в мир уже в момент рождения.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

*(О. Мандельштам)*

То, что созрело, высказано, запечатлено в образах,— неустранимо. Реальный же путь книги к людям — это уже дело социальных условий и возможностей типографского станка. До создания «Мастера и Маргариты» было еще далеко, но начинающий автор уже определял высокий уровень требований к себе.

В пору, когда Булгаков обосновался в Москве, ему исполнилось 30 лет. Бóльшая половина жизни была за плечами. Он понимал, что не имеет права попусту терять время. Но что делать, если нужда брала за горло? Во всей линии поведения Булгакова, едва он становится на ноги как литератор, поражает его целеустремленность: будто он точно знал теперь, к чему призван, и ценой лишений и утрат выполнял явившуюся ему, как ненарушимый завет, задачу. Энергия, работоспособность и небрезгливость к любой газетной работе были как бы выкупом за возможность писать то, что необходимо душе.

Неверно, однако, считать, что рассказы и фельетоны Булгакова начала 20-х годов означали лишь погубленное время, досадное отвлечение от важных художественных трудов.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

То, что подмечено Ахматовой,— не исключение, а скорее закон: извлечение новой поэзии не из обработанного традицией образца, а из неприглядной прозы жизни, сора будней, мгновений дня. И, окунувшись во впечатления репортера и газетчика, уйдя с головой в будни «красной столицы», Булгаков, как наблюдательный художник, немало извлек для себя. Не только зоркость на подробности, чуткость ко всему живописному и странному обогащают его перо. Сам принцип повествования, способ рассказа определяется в эти годы. И дело не в темах («Мадмазель Жанна», «Говорящая собака»), которые аукнутся в его главном романе. В стиле «Мастера и Маргариты» и «Записок покойника» будет присутствовать, но только в очи-

щенном и сублимированном виде, эта «сиюминутность» впечатления, иллюзия репортажа с места, мнимая импровизационность фельетона. Так же как в лучших пьесах Булгакова взамен готовой театральности зазвучит «нескладная» живая речь, появится вдохновенная легкость репетиции, почти «капустника».

Очищенная от штампа и пошлости стремительная «газетность» речи убивала велеречивую книжность и вошла как важная краска в обаяние языка Булгакова. Живые восклицания, словечки улицы и коммунальной квартиры не роняли достоинства слога. Впрыснув в язык фермент жизни, Булгаков как бы включал просторечие в литературный поток, оставаясь как автор на некоторой дистанции. Выделенные своей новизной и непривычностью, ходовые речения и домашние словечки становились объектом иронического созерцания, придавая вместе с тем оттенок антикнижности авторской речи.

Другой эксперимент, важный ему в дальнейшем, Булгаков произвел в «Записках на манжетах» — вещи почти дневниковой, плотно прилегающей к биографии. Вступая в литературу, Булгаков не имел опыта, но имел достаточно вкуса, чтобы понять: прежде чем выдумывать, надо научиться писать натуру, как пишет ее в мастерской художник. Иначе сказать, надо уметь передать то, что пережил сам. К «Запискам на манжетах» примыкали или являлись осколками полного их текста, не дошедшего до нас, автобиографические рассказы «Богема» и «Необыкновенные приключения доктора». (Напротив, «Ханский огонь» (1923) был школой чистого вымысла.)

Что имел в виду Булгаков, придвигая художественное зеркало вплотную к своей судьбе? Запечатлеть себя? Нет, он рисовал время. Интуиция художника подсказала ему, что опыт его неоценим, потому что он живет во время разломное, коренное для эпохи, историческое в своих ускользающих мгновеньях, и каждая подробность может стать интересной или, по меньшей мере, заслуживает того, чтобы быть отмеченной и осмысленной.

На таком фундаменте можно было строить. Золотым запасом жизненных впечатлений Булгакова стала гражданская война. В очерке «Киев-город» (1923) он задумается о «новом, настоящем Льве Толстом», который, явившись на землю лет через пятьдесят, напишет «изумительную книгу о великих боях в Киеве». Впрочем, сотрудник «Гудка» и «Накануне» уже знает, что никому не станет передоверять эту честь. Главное, чем он войдет в литературу 20-х годов, будет создаваемый им исподволь, по ночам, роман «Белая гвардия» и возникшая на его основе пьеса «Дни Турбиных».

## 5

Как всякий большой писатель, Булгаков создает свой мир. Этот мир не обнимает весь горизонт его современности. Он у́же, теснее — или, точнее сказать, дан в своей оптике: освещает по-своему окрашенным сильным лучом фрагмент действительности, а не заливает ровным рассеянным светом все обозримое пространство. Но то, что он высветил, что легло в эту яркую прожекторную полосу, запоминается на всю жизнь. «Писатель одной темы и одной идеи — белого движения...» — писала в очередной обличавшей Булгакова статье в 1928 году «Комсомольская правда» (13 декабря). Определение близорукое и для всего созданного Булгаковым слишком узкое, но исходную для писателя тему отмечает верно.

Почувствовав в себе созревшую силу, Булгаков ставит перед собой задачу выше себя, с нею движется и растет. Эта задача — картина гражданской войны, которая, по его замыслу, должна быть не только написана в традициях «Войны и мира», но и по размаху ориентироваться на толстовскую эпопею.

Пока Булгаков не остыл от этой книги, он считал ее самой важной в своей судьбе, говорил, что от этого романа «небу станет жарко»,— а спустя годы в разговоре со своим биографом П. С. Поповым признал роман «неудавшимся». Быть может, это надо понимать не столько как неудовлетворенность написанным, сколько в том смысле, что грезившейся автору эпопеи не получилось. Вместо грандиозной панорамной фрески возник один, правда важный и яркий, ее фрагмент — 1918 год в Киеве. Журнал «Россия», печатавший в 1925 году роман (№ 4—5), закрылся, не завершив печатания даже той части, которая могла стать первой книгой эпопеи. Дальше, возможно, предполагалось захватить события гражданской войны на Юге, продлить судьбы героев[1].

В «Белой гвардии» есть попытка выйти за пределы своего (или близкого своему) опыта и начертать сцены пером историческим (к примеру, парад войск Петлюры у святой Софии или бегство гетмана из дворца). Но особое обаяние роману сообщает его романтический личный тон, тон воспоминания и одновременно присутствия, как бывает в счастливом и тревожном сне. Книга подобна стону уставшего от войны, ее бессмыслицы, нахолодавшегося и наголодавшегося, измученного бездомьем человека.

---

[1] См. об этом: Чудакова М. Комментарий к публикации главы из романа «Белая гвардия».— Новый мир, 1987, № 2, с. 140.

Дом и Город — два главных неодушевленных героя книги. Впрочем, почему неодушевленных? Дом Турбиных на Алексеевском спуске, изображенный со всеми чертами семейной идиллии, перечеркнутой крест-накрест войной, живет, дышит, страдает, как живое существо. Будто чувствуешь тепло от изразцов печи, когда на улице мороз, слышишь башенный бой часов в столовой, бренчанье гитары и знакомые милые голоса Николки, Елены, Алексея, их шумных, веселых гостей... И Город — безмерно красивый на своих холмах даже зимой, заснеженный и залитый вечерами электричеством. Вечный Город, истерзанный обстрелами, уличными боями, опозоренный толпами чужих солдат, временщиками, захватившими его площади и улицы.

Булгаков — воинствующий архаист в своих пристрастиях, и патриархальность, теплая и мирная, служит ему опорой. В 1917 году он писал сестре Надежде Афанасьевне из Вязьмы, что, получив возможность вечерами читать и размышлять, он упивается в книгах старых авторов «картинами старого времени». «Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад»[1]. А ведь, когда писались эти строки, главные сужденные ему испытания были еще впереди.

Булгаков был привержен прошлому, непрерванной традиции как черте «мирной жизни». Это сказывалось, как вспоминают современники, даже в личном обиходе: вкусах, одежде (обожал фрак, рубашки с манжетами, запонки, одно время носил монокль), манерах, старомодном «да-с» и «извольте-с». Существеннее, что то же относилось и к традиции литературной. Правда, в его первом романе можно обнаружить и следы близких влияний — Андрея Белого и Ремизова, символистской прозы и романтического «модерна» конца века (наглядны, в частности, переклички с романом «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича). Но все это с лихвою перекрывается мощным излучением традиции, воспринятой непосредственно от русского XIX века: Пушкина с «Капитанской дочкой», Гоголя с украинскими повестями, Достоевского с «Бесами» и «Братьями Карамазовыми», Чехова с его пьесами, не говоря уж о постоянной оглядке на эпический мир создателя Наташи Ростовой.

И все же первенец Булгакова — нечто до того подлинное, обаятельное и самобытное, что, при всей незаконченности и влияниях, видится как цельнорожденный, сверкающий своими гранями природный кристалл.

---

[1] Вопросы литературы, 1984, № 11, с. 204.

Максимилиан Волошин, одним из первых разглядевший дар Булгакова, отметил, что его литературный дебют можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского. Волошин же дал «Белой гвардии» емкое определение, сказав, что ее автор воплотил в своем романе «душу русской усобицы».

В отличие от очерка или фельетона, роман нельзя было писать без широкого осознанного взгляда, того, что называлось миросозерцанием, и Булгаков показал, что оно у него есть. Автор избегает в своей книге, во всяком случае в той части, какая была закончена, прямого противостояния красных и белых. На страницах романа белые воюют с петлюровцами. Но писателя занимает более широкая гуманистическая мысль — или, скорее, мысль-чувство: ужас братоубийственной войны, ее стихийный мóрок. С печалью и сожалением наблюдает он отчаянную борьбу нескольких враждующих стихий и ни одной не сочувствует до конца.

Когда в 1930 году Булгаков писал правительству о своих «великих усилиях стать бесстрастно над красными и белыми», он не заблуждался, не становился пленником собственных иллюзий, а говорил о том, к чему искренне стремился.

Возможна ли такая позиция — «над схваткой»? Разумеется, невозможна для политика, человека втянутого в острую социальную борьбу. На многих своих литературных современников Булгаков был непохож уже тем, что неизменно шел своей дорогой. Были писатели, изображавшие гражданскую войну с позиций красного клинка («Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева или «Конармия» Бабеля). Были и такие, что видели ее из белогвардейского стана (сочинения генерала Краснова). Распространен был взгляд, что позиция «над схваткой» губительна для писателя: «кто не с нами, тот против нас». Но подобная нетерпимость, понятная в обстоятельствах ближнего боя, вредна для художественной объективности.

Как известно, дело всякого большого писателя — его слово — обычно выше политических пристрастий автора и выражаемых им непосредственно взглядов. Художественное зрение, склад творческого ума всегда объемлет более широкую духовную реальность, чем можно удостоверить свидетельством о простом классовом интересе. Мир политической вражды неизбежно одномерен. Мир художника объемен, и ему, как правило, чужда эта одномерность: зло, ненависть, кровавая борьба. Есть пристрастная, имеющая свою правоту классовая истина. Но есть и то, что искусство угадывает как черту будущего,— общечеловеческая, бесклассовая мораль и гуманизм, выплавленный опытом человечества.

Заняв позицию «над схваткой», Булгаков стремился к исторической и художественной объективности. Это было непросто при особенностях его биографического опыта, связанного по преимуществу с белой гвардией.

Чем выше точка зрения наблюдателя, чем больше поднялся он над полем боя или ристалищем земных страстей (не удалившись вместе с тем от них ни на дюйм), тем шире его горизонт и вернее дорога к будущим читателям. Булгаков защищал в романе вечные ценности: дом, родину, семью. И остался реалистом в своем повествовании — не щадил ни петлюровцев, ни немцев, ни белых, и о красных не сказал ни слова неправды, расположив их как бы за занавесом картины.

Внутренним центром, от которого расходятся лучи в романе, становится мечта о покое, мирной жизни для людей. С сатирической экспрессией рисует Булгаков ловцов неверной власти в разбушевавшемся народном море: Петлюру или марионетку немцев — гетмана. В густой интенсивности красно-черных, багровых тонов на мирном фоне снежно-белого Киева запечатлевает он грубую реальность войны: боль, кровь, трупы, холодный ужас мертвецкой. Но автор пытается объяснить и исторический смысл апокалиптического бедствия. Обрушившийся обломками мирный быт, кровавый вихрь, пронесшийся над городскими кровлями,— это неизбежное возмездие, своего рода рок: народное возмездие за долгое равнодушие сытых к мужицкой боли и беде.

Вызывающая новизна романа Булгакова состояла в том, что спустя пять лет после окончания гражданской войны, когда не утихла еще боль и жар взаимной ненависти, он осмелился показать офицеров белой гвардии не в плакатной личине «врага», а как обычных — хороших и плохих, мучащихся и заблуждающихся, умных и ограниченных — людей, показал их изнутри, а лучших в этой среде — с очевидным сочувствием. Что же нравится в этих пасынках истории, проигравших свой бой, Булгакову? И в Алексее, и в Малышеве, и в Най-Турсе, и в Николке он больше всего ценит мужественную прямоту, верность *чести.*

Это слово проходит в романе как лейтмотив. «О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести!» — негодует на Тальберга, сбежавшего с немецким штабным поездом, Алексей Турбин. И ему же подбрасывает автор книгу Достоевского, раскрытую на язвящей воображение странице: «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя». Неужели создатель «Бесов» прав? Но тогда героям Булгакова лучше не жить на

земле, ведь для них честь — род веры, стержень личного поведения.

Офицерская честь требовала защиты белого знамени, нерассуждающей верности присяге, отечеству и царю, и Алексей Турбин мучительно переживает крушение символа веры, из-под которого с отречением Николая II выдернута главная подпорка. Но честь — это и верность другим людям, товариществу, долгу перед младшими и слабыми. Полковник Малышев — человек чести, потому что распускает юнкеров по домам, поняв бессмысленность сопротивления: мужество и презрение к фразе потребны для такого решения. Най-Турс — человек чести, даже рыцарь ее, потому что сражается до конца, а когда видит, что дело проиграно, срывает с юнкера, почти мальчика, брошенного в кровавую кашу, погоны и прикрывает его отход пулеметом. Человек чести и Николка, потому что мечется по простреливаемым улицам города, ища близких Най-Турса, чтобы сообщить им о его смерти, а потом, рискуя собой, едва ли не похищает, по античному образцу, тело погибшего командира, извлекая его из горы мерзлых трупов в подвале анатомического театра.

Где честь, там мужество, где бесчестье — трусость. Читатель запомнит Тальберга, с его «патентованной улыбкой», набивающим дорожный чемодан. Он чужак в турбинской семье. Но в замысле романа немалое значение имеет и параллельная жизнь двух этажей дома на Алексеевском спуске: верхнего, семьи Турбиных, и нижнего — инженера Василисы.

Бури и беды гражданской войны сотрясают дом под снежной горой, и страдают от этого оба его этажа. Но Василиса — «трус», «буржуй и несимпатичный» — воплощает мир жадности и приспособленчества. Он чужой живущим над ним безрасчетным, открытым людям.

Нельзя не отметить, что соседа-инженера автор делает антимонархистом, кадетом по его послефевральским взглядам. Но испытания войны и революции все ставят вверх дном, обнажают изнанку людских душ. Тут-то и выясняется, кто чего стоит. Турбины не предают своих убеждений и, рискуя скандализировать округу, в патетическую минуту готовы запеть в застолье «Боже, царя храни». Со слезами, спазмами изживают люди этого круга веру в самодержавную Русь и, даже признавая свое поражение, не виляют, не приспосабливаются. Василиса же, напротив, демократ до первого ущерба себе. Ограбленный бандитами, он, прежде ярый противник старого режима, уповает отныне лишь на самодержавие: «Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только себе представить... Самодержавие...» Паро-

дийно, саркастически выглядят в устах обобранного Василисы недавние слова Алексея Турбина, что «спасти Россию может только монархия». Герои меняются ролями.

Людям свойственно заблуждаться, иногда заблуждаться трагически, сомневаться, искать, приходить к новой вере. Но человек чести проделывает этот путь по внутреннему побуждению, обыкновенно с мукой, надрывом расставаясь с тем, чему поклонялся. Для человека, лишенного понятий чести, такие перемены легки: он, подобно Тальбергу, просто меняет бант на лацкане пальто, приспосабливаясь к изменившимся обстоятельствам.

Автора «Белой гвардии» волновал и другой вопрос: скрепой старой «мирной» жизни, помимо самодержавия, было и православие, вера в бога и загробную жизнь — у кого искренняя, у кого выветрившаяся и оставшаяся лишь как верность обрядам. В первом романе Булгакова нет разрыва с традиционным религиозным сознанием, но не чувствуется и верности ему. Автор скорее задает тревожные вопросы, впервые спрашивает себя о том, к чему ему предстоит вернуться в романе «Мастер и Маргарита».

Живая, жаркая мольба-молитва Елены о спасении брата, обращенная к богородице, совершает чудо: Алексей выздоравливает. Перед внутренним взором Елены возникает тот, кого Булгаков впоследствии назовет Иешуа Га-Ноцри,— «совершенно воскресший, и благостный, и босой». Легкое прозрачное видение предвосхитит своей зримостью поздний роман: «стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья...» — пейзаж древней Иудеи.

Но контрапунктом к этой сцене служит другая. Пациент Алексея Турбина поэт Русаков легко, как и Василиса, переходит от богохульства, глумления над верой, к фанатической религиозности, и причиной тому привязавшаяся к нему дурная болезнь. Еще недавно яростно, нахрапом, бесшабашно сметавший в своих стихах идею бога («Богово логово») и проклинавший его «матерной молитвой», Русаков, в испуге от собственной покинутости, перед призраком позорной смерти униженно выклянчивает прощение у всевышнего, моля не оставить без надежды. Такая религиозность вызывает сарказм у Булгакова.

Родня будущему собеседнику Воланда Ивану Бездомному, Русаков не зря отнесен автором к литературной среде, вызывающей у Булгакова желание отстраниться, если не прямую насмешку: здесь все поверхностно, эгоистично, зыбко. С иро-

нией изображен в романе и литератор Шполянский, которому скучно, потому что он «давно не бросал бомб». Его отвага — напоказ, мужество — театрально, а ночное бегство от «засахаренных» им броневиков — цена этой воинственности, напоминающей игру.

Алексей Турбин в войну не играет. Как и полковник Малышев, как и Най-Турс, он относится к войне всерьез. Но зато с особой искренностью и сосредоточенной печалью приходит к нему чувство, что надо «устраивать заново обыкновенную человеческую жизнь», а не воевать, заливая все новой кровью родную землю.

Многое сближает автора с его главным героем — врачом Алексеем Турбиным, которому он отдал частицу своей биографии: и спокойное мужество, и вера в старую Россию, вера до последнего, пока ход событий не избудет ее до конца, но больше всего — мечта о мирной жизни.

Смысловую кульминацию романа легко опознать в вещем сне Алексея Турбина. «Мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку,— по-крестьянски просто рассуждает бог, «явившийся» вахмистру Жилину.— Один верит, другой не верит, а поступки... у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку...» И белые и красные, те, что пали под Перекопом, равно подлежат высшему милосердию: «...все вы у меня одинаковые — в поле брани убиенные».

Автор романа не прикидывался человеком религиозным, и ад, и рай для него скорее всего «так... мечтание человеческое». Но Елена говорит в домашней молитве, что «все мы в крови повинны». И писатель мучится вопросом, кто заплатит за напрасно пролитую кровь?

Страдания и муки братоубийственной войны, сознание справедливости того, что он назвал «корявый мужичонков гнев», и вместе с тем боль от попрания старых человеческих ценностей вели Булгакова к созданию своей необычной этики — по существу безрелигиозной, но сохраняющей черты христианской нравственной традиции.

Роман «Белая гвардия» знаменовал приход в литературу крупного художника, хотя далеко не все сразу это поняли.

Бывает так: чем больше наполняется значением литературная судьба писателя, тем скуднее и беднее канва внешней его биографии. То, что происходило в перипетиях жизни Булгакова после «Белой гвардии», можно было бы пересказать в немногих строках. Подъем к вершинам театрального успеха, шумная, но несколько скандальная репутация автора снимаемых из репертуара пьес, травля в печати, принуждение к молчанию, вынужден-

ная работа режиссером в Художественном и либреттистом в Большом театре, поездки из Москвы не дальше чем на кавказский Зеленый Мыс или того ближе — до гостиницы «Астория» в Ленинграде, болезнь, смерть.

Но творческая биография Булгакова в эти наружно бесцветные годы напряжена, как канат на переправе, и полна смысла.

## 6

Режиссеры молодой части труппы Художественного театра проницательно угадали в не допечатанном «Россией» романе таившуюся в нем пьесу. И дело не только в выразительности диалогов, скупых и характерных,— играй, да и только! Когда автор писал роман, он словно уже видел действие разыгранным на сцене.

Вглядимся: «В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах». У каждого героя — свое движение, жест, а все вместе — как обдуманная режиссерская мизансцена. Или: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе...» Так видит театральный художник зримую смену декораций.

Представленная впервые 5 октября 1926 года пьеса «Дни Турбиных» имела ураганный успех и навсегда стала визитной карточкой Булгакова-драматурга, как «Мастер и Маргарита» эмблемой его как прозаика. Театр помог Булгакову довести его детище до сцены при резком сопротивлении Главреперткома, объявившего молодому драматургу настоящую войну[1].

В пьесе и особенно в спектакле возникла нота сочувствия к интересам народа, линия Мышлаевского вычерчивалась как путь в лагерь большевиков, а Алексей Турбин, соединивший в себе черты Най-Турса, Малышева и врача Турбина из романа,

---

[1] Вот лишь один из ее малоизвестных эпизодов. 24 сентября 1926 г. Агитколлегия МК ВКП(б), заседавшая в составе 45 человек под председательством т. Мандельштама, по представлению Главреперткома сочла необходимым *запретить* пьесу, как «носящую политически вредный характер» и дающую «идеализацию белой гвардии». Только решительный протест театра и Станиславского, а также непоследовательная, но все же лояльная позиция наркома просвещения А. В. Луначарского смогли поправить дело (Архив ИМЭЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 805, л. 97).

погибал, как бы знаменуя трагическую исчерпанность белого движения.

Манящую художественную привлекательность спектаклю дало прощальное дуновение «чеховской атмосферы». Перед зрителем возник недавно еще живой мир дома, семьи, свободного и теплого общения обычных интеллигентных людей. Негромкая гитара Николки, волнения Елены о своем муже, и промерзший Мышлаевский у печки, и запавший у двери звонок, возвещающий о приходе Лариосика,— все это создавало очень домашнюю, интимную атмосферу, какая бывает *без посторонних,* когда близкие люди говорят друг с другом, не напрягая голосов.

Явился из окопов Мышлаевский — и сразу как домой попал: дают халат, чистое белье и приглашают в ванную. Возник на пороге никому не ведомый кузен из Житомира — и ему, после минуты растерянности, белье и ванну и потом комнату и место за общим столом. Чем громче бьют пушки за окнами, чем грознее беды жизни, тем человечнее, без фраз, теплее друг к другу люди. И не по душе это только Тальбергу («Не дом, а постоялый двор»). Но, чужой Турбиным, он уже готовится покинуть дом, как «крыса», и не способен на порядочность.

Булгаков сознавал, что пишет пьесу для сцены с чайкой на занавесе. Но, не подлаживаясь к театру, внешним фоном сходился с Чеховым — его настроениями, его героями. Люди русской интеллигенции, сам их облик, образ мыслей дороги Булгакову. Однако не случайно и ироническое переосмысление мотивов «Дяди Вани» в финале. «Мы отдохнем... Мы отдохнем...» — цитирует Ларион под гул пушек[1]. Старый мир взорван, и люди поставлены перед выбором, никогда не возникавшим для них прежде.

Может быть, главное слово, какое рождалось в сознании зрителей мхатовского спектакля по отношению к порядочным и честным офицерам белой гвардии, ко всему укладу, которому они присягали,— это *обреченность.* Не попытка спастись, не

---

[1] «Турбиных» называли «Чайкой» второго поколения МХАТа, хотя в пьесе Булгакова, пожалуй, больше отголосков «Трех сестер». Восклицание Елены при известии о гибели брата: «Я ведь знала, чувствовала, еще когда он уходил...» — почти повторяет возглас чеховской Ирины, узнавшей о смерти Тузенбаха. Да и сама атмосфера I и IV актов как бы уже знакома нам по «Трем сестрам»: всегда открытые для гостей двери дома, молодые офицеры, легкие влюбленности, гитара, именинное застолье. И смешной, незадачливый Ларион — житомирский Федотик, только не с фотоаппаратом, а с канарейкой — тоже часть этой атмосферы.

трусливая сдача, не легкий отказ от убеждений, но верная дорога к гибели, вымощенная как раз их понятиями о порядочности и чести. Лишь для немногих, как для Мышлаевского, человека по-своему тонкого, но с сильным, грубоватым характером и по-мужицки здравым рассудком, брезжит возможность выйти из тупика.

Кульминацией спектакля становилась сцена в гимназии. Алексей Турбин, распускавший юнкеров по домам, с холодным отчаянием произносил слова о разложении армии, предательстве «штабной сволочи», говорил, что не хочет участвовать в «балагане» и платить за «балаган» своей кровью. Наверное, нечто подобное автор не только наблюдал, но и пережил в киевские грозовые дни, в сумятице разгрома деникинцев на Кавказе. И он нашел выход в мысли, какую высказывает Мышлаевский, отвечающий на сетования честного, но ограниченного монархиста Студзинского, будто «Россия кончена»: «Прежней не будет — новая будет».

Однако то, что эту новую Россию Булгаков не спешит идеализировать, стало ясно на премьере комедии «Зойкина квартира» в Третьей студии МХТ, будущем Вахтанговском театре, состоявшейся всего через три недели после первого представления «Турбиных». Комедийный жанр оказался столь же подвластен Булгакову, как стихия социально-психологической драмы. Пьеса сверкала юмором, увлекала калейдоскопом сатирических картин, превращениями, переодеваниями, стремительными и легкими, как выпады в рапирном бою, репликами.

Сентиментальный монархист граф Обольянинов, перерожденец Гусь, предприимчивая владелица мастерской Зоя Пельц, великолепный авантюрист Аметистов — это был совсем иной, чем в «Турбиных», мир — или, точнее, «мирок», дно нэпмановской Москвы: притон, публичный дом под вывеской модной мастерской.

Обжитому, теплому, казалось, вечно прекрасному *дому* Турбиных противостояла распадная Зойкина *квартира*. Прозаическая житейская борьба за жилплощадь, за квадратные метры, хотя бы за сомнительную честь зваться «совместно проживающим» — еще не затянувшаяся рана Булгакова. Не оттого ли столь устойчивая сатирическая фигура в его повестях и пьесах — председатель домкома? Здесь это Портупея, человек с портфелем, главное достоинство которого в том, что он «в университете не был». Потом этот персонаж возникнет еще не раз. В «Собачьем сердце» он будет называться Швондером, в «Иване Васильевиче» — Буншей, в «Мастере и Маргарите» —

Босых. Он, преддомкома,— истинный центр малого мира, средостение власти и пошлого, хищного быта, столь далекого от чаемых начал новой жизни.

Порок, как полагалось в комедии, был наказан. Публика валила в театр валом. Однако успеха непритязательного, но яркого спектакля Главрепертком долго вытерпеть не сумел: под улюлюканье критики 20 марта 1929 года «Зойкина квартира», заодно с «Турбиными», была снята с репертуара.

Вовсе не смогла увидеть сцены и написанная в 1927 году пьеса «Бег». То, что «Бег» не был поставлен, несмотря на горячее желание Художественного театра и бурную поддержку Горького, сулившего спектаклю «анафемский успех», надо отнести не к особенностям пьесы, куда более, чем «Турбины», суровой и жесткой в описании белого движения, сколько к той обстановке травли, какая была создана вокруг Булгакова к 1928 году.

«На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк,— писал Булгаков во втором (1931 г.) письме к Сталину.— Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе» [1].

Перечитывая статьи и рецензии тех лет, посвященные Булгакову, убеждаешься, что действовали тут не аргументы, не разум, а социальные инстинкты. Усилиями бойких газетчиков и некоторых коллег по литературному цеху (В. Киршона, В. Билль-Белоцерковского, Вс. Вишневского, Л. Авербаха и др.) само имя писателя с каждым днем окутывалось туманом запретности и ставилось как бы вне закона.

Однако не увидевшая сцены пьеса «Бег» оставалась одним из самых дорогих автору произведений. Он «любил эту пьесу,— по словам Е. С. Булгаковой,— такой болезненной любовью, как мать любит своего незадачливого ребенка» [2].

Булгаков опробовал в пьесе новую для драмы и совсем уж не традиционную, как в «Турбиных», форму: видений, «снов». «Волшебный фонарь», сновидение, ожившая «коробочка» сцены — все это лишь разные слова для магической театральности, расцветшей фантазии. Но сон может быть отрадным, убаюкивающим, как счастливое воспоминание о мирном времени. И

---

[1] Октябрь, 1987, № 6, с. 181.
[2] Театральная жизнь, 1987, № 13, с. 26.

может быть беспокойным, тревожным, доходящим до безумия и кошмара — сон душевного сумрака или больной совести.

Восемь «снов» — восемь картин «Бега» вобрали в себя все оттенки смысла, какие автор соединяет со сновидениями. Это и сны его вольной прихотливой фантазии. Это и то мерцающее, погибельное движение «бега» проигравших в истории, которое уже с малой дистанции времени кажется сном.

Булгаков прочертил в пьесе важную психологическую особенность сновидения: в нем отсутствует воля. Человек не властен над событиями, не в силах избежать опасности, даже когда ясно видит ее. Героев Булгакова будто влечет в пространстве некий рок, который иначе можно назвать «бегом». Не вольны в событиях, происходящих с ними в подвале церкви, Голубков и Серафима, не волен изменить что-либо на забитой составами, парализованной паникой и морозом станции Хлудов. Героев несет стремительный, крутящийся поток — и все дальше, дальше... Мало того — сны еще и пограничная с безумием область сознания. Испытавшие горечь разгрома люди говорят и поступают алогично, как в душевной болезни: больные глаза у Хлудова, болен и Де Бризар.

Призрачными экзотическими снами проходят эмигрантские скитания героев: минареты Константинополя, набережные Сены. Внезапный выигрыш Чарноты, явившегося незваным в роскошные парижские апартаменты Корзухина,— еще одна ипостась сна: мстительная мечта, невероятный успех, какой бывает лишь в счастливых грезах.

И другой, безумный, страшный сон — «красноречивый вестовой» Крапилин, осмелившийся бросить правду в лицо Хлудову и повешенный им. Хлудов уже никогда не отвяжется от этого преследующего его кошмара. Как и некоторые другие лица Булгакова, Крапилин в «Беге» вовсе не бытовой, не жанровый персонаж. Он «вечный палач» Хлудова, и его приход подобен явлению «тени отца» в «Гамлете».

Одна из наиболее популярных пьес о гражданской войне называлась «Оптимистическая трагедия». «Бег» можно было бы определить как «пессимистическую комедию», столько в пьесе желчи, отчаяния с горьким смехом пополам.

Как дурной сон, изнанка трагедии, площадное снижение высокой драмы возникают тараканьи бега. Насмешливая метафора даже слишком наглядна: бег и бега. В шатре Артура Артуровича Чарнота проигрывает, потому что ставит на Янычара, а «Янычар сбоит». В Крыму он ставил на Хлудова, на главкома — и проиграл. А нет больше презрения и неприязни, чем к тому, на кого надеялся. «Как могли вы вступить

в борьбу, когда вы бессильны?» — бросает Хлудов в лицо главкому.

Сила — не добродетель для Булгакова, но бессилие — пущий порок. Хлудов — сильная, трагическая личность, и его жестокость (рабочий, повешенный на фонаре в Бердянске, казнь взбунтовавшегося Крапилина) — извращенное, доведенное до логического тупика понятие о присяге и офицерской чести. Измученный бессонницей, поражением и усталостью, он действует будто в сухой истерике, безжалостно и немногословно. Как под наркозом, выслушивает он обращенный к нему отчаянный крик Серафимы: «Зверюга! Шакал!» Но ему придется понять, что, кроме солдатской чести, есть человеческая совесть. И отчаянный возглас повешенного солдата: «одними удавками войны не выиграешь» — останется ничем не стираемым проклятием в его памяти.

В пьесе, созданной в 1927 году, Хлудов стрелялся, и принято считать, что такой конец был безупречнее, сильнее знакомого нам финала[1]. Он отвечал суровому и сильному характеру героя. К тому же логично было, что безрадостный, кровавый бег по жизни («Покойся, кто свой кончил бег!» — эпиграф из Жуковского) завершался последним, вечным сном. Вернувшись к работе над пьесой в середине 30-х годов, Булгаков переписал финал. Вместе с Голубковым и Серафимой, мечтавшими пройтись по Караванной, снова увидеть снег, Хлудов возвращался в Россию.

Автор прощал героя, и в этом был свой высокий смысл. Булгаков призывал к трудному для мстительного человеческого рассудка голосу милосердия — о каре и прощении много думал он, работая в ту пору и над последним своим романом. Нельзя простить преступления Хлудова, но самого его простить можно,— ведь он и так уж исказнен совестью. Так будет прощен высшим судом и отпущен Понтий Пилат в последних главах «Мастера и Маргариты».

Пьесой «Бег» Булгаков расставался, и, как ему казалось, навсегда, с мыслью об эмиграции. Правда, в тяжелейших обстоятельствах судьбы это искушение еще возникнет у него в 1929—1930 годах. Но и тогда будет оставаться густая тень сомнения: не потерпит ли на чужбине ущерб его достоинство, не потеряет ли он собственное лицо?

Круг идей пьесы «Бег» как бы вырастал из не досказанного в «Днях Турбиных», ею автор отвечал и на свои собственные

---

[1] Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Л., 1987, с. 55—58.

сомнения и раздумья. О жизни русских в изгнании рассказывала Булгакову вернувшаяся из Парижа Любовь Евгеньевна Белозерская, ставшая в 1924 году его женой. Булгаков отдавал себе отчет в тщете надежд на реставрацию самодержавия, какие еще теплились у части русской эмиграции, а жизнь в чужеземье не манила его. «Я не поеду, буду здесь, в России. И будь с ней, что будет»,—эти слова героя «Дней Турбиных» Булгаков почти повторил в разговоре со Сталиным в апреле 1930 года. Жизнь в изгнании, насколько он мог по рассказам ее представить, отталкивала Булгакова унижениями, возможным уроном для чувства чести. «Нужны вы там, как пушке третье колесо! Куда ни приедете, в харю наплюют от Сингапура до Парижа». Эти слова Мышлаевского дали тон «парижским» и «константинопольским» сценам пьесы «Бег».

Не мог Булгаков представить себя побирающимся в Константинополе или явившимся в богатый парижский дом в подштанниках, как Чарнота. С подкупающей прямотой и беззащитностью чистой души он писал Сталину:

«По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что 11 лет черпал из нее.

К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от моей побывавшей за границей жены, заявившей мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год»[1].

В 30-е годы Булгаков не раз просил отпустить его в поездку за границу, мотивируя это тем, что «писатель должен видеть свет», иначе ему прививается «психология заключенного». Он желал своими глазами увидеть то, о чем лишь читал и слышал. (Особенно необходимо было это ему, когда он работал над книгой и пьесой о Мольере.) И только грубый полицейский режим, подозрительность, насаждаемая вождем, могли воспротивиться такому естественному желанию: кому-то казалось, выпусти его за кордон — и он никогда не вернется. Между тем все, что мы знаем о Булгакове, говорит о другом: на обман, двойную игру он способен не был. И если нужны подтверждения искренности писателя, то сделает ошибку тот, кто будет искать ее где угодно, кроме его книг. Правдивый художник правдив прежде всего в своих творениях.

На представлении «Зойкиной квартиры» Сталин (а он был на спектакле вахтанговцев 8 раз), мог самолично убедиться, как

---

[1] Письмо И. В. Сталину от 30 мая 1931 г.—Октябрь, 1987, № 6, с. 182.

высмеян Аметистов, вздыхающий: «Ах, Ницца, Ницца! когда я тебя увижу?» — и мечтающий пройтись по берегу Лазурного моря в белых брюках. А как было не оценить иронию такого диалога:

«Алла. Я хочу уехать за границу.

Зоя. Понятно. Значит, здесь ни черта не выходит?

Алла. Ни черта»

Но Сталину было не до того, чтобы вдумываться в тонкости обмена сценическими репликами, и Булгаков так ни разу и не пересек границы.

А между тем эта тема совсем уже в фарсовом виде возникла в пьесе «Адам и Ева», где литератор Пончик-Непобеда, былой отчаянный патриот, решив, что все пропало, твердит: «Нужно было бежать на Запад, в Европу! Туда, где города и цивилизация, туда, где огни!» Но здесь Булгаков еще смеется над своим героем, а Мастер в его последнем романе с подлинной горечью скажет о своей неосуществившейся мечте объехать весь земной шар.

Булгакову так и не пришлось увидеть ни респектабельной квартиры Гленарвана в Лондоне, описанной в «Багровом острове», ни знакомый ему лишь по книгам парижский Новый мост, ни чашу мольеровского фонтана. И все же булгаковскому Мольеру, даже обиженному королем, не хочется бежать в Англию: «Как глупо! На море дует ветер, язык чужой, и вообще дело не в Англии...» И для Булгакова дело было не в Англии и не во Франции. Дело было в России. Если бы еще русскому драматургу не закрывали путь к своему читателю и зрителю!

## 7

Когда в 1930 году Булгаков отважно и даже с некоторым нажимом заявил: «Я — мистический писатель»,— он, несомненно, имел в виду прежде всего свои фантастико-сатирические повести и сожженный им в ранней редакции «роман о дьяволе».

Первая и, по существу, единственная книга его прозы называлась по заглавной повести «Дьяволиада» (1925). Это, впрочем, не значило, что внимание писателя безраздельно захватили демоны, ведьмы, черти — и как там еще называют эту публику, слетающуюся на Лысую гору и не поминаемую к ночи добрыми людьми. Его мистицизм был связан не столько с интересом к нечистой силе как таковой (хотя область таинственного, магического, странного оказалась сильным магнитом для

воображения), сколько к мистике каждодневного быта и шире — к мистике социального бытия. Именно на этом перекрестке мистицизм Булгакова, унаследованный отчасти от Гоголя, повстречался с сатирой.

В повести «Дьяволиада» мистико-фантастический сюжет зарождается в вихре бюрократической карусели, метельном шелесте бумаг по столам, призрачном беге людей по коридорам. Чуть подновленный департаментский герой Гоголя, маленький чиновник, делопроизводитель Коротков гоняется по этажам и комнатам за мифическим заведующим Кальсонером, который то раздвоится, то «соткется» перед ним (булгаковское словцо!), то вновь исчезнет. Коротков взлетает на лифтах, сбегает с лестниц, врывается в кабинеты, но в этой неустанной погоне за тенью он лишь постепенно дематериализуется, теряет себя и свое имя. Утрата бумажки, документа, удостоверяющего, что он — это он, делает его беззащитным, как бы вовсе не существующим.

Ненавистная и, казалось, поверженная, старая бюрократия возникает в каком-то обновленном, гиперболизированном и пародийно-уродливом виде, так что «маленькому человеку» Короткову с психикой гоголевского чиновника остается одно — расхлопать себе голову, бросившись с крыши московского «небоскреба» Нирензее. (В этом доме в Гнездниковском переулке помещалась редакция «Накануне», и вид с крыши, где был устроен летний ресторан, Булгаков наблюдал не раз.)

Ленин писал в те годы, что «если что нас погубит», то это бюрократизм[1]. Критика сердилась на Булгакова, между тем не материализовано ли по сути это предостережение в метафоре смерти Короткова? Герой, разумеется, безумен, но разве не безумен быт, где существуют учреждения, которые расплачиваются с сотрудниками сотнями коробков спичек, которые к тому же не горят?

Среди откликов на повесть был один, важный для Булгакова. Евгений Замятин, отметивший «быструю, как в кино, смену картин» в этой повести и «фантастику, корнями врастающую в быт», заключал, что хотя абсолютная ценность этой вещи «невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ»[2]. Замятин не был лишен прозорливости.

Кое-что в повести прямо предвещало появление на московских улицах Воландовой шайки. И когда Булгаков

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 180.

[2] Русский современник, 1924, кн. 2, с. 266.

описывает, как Кальсонер, «обернувшись в черного кота с фосфорными глазами», «вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине», кажется, что мы присутствуем при черновой репетиции фокусов кота Бегемота.

Пусть повесть в целом не удалась, но значит ли это, что она писалась напрасно? У серьезного автора ничего напрасным не бывает. Этот «неуспех» был крайне важен как первое приближение к своему стилю и материалу: «перелет» оказался нужен, чтобы затем точно накрыть цель. Всего год-полтора отделяют «Дьяволиаду» от следующей повести Булгакова «Роковые яйца», но какой путь проделала мысль писателя-сатирика, насколько емкая, прозрачная проза стала выходить из-под его пера!

Веселая, свежая, молодая фантазия царит в этой повести. Когда Дуня, воодушевленная намерением Рокка вырастить несметное количество кур, скликает у оранжереи разбежавшихся неведомо куда проворных цыплятой, а мы-то уж знаем, что из разбитой скорлупы расползлись чудовищные гады,— хочется от души расхохотаться над озорным вымыслом Булгакова. Повесть весела, но не только.

Александр Семенович Рокк, человек эпохи военного коммунизма с маузером в желтой битой кобуре на боку, реквизирует у профессора Персикова сенсационное научное изобретение в самых благих целях — возместить последствия куриного мора в стране. Но обычное невежество, хаос и халатность, из-за которых куриные яйца перепутаны с теми, что назначались для научных опытов, приводят к неизбежной беде. От захваченного, силком отнятого добра удачи не бывает. То, что в теплице совхоза «Красный луч» вместо ожидаемого изобилия цыплят выводятся чудовищные гады,— в сущности, не случайное недоразумение, а месть бытия. «Луч жизни», открытый профессором Персиковым, в чужих неумелых руках становится лучом смерти.

Протест против невежественных «кавалерийских» наездов в науку — лишь первый слой мысли Булгакова. Профессор Персиков находит, что из Рокка вышел бы «очень смелый экспериментатор», и это можно понимать шире, чем авантюру с курами. При отсталости, невежестве масс социальный эксперимент всегда грозит дать противоположный ожидаемому результат. Опыт с малиновыми яйцами, проведенный неумелыми руками, плодит гадов, которые способны пожрать самого благомыслящего теоретика. И речь не о случайной ошибке, а о своего

рода роке, что удостоверено заглавием. Погибает отставной кавалерист, но и профессору грозит быть растерзанным гневной толпой, ради благосостояния которой было отнято его изобретение.

Сатира констатирует — сатирическая фантастика предупреждает. В начале 20-х годов Булгаков писал и рассказы, подобные «Похождениям Чичикова» (1922). Писатель изображал гоголевских героев, приспособившихся к жизни в красной столице: его Чичиков устраивал себе и родственникам академические пайки и продавал Коробочке за бесценок здание Манежа. Это была сатира на настоящее. В «Роковых яйцах» он беспокоился о будущем.

Такова уж природа сатирической утопии, что, узнавая в описанном то, что случится позднее, читатели новейших времен с почтительным удивлением обращают свой взор на автора: как удалось ему столь многое угадать? Не угадал ли он, в частности, авантюрные опыты Лысенко? Если эти попадания антиутопии метки, но случайны, то совсем не случайно предупреждение Булгакова людям нового общества — не оказаться, как это не раз случалось с человечеством, жертвами «иронии истории».

Тему ответственности науки (и шире — теории) перед живой жизнью Булгаков по-новому повернул в «Собачьем сердце». Эту повесть, написанную в 1925 году, автор так и не увидел напечатанной[1]. В ней снова шла речь о непредсказуемых последствиях научных открытий, о том, что эксперимент, забегающий вперед и имеющий дело с неадекватным человеческим сознанием, опасен.

Профессор Преображенский, который так и сыплет острыми доморощенными афоризмами старорежимного толка («Террор совершенно парализует нервную систему»; «разруха не в клозетах, а в головах»; «...не читайте до обеда советских газет»), мог бы показаться махровым контрреволюционером, если бы не был столь открыт и прямодушен. Во всех своих

---

[1] Рукопись повести вместе с дневниками была изъята у Булгакова сотрудниками ОГПУ во время обыска 7 мая 1926 г. Как рассказывала Е. С. Булгакова, автор не раз обращался с просьбой вернуть ему его бумаги. Не получая ответа, он написал заявление, в котором объявлял, что демонстративно выходит из Всероссийского союза писателей (предшественник Союза писателей СССР). Булгакова пригласили к следователю, предложившему ему забрать свое заявление назад в обмен на бумаги. Булгаков согласился, и следователь, выдвинув ящик своего письменного стола, передал ему тетради с дневником и рукопись «Собачьего сердца».

суждениях он исходит, по существу, из простого здравого смысла[1].

Научная интуиция и здравый смысл профессора Преображенского дают рискованный сбой лишь однажды, когда он пытается пересадить уличной дворняжке гипофиз человека. Кто мог предполагать, что человеком этим окажется люмпен-пролетарий Клим Чугункин? В «Роковых яйцах» по ошибке экспериментатора выводились гады. В операционной Преображенского по прихоти науки возникает чудовищный гомункулус с собачьим нравом и замашками хозяина жизни.

Булгаков с большим скептицизмом смотрел на попытки искусственного и ускоренного воспитания «нового человека» и подал свою сатирическую реплику в споре. Еще в одном из ранних его фельетонов встречается образ «быстроходного электрического поезда», как символа будущего, вполне заслуживающего сочувствия. Но альтернативой ему служат... семечки — как примета дикости, грязи, бескультурья. Булгаков предлагал изгнать из жизни семечки. «В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится, и все к черту». Заведующий подотделом очистки Шариков — та же Дунька. К этому наглому и чванливому существу с пролетарской анкетой можно отнести слова, которые профессор Ефросимов в пьесе «Адам и Ева» произносит по поводу «художеств» пекаря Маркизова: «Я об одном сожалею, что при этой сцене не присутствовало советское правительство... чтобы я показал ему, с каким материалом собирается оно построить бесклассовое общество».

Стоящий в «Собачьем сердце» на втором плане председатель домкома Швондер не в меньшей мере, по Булгакову, несет ответственность за человекообразного монстра. Профессор Преображенский создал его психобиологию, Швондер же поддержал социальный статус и вооружил «идейной» фразой. Швондер — идеолог Шарикова, его духовный пастырь. Диалектика социальных отношений — большая шутница. Усмешка жизни состоит в том, что, едва встав на задние конечности, Шариков

---

[1] Прототипом Преображенского называют родственника Булгакова по матери, профессора-гинеколога Н. М. Покровского. Но, в сущности, в нем отразился тип мышления и лучшие черты того слоя интеллигенции, который в окружении Булгакова назывался «Пречистенкой». В районе Пречистенки (ныне улицы Кропоткина) жил круг людей из научной и художественной среды, осколков старой московской интеллигенции, близкий во второй половине 20-х годов Булгакову: семьи Арендтов, Ляминых, Шервинских, Леонтьевых и др. (см.: Н. Б. Москва и москвичи вокруг Булгакова.— Новый журнал, Нью-Йорк, 1987, кн. 166, с. 96—150).

готов утеснить и загнать в угол породившего его «папашу» — профессора. Но, сознав это, сам Преображенский, страдающий от утеснений воинственной пары Шарикова со Швондером, называет преддомкома человеком «глупым»: помогая утвердиться существу с «собачьим сердцем», вооружив его «теорией», почти как Иван Карамазов Смердякова, он и себе копает яму. Следующей жертвой Шарикова неизбежно падет он сам.

Таковы невеселые раздумья сатирика о возможных результатах взаимодействия в исторической практике трех сил: аполитичной науки, агрессивного социального хамства и сниженной до уровня домкома духовной власти, претендующей на святость прав, огражденных теорией. Сатирическая фантастика Булгакова предупреждала общество о том, что мало кто в те годы столь зорко видел. И в этом смысле его «мистицизм» не был областью совпадений, предзнаменований и чудес, как не был и царством происков «лукавого».

Конечно, любой талант является не без предшественников. Но, вероятно, стоит оспорить мнение, что мистицизм Булгакова — чисто литературного происхождения и корнями уходит в мрачноватую романтику Теодора Амадея Гофмана. Слов нет, и блестящий Гофман, автор «Кота Мурра», не прошел мимо внимания писателя с такой литературной культурой, как Булгаков. Но вряд ли следует преувеличивать тут меру влияния, так же как сводить фантастику Булгакова к заимствованиям у Уэллса[1]. Не говоря уж о том, что ведьмы летали на помеле в украинской ночи и «органчики» играли под черепом градоначальников в более близких краях, Булгаков был достаточно самобытен в своей сатирической фантастике, чувствуя рядом плечо литературного собрата Евг. Замятина, создавшего роман «Мы».

А главное — Булгаков улавливал непредсказуемые, и в этом смысле «мистические», черты исторического процесса. Рациональное знание тяготело к тому, чтобы разложить по полочкам, что и как случилось, где причина, а где следствие происходящих событий, да еще с неизбежной добавкой оптимизма, бросавшего розовый свет на ближайшее и более отдаленное будущее.

---

[1] Виктор Шкловский писал, например, вспоминая «Пищу богов» Уэллса и другие его книги: «Возьмем один из типичных рассказов Михаила Булгакова «Роковые яйца». Как это сделано? Это сделано из Уэльса. Общая техника романов Уэльса такова: изобретение не находится в руках изобретателя. Машиной владеет неграмотная посредственность <...> Успех Михаила Булгакова — успех вовремя приведенной цитаты» (Наша газета, 1925, 30 мая).

Булгаков выступил лояльным, но скептическим оппонентом по отношению к этому оптимизму. Он отмечал алогизм, стихийность процессов истории и социального быта, подобно тому как Достоевский дивился когда-то алогизму и непредсказуемости движений человеческой натуры.

Критик Леопольд Авербах, черты которого проступят в Берлиозе из «Мастера и Маргариты», утверждал, что фантастические повести Булгакова «злая сатира на советскую страну, откровенное издевательство над ней, прямая враждебность...»[1]. Хорошо еще, что он не читал повести «Собачье сердце», где булгаковский профессор протестует против слова «контрреволюция»: «Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается». Булгаков не считал себя противником новой власти и, более того, верил, что помогает ей. Потому что чем может лучше помочь писатель своей стране, как не откровенной правдой? Сатирик — тот же лекарь, а Булгаков знал, что хорош тот врач, который не только поставит диагноз, определит область боли, но постарается и прогнозировать течение болезни.

В 30-е годы прозу Булгакова не печатали. Не издавали и его сатирические повести. Но, сохраняя нить связи со сценой, театрами, Булгаков пробует транспонировать свой интерес к сатирической фантастике в драматическую форму. Так одна за другой появляются пьесы: «Адам и Ева» (1931), «Блаженство» (1934), «Иван Васильевич» (1934—1936).

В пьесе «Адам и Ева» ощутима ироническая проекция на библейское предание о первом человеке и его жене: в свете будущей апокалиптической войны — не стать бы первым людям последними. А с другой стороны — инженер Адам, «воинствующий и организующий», может быть,это и есть первый человек новой социалистической эры?

Адам и его жена воплощают в пьесе Булгакова не только перворechодное мужское и женское начало, но две различные стихии жизни. Адам относится к другим людям как к «человеческому материалу» и уповает на возможность «организовать человечество». Ева же верит в естество, природу, склонна к милосердию и осуждает жестокость. «Я вот сижу,— говорит она в пьесе, обращаясь к спорящим мужчинам,— и начинаю понимать, что лес, и пение птиц, и радуга — это реально, а вы с вашими исступленными криками — нереально». Бросая Адама и уходя к Ефросимову, Ева объясняет это, между прочим, так: «А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей». Свободный выбор женщины, да еще с име-

---

[1] Известия, 1925, 20 сентября.

нем праматери всех женщин, это выбор самой природы, жизни [1].

Таким образом, одним краем пьеса касается тех же раздумий Булгакова о возможности с помощью хорошей теории и честного энтузиазма «организовать человечество», каким были посвящены повести 20-х годов. Но в «Адаме и Еве» звучит и другая тема, содержание которой не будет преувеличением назвать пророческим. Это тема будущей катастрофической борьбы миров, последней войны, ответственность за которую ложится на ученых, создавших сверхмощное разрушительное оружие. Булгаков-художник предвосхищает планетарное мышление, свойственное нашим дням, ракетно-ядерной эре.

В пьесе действует типичный герой 30-х годов — военный летчик Дараган, представитель самой «модной» тогда профессии. Он несгибаем, он готов сражаться с врагом до последнего и победить его — почти эталонный положительный герой литературы своего времени. Но сердце Булгакова отдано профессору Ефросимову, рассеянному и немного «не от мира сего», типичному чудаку-ученому.

С возрастающей тревогой наблюдает Ефросимов разделенный взаимной ненавистью мир с двумя противоположными и одинаково бедными идеями: «коммунизм надо уничтожить» и «капитализм надо уничтожить». В его сознании возникнет зловещий призрак «старичка-профессора», который изобретет смертоносный газ, поставит на пробирке черный крестик, чтобы не спутать, и скажет: «Я сделал, что умел. Остальное — ваше дело. Идеи, столкнитесь».

Едва ли не впервые в нашей литературе Булгаков дает апокалиптическую картину мертвого города: рухнувшие стены, разбитые дома, трамвай, сорванный с рельсов и вошедший в витрину магазина, немое безлюдье вокруг. Такая панорама светопреставления, гибели больших городов, могла, казалось, представиться умственному взору разве что после ядерной Хиросимы. Вещим оком Булгаков ее увидел. И в том ли дело, что, не успевший узнать об изобретении атомного оружия, он немного ошибся, придумав свой «солнечный газ»? Писатель поразительно и чутко прав в главном: в предвидении всесвет-

[1] Возможно, тут присутствует автобиографический контур. Профессору в пьесе 41 год. Примерно столько же было автору, когда он уговаривал Е. С. Шиловскую оставить мужа-военного и соединить их судьбы. В 1932 г. Елена Сергеевна стала его женой. С нею, будущей Маргаритой, совершил он, как написал однажды, «свой последний полет».

ной опасности от взаимной ненависти народов и государств при гигантском прогрессе техники.

В драматической утопии Булгаков нашел новые аргументы для защиты своей гуманистической позиции. Его Ефросимов, уничтожая бомбы с газом, несущим гибель человечеству, объяснял свое решение примерно так, как спустя десятилетия сформулировали это Альберт Эйнштейн с Бертраном Расселом в своем манифесте: «Люди во все времена,— говорит Ефросимов,— сражались за идеи и воевали <...> Но когда у них в руках появилось такое оружие, которое стало угрожать самому существованию человечества, самой планете... я говорю вам — нет».

Попытка «организовать человечество» с помощью ненависти кончалась катастрофой, тем более что об руку с ненавистью, как обычно, шло невежество. Чем ограниченнее, непросвещеннее люди, не уставал повторять Булгаков, тем легче им поддаться соблазну непримиримой борьбы. И напротив, образованность, просвещенность, желание понять ведут к исчезновению ненависти, к общечеловеческому идеалу.

Этот идеал Булгаков попытался воплотить в образе Голубой Вертикали, фантастического, сверхтехнизированного — и бесклассового, социалистического — мира. Именно такой мир был воздвигнут его смелой фантазией в пьесе «Блаженство».

Пьеса написана в год «съезда Победителей» и убийства С. М. Кирова, после сталинской расправы над трудовым крестьянством и тяжелейшего голода в стране. В тот момент, когда теория и практика, цели и средства построения нового общества вступили в опасный конфликт и расходились все дальше, Булгаков попробовал вообразить 2222 год, образно материализовать мечту о всечеловеческом счастье, обнажив ее разрыв с социальной практикой 30-х годов.

Попавший в XXIII век из своего московского каждодневья преддомкома Бунша искренне потрясен реальными очертаниями того социалистического рая, о котором грезили его современники. В будущей счастливой стране не оказалось, по отсутствию в них нужды, столь привычных для Бунши вещей, как прописка, милиция, профсоюз, документы. Там не пьют, хотя из крана течет чистый спирт, и не сажают людей в тюрьму, поскольку преступников лечат в больницах. Там носят фраки (неисправимая слабость автора к этому роду одежды!), от души веселятся, а главное, «произносят такие вещи, что ого-го-го...».

Любопытное зрелище этот социализм «по Булгакову»! Надо признать, что, во всяком случае, он ближе к представлениям о коммунизме его основателей, чем «эмигрантов в будущее» из

30-х годов. Они столько слышали и говорили о новом общественном строе — и откровенно растерялись в нем. Верный обычаям своего времени, Бунша ищет «уклон» в речах наркома Изобретений Радаманова, пишет донос на его дочь, негодуя на поцелуи как на оскорбление нравственности. Не сознавая того, он готов, подобно герою «Сна смешного человека» Достоевского, внести разрушительную бациллу в будущее, разрушить счастливую жизнь в «Блаженстве».

Непредсказуемость чувства, непобедимость любви — на этом снова строится интрига булгаковской пьесы. Даже воображенное им утопическое общество, создавшее институт Гармонии, все еще бессильно перед великой и древней, как мир, загадкой: любит — не любит. Значит, и в будущем неуничтожимо, неистребимо только одно — внутренний мир человека.

Когда машина времени, так опасно подшутившая над Буншей и его спутниками, возвращает их на грешную землю, преддомкома счастлив увидеть милиционера не в витрине музея, а живьем, в своем доме. Но тут же приходится услышать и знакомые речи: «Берите всех! Прямо по списку!»

В финале пьесы «Блаженство» прозвучала фразеология, привычная в годы большого террора. В комедии «Иван Васильевич» опасная тема получила свое развитие. Если в «Блаженстве» Булгаков отправлял своих героев на 300 лет вперед, то теперь аппарат, способный «пронзить время», перенес в наши дни тех, что жили 400 лет назад. При всей архаичности речей и одежд, кое-что в эпохе Ивана Грозного оказалось неожиданно актуальным.

Не удивительно, что в 1936 году пьеса «Иван Васильевич», доведенная в Театре сатиры до генеральных репетиций, была снята накануне премьеры. В то время как Сталин все откровеннее склонялся к идеализации Ивана Грозного с его опричниной, Булгаков осмелился сочинить пьесу, бурлескно осмеивавшую легендарного своей жестокостью царя. Он лишил фигуру Ивана Васильевича величавости, придал ей даже нечто легковесно-опереточное, и это окрасило пьесу в тона шутовские, выдававшие непочтение к власти и силе. О кровавом царе автор решился говорить с усмешкой, и это уничтожало страх.

То и дело забывая о лексиконе XVI века, Грозный у Булгакова выражался как охотнорядец: «Им головы отрубят, и всего делов». Да и в устах других героев звучали довольно едкие современные репризы. «...Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем»,— вздыхал, к примеру, царев дьяк и слышал ответную реплику квартирного вора Милославского: «Это типичный перегиб». Тот же Милославский

рассуждал об опричниках: «Без отвращения вспомнить не могу. Манера у них сейчас рубить, крошить! Секиры эти... Бандиты они, Федя! Простите, ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты». На пороге 1937 года это выглядело по меньшей мере рискованно.

Изобретатель Рейн в пьесе «Блаженство» и Кока Тимофеев в «Иване Васильевиче» оказали автору большую услугу, создав свои аппараты, способные совместить современность с прошлым и будущим. Но когда из волшебного сна Тимофеев возвращался в привычный быт, он оказывался в окружении все тех же пошлых существ — грозящей уйти от него жены Зинаиды и ее любовника Якина, знающего одно заветное присловье: «...клянусь кинофабрикой».

Во что остается веровать, чем клясться людям, потерявшим честь,— это продолжает волновать Булгакова, как только из волшебного мира фантазии автор возвращает героев в мир будничный и реальный.

## 8

Проза и драматургия Булгакова имели одну почву: драматизм времени и личной судьбы художника. Свободное владение обеими формами объяснялось, по-видимому, редким складом его таланта: зрительное восприятие мира было у Булгакова столь же острым, что и слуховое,— равновесие, встречающееся не часто. Не потому ли проза его построена с учетом драматических законов: действие ее динамично, диалоги скупы и характерны. Ремарки же пьес Булгакова выглядят порою психологическим комментарием повествователя. (Отчаянный выкрик Крапилина в «Беге» сопровожден ремаркой «заносясь в гибельные выси» — что это, как не психологическое объяснение прозаика.)

В драматургию Булгакова переходит из прозы и сам тон — экспрессивный, невыглаженный, искренний. Его драмы и комедии написаны не тем пресно бытовым, прозаическим, лишенным поэзии языком, который Чехов называл «пьесным». Булгакову мало видеть на сцене жизнь «как она есть». Он неизменно ищет в действии лирический второй план и не исключает откровенного вторжения автора.

В «Беге» это «сны», эпиграфы и ремарки, которые должен был читать актер. В инсценировке «Мертвых душ» — роль Первого и гоголевский Рим, задуманный как дальний фон действия. В «Багровом острове» — эскиз горестной судьбы автора Дымогацкого. Современная Булгакову сцена, даже на такой

вершине, как Художественный театр, не вполне была готова принять эту поэтику. Булгакову же становилось тесно в обычном театральном ряду: живший в нем романист раздвигал плечами рамки пьесы.

Так как собственные пьесы его не шли, в 30-е годы Булгаков по горькой необходимости одну за другой сочинял инсценировки, стараясь все же держаться того, что было ему по вкусу. Так, в 1931—1932 годах, по заказу Ленинградского Большого драматического театра он написал инсценировку «Войны и мира». Спектакль так никогда и не был поставлен. Но на этом скромном примере наглядно виден почерк мастера, вышивающего свой узор по чужой знаменитой канве.

Может поразить уже то, что величественный роман Толстого, в пространствах которого легко затеряться, Булгаков уложил в четыре сценических акта, не пожертвовав при этом ничем существенным, не потеряв ни Пьера с Андреем Болконским, ни Наташу с княжной Марьей, ни Элен с Курагиным, ни старого князя и чету старших Ростовых, ни Александра I с Кутузовым, ни Наполеона с Даву, ни Петю, ни Соню, ни Долохова, ни дипломата Шиншина, ни Платона Каратаева, ни хотя бы какого-нибудь «краснорожего мушкетера», мелькнувшего на заднем плане грандиозной фрески Толстого.

Как удалось ему соблюсти точное чувство меры и формы при величайшем уважении к тексту Толстого? Театральное чутье подсказало Булгакову — начать пьесу с кульминационного момента, описанного в конце второго тома романа. Драматург вторгался в сюжет эпопеи in medias res, и действие начиналось сразу на высокой звенящей ноте: Пьер Безухов объяснялся с Элен и, спасая честь Наташи Ростовой, гнал ее соблазнителя Анатоля Курагина из Москвы, а комета 1812 года стояла над Пречистенским бульваром, как знамение великих потрясений, ожидавших Россию.

Булгаков обладал чутким пониманием законов сцены, какое в истории отечественного театра было разве что у А. Н. Островского. Он не только точно знал, в какой миг ввести на сцену нового героя и когда увести его, чтобы зритель не заскучал. Он чувствовал за актера, как прозвучит в его устах реплика, угадывал возможный ее эффект, способный развязать в зале цепную реакцию слез или смеха. «По сути дела, я — актер, а не писатель»,— обмолвился он в одном горьком письме[1]. И те, кому посчастливилось видеть его на сцене, в роли Судьи в спектакле «Пиквикский клуб» (1934) на сцене Художественного

---

[1] Новый мир, 1987, № 2, с. 170.

театра, могли подтвердить, что актером он мог быть незаурядным.

Но, переводя на язык драмы «Войну и мир», Булгаков выполнял и свою писательскую задачу. Он окунулся в тот мир дворянской интеллигенции, какой был близок и понятен ему. Оттого в лицах Толстого непредсказуемо, без насильственных вторжений в текст, а лишь путем направленного отбора, проступали черточки булгаковских сценических персонажей: Болконский легким абрисом напоминал Алексея Турбина, у Пети Ростова вдруг слышались интонации Лариосика.

Чтобы разобрать на реплики, сцены такой роман, как толстовский, а потом вновь сложить его в плотную конструкцию четырехактной драмы, требовался поистине исследовательский труд, не говоря о виртуозном знании сценического ремесла. Но Булгаков хотел воссоздать нечто большее — дух эпопеи, учась у Толстого искусству романиста. Памятуя, что в «Белой гвардии» он все же не до конца сладил с постройкой эпического романа, Булгаков как бы еще раз проверял себя опытом Толстого-романиста. Он готовился к созданию совсем иного, нового по структуре и интонациям романа, но пример Толстого нужен ему был хотя бы для отталкивания и разбега перед созданием «Мастера и Маргариты».

В 30-е годы Булгакову пришлось перелагать для сцены не одного лишь Толстого. В Художественном театре шла его инсценировка «Мертвых душ» Гоголя (1930—1932), где он разрешил себе бóльшую свободу «сотворчества» с гением. По поэме Гоголя и «Ревизору» он написал сценарии для кино, создал пьесу по мотивам «Дон-Кихота» Сервантеса и либретто оперы по Мопассану («Рашель»).

«И вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? — писал Булгаков с печальной самоиронией П. С. Попову 7 мая 1932 года.— Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева? Лескова? Брокгауза-Эфрона? Островского? Но последний, к счастью, сам себя инсценировал, очевидно предвидя то, что случится со мною в 1929—1931 годах» [1].

Конечно, писание заказных инсценировок, которые к тому же в большинстве своем фатально не пробивались на сцену или киноэкран, ощущалось Булгаковым как изнурительная поденщина, чем-то напоминавшая то бедственное молодое время, когда он оттачивал (а порою и тупил) свое перо, сочиняя один за

---

[1] Новый мир, 1987, № 2, с. 166.

другим фельетоны для «Гудка». Беда, что писатель столь современный и яркий задерживал свободное дыхание своего таланта, сочиняя инсценировки или, в лучшем случае, историко-биографические пьесы.

Утешить себя можно лишь соображением, что и тут была не одна лишь принужденность и растрата сил художника. То, что в ходе этих работ Булгаков жил воображением и знанием, пополнявшимся штудировкой источников, в окружении величайших людей искусства и их творений, чистило душу, питало ее художественным озоном и создавало поле высокого духовного напряжения вблизи всей его жизни. Где-то рядом шумел, негодуя на Булгакова, Владимир Киршон, писал на него поклеп Сталину В. Билль-Белоцерковский, пускал ко дну постановку его пьесы Вс. Вишневский, усердствовали критики В. Блюм, О. Литовский, П. Орлинский, а Булгаков в это время беседовал один на один с Пушкиным, общался с великими романами Толстого и Сервантеса, гениальными комедиями Мольера и вслушивался в этот золотой камертон искусства. В судьбе французского придворного комедиографа и русского поэта Булгаков искал опору своему личному и творческому поведению.

Прежде чем автор будущего «Театрального романа» решился отстраненно, в лирико-иронической исповеди бросить взгляд на трагический опыт собственной писательской судьбы, он сознавал свое положение и скорбную неизбежность нести свой крест на судьбе другого художника: в блестящей книге «Жизнь господина де Мольера» (1932—1933) и драме «Мольер» («Кабала святош», 1929—1936).

В романической биографии и еще более в пьесе отчетливо слышима больная тема: искусство и власть, свобода художника и принуждение его временщиками, трусами и ханжами. Воскрешая далекую судьбу парижского комедианта и нравы Пале-Рояля, Булгаков не строил эзопову басню, но невольно обдумывал то, что случилось с ним, свои отношения со Сталиным. Польщенный его телефонным звонком и еще более вниманием к «Дням Турбиных», его личным соизволением возвращенным на сцену в 1932 году, драматург допускал у могущественного вождя то соображение, что Булгаков, как будет сказано в пьесе о Мольере, «может служить к славе царствования».

Людовику XIV нельзя отказать в понимании, что сценический дар редок, а вполне преданный лакей не обязательно окажется хорошим драматургом или сносным актером. Желая вознаградить наушничество Муаррона, Король-Солнце не склонен все же принять его в королевскую труппу, так как он

«слабый актер», но как «ничем не запятнанному» человеку предложит ему должность в сыскной полиции...

Запас своего гнева Булгаков обрушивает не столько на короля, сколько на его придворных и слуг, на «кабалу святош», призванных блюсти общественную нравственность и крепость устоев, и оттого более роялистов, чем сам монарх. Это люди с «идеологическими глазами», как выразится Булгаков о цензоре реперткома в Багровом острове». Изощренное лицемерие архиепископа Шаррона в том, что, поднимая глаза к небесам, он отпускает грехи или грозит судом божиим, имея задней мыслью дела практические и земные: убрать с дороги задевшую его комедию и самого автора «Тартюфа».

Ставя пьесу в Художественном театре, К. С. Станиславский вступил в конфликт с автором, прося перенести центр внимания на художественный гений Мольера. Булгаков не мог пойти ему навстречу: для него это была пьеса не о великом даре, признанном в веках и не подлежащем пересуду, а о злосчастной судьбе «бедного и окровавленного» Мастера (в жизнеописании Мольера впервые громко прозвучит это слово)[1].

В пьесе о Мольере решительно все, даже то, что на педантский взгляд могло бы показаться небезупречной мелодрамой, вяжется в один крепкий узел. Зачем, казалось бы, драматургу мучительный и скользкий сюжет любовной связи Мольера с Армандой, возможной его дочерью? Сколько злорадства тут для обывательского рассудка и какая жирная пожива ханжеству! Лицемерие блюстителей нравственной чистоты охотно цепляется за ошибки и слабости великого человека.

Булгаков вступается за героя: он человек страсти, крупная даже в своих падениях личность. А наклонная к предательству мелкота с азартом кидается обсуждать пороки гения, по закону, открытому Пушкиным: он — грешен, как и мы! Церковь же со всей силой ненависти преследует Мольера за страсть, не являющуюся «грешком», а скорее напоминающую внушения античного рока. Да и толпа жаждет, чтобы художник, владеющий в иные минуты полной властью над нею, оступился, есть своя сладость в свержении кумира. Готовность недоброжелательства к таланту — нет ли здесь отголоска личной боли?

---

[1] «Окровавленным» видит Булгаков в это время и себя. «Сейчас ко мне наклонилось два-три сочувствующих лица. Видят, плывет гражданин в своей крови. Говорят: «Кричи». Кричать лежа считаю неудобным. Это не драматургическое дело» (из письма П. С. Попову 19 марта 1932 г. по поводу запрещения «Мольера» в Ленинграде.— Новый мир, 1987, № 2, с. 163).

В повести и пьесе о Мольере Булгаков пытается осознать и другую странность художника. Его Мольер проявляет необъяснимое великодушие к предавшему его ученику. Для него не составляет тайны, что Муаррон дважды виноват перед ним: живет с Армандой, которую зовет «мамой», и доносит на приемного отца. Но таково ужасное одиночество Мольера, что он готов закрыть на это глаза,— надо же, чтобы кто-то был рядом, ну хотя бы этот ничтожный мальчишка. Собственное внутреннее одиночество Булгакова на переломе к 30-м годам повернуло здесь к нам свой трагический лик. Не легко человеку чувствовать себя одному. Да и не в прощении ли тех, кто виноват перед нами,— высшая мудрость?

Но, возвращаясь к теме высокого покровительства и признавая его постыдную неизбежность, Булгаков разделяет безрассудную вспышку негодования Мольера, взорвавшегося как раз потому, что терпел слишком долго: «Из-за «Тартюфа». Из-за этого унижался. Думал найти союзника. Нашел! Не унижайся, Бутон! Ненавижу королевскую тиранию!»

Булгаков, в сущности, не меньше ненавидел тиранию сталинскую. Но, чтобы сохранить надежду, питавшую живые силы таланта, должен был обманываться, уговаривать себя, что зло не в верховной власти, а в окружении вождя и этажом ниже, в «кабале святош», идеологических чиновниках и газетных фарисеях, делающих жизнь художника нестерпимой. Известна тактика Сталина: самые грязные и недобрые дела он творил чужими руками, стоя как бы в отдалении и надо всеми, чтобы в случае неудачи искать виновных и выставлять на позор исполнителей своих же замыслов. Так, между прочим, распорядился он и с ненавистным Булгакову РАППом. В 30-е годы значительная часть интеллигенции верила в «олимпийство» Сталина, и Булгаков не избежал иллюзий, выгодных вождю.

Вот почему, учитывая настояния театра, Булгаков попробовал написать пьесу о молодом Сталине «Батум» (1939). Вероятно, тут вмешался инстинкт самозащиты, который выручает на краю гибели все живое, и он настроил сознание опального, полузагубленного писателя таким образом, чтобы автор без торговли со своей совестью мог писать о юности вождя, который к тому же, как-никак, в трудную минуту один откликнулся на его зов о помощи. Горестное заблуждение, которое невозможно разделить и даже нелегко понять сегодняшнему читателю. Забегая вперед, можно сказать, что пьеса окончательно подорвала моральные и физические силы Булгакова, тем более что была добросовестной и нелицемерной попыткой отыскать добро и истину там, где они сроду не водились.

Вдобавок пьеса так и не была поставлена. Сталин не одобрил ее, и Булгаков пережил двойной удар — неудачи и стыда.

Пьеса о Пушкине (1935—1936), которая вначале задумывалась совместно с В. В. Вересаевым, перекликалась с «Мольером». Тут тоже возникала тема: поэт и время, поэт и власть. Однако здесь Булгаков уже заранее лишил будущего режиссера возможности потребовать от него полнее изобразить на сцене художественный гений. В пьесе о последних днях поэта — Пушкина на сцене не было. И в то же время всё было Пушкин: его друзья и враги, его близкие и слуги, царь и жандармы, его вещи и книги — и даже звучащие в устах сыщика Биткова строки его стихов. Булгаков полагал, что вывести Пушкина на сцену в сюртуке и с бакенбардами (страшное воспоминание о пушкинском вечере во Владикавказе — портрет, напоминающий Ноздрева!) «будет вульгарно» [1] и надо дать фигуру поэта отраженно, теневым силуэтом.

Целомудренное отсутствие героя во плоти оказалось лучшим возбудителем для фантазии зрителя: в конце концов, жест великодушия — считаться с тем, что у каждого — свой Пушкин. Рассказ же о трагических преддуэльных днях, сочувствие к судьбе поэта объединяло всех. Пьеса ставила на место власть мирскую. Говорила о прочности иной — духовной, поэтической власти над душами, и это опять была глубокая и личная булгаковская тема.

Пьесу «Пушкин», против которой, казалось, совсем нечего было сказать, Булгаков предполагал поставить к пышно отмечавшемуся столетию со дня гибели поэта. Но и эта надежда была напрасной.

«За семь последних лет,— писал Булгаков Борису Асафьеву 2 октября 1937 года,— я сделал шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно... В доме у нас полная бесперспективность и мрак» [2].

Выдержать все это Булгаков сумел лишь благодаря своему редкостному характеру. Он побеждал припадки злой хандры и неврастении новой работой и связанными с нею надеждами. «Я не встречала по силе характера никого равного Булгакову,— свидетельствовала Елена Сергеевна, к слову сказать, сильно укреплявшая его дух.— Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда» [3].

[1] Из записи дневника Е. С. Булгаковой от 18 октября 1934 г.— Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 402.

[2] Цит. по кн.: Проблемы театрального наследия М А. Булгакова, с. 89—90.

[3] Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 385.

В самом деле, стоическое мужество его работы было невероятным. Любой мало-мальски опытный литератор знает: сравнительно легко собраться с силами для нового труда после одной неудачи, можно не дать себе раскиснуть после второй и, сжав зубы, работать после третьей. Но ведь Булгаков, не имея, за ничтожным исключением, ни одной публикации, ни одной воплощенной театром оригинальной пьесы с 1928 по 1936 год, не устает задумывать и осуществлять одну работу смелей и заманчивее другой — и в седьмой, и в восьмой, и в шестнадцатый раз! Напомним этот творческий мартиролог: пишется «Бег» — и не ставится; созданное в нескольких редакциях «Собачье сердце» лежит в столе; биография Мольера, написанная по предложению Горького для «Жизни замечательных людей»,— не печатается; от пьесы «Адам и Ева» отказывается театр; зазря сочиняется «Блаженство»; «Ивана Васильевича» снимают, расклеив афиши по городу, а «Мольер» в Художественном театре пройдет всего семь раз... Что сказать после этого о судьбе художника?

Именно этот автобиографический сюжет — злосчастная судьба драматурга — занимал Булгакова и в неоконченном романе «Записки покойника», и, несколько ранее, в пьесе «Багровый остров» (1928).

Остроумная пародия на театральный быт и халтуру — так воспринимался спектакль первыми зрителями таировской постановки «Багрового острова» в Московском Камерном театре. «Пьеса в пьесе» о борьбе красных и белых арапов дополняла это шаржем на сочиненную по всем рецептам Главреперткома «революционную драму». Булгаков зло подшутил над своими цензорами. Как примерный ученик, он выполнил все требования, какие предъявлялись ему по поводу постановки «Дней Турбиных».

Говорилось, скажем, что следовало дать перековку хотя бы одного из белых офицеров в красного командира,— и в «Багровом острове» появлялся полководец Тхонга, переходивший на сторону восставших туземцев. Говорилось, что требуется изобразить представителей народа, хотя бы в виде денщиков, домашней прислуги (соображение П. Орлинского),— и в комедии появлялась скромная горничная Бетси, которую выгоняла из дома леди Гленарван. Рекомендовалось закончить пьесу громкой революционной песней — и в финале спектакля гремел хор с оркестром:

...Да живет Багровый остров,
Самый славный средь всех стран.

Название пьесы «Багровый остров» не зря прямо противостояло «Белой гвардии» по символике цвета.

Пародия перерастала в памфлет благодаря фигуре Саввы Лукича, принимавшего спектакль по пьесе Дымогацкого. Он сидел на сцене в золоченом царском кресле, роняя время от времени наводящие на театральных людей ужас реплики: «Сменовеховская пьеса...», «Запрещается». По замыслу Булгакова, это еще резче должно было подчеркнуть: такие деятели, как Блюм или Литовский, узурпируют прерогативы власти, распоряжаясь от ее лица. «Далеко поедете»,— сулил Савва Лукич молодому драматургу.

«Жалует царь, да не жалует псарь»,— говорит пословица. У самой верховной власти, будь то Людовик XIV для Мольера или, в более близкие времена, Сталин, еще можно было надеяться временами найти поддержку. Произвол может позволить себе и прихоть покровительства. Но у людей с «идеологическими глазами» смелый художник не найдет понимания никогда.

В пародийной, напоминавшей порой «Вампуку» и капустники Балиева пьесе Булгакова звучала, однако, и трагикомическая нота. Она была связана с судьбой измученного безденежьем и поденщиной, печального драматурга.

Намеченная в «Багровом острове» пунктиром, эта тема получит развитие, станет глубже и лиричнее, ближе к биографии автора в неоконченном «Театральном романе» (1936—1937). Роман этот пророс из автобиографического письма-конспекта «Тайному другу» (1929), адресованного Е. С. Булгаковой в разгар увлечения автора ею, и обогащен перипетиями сложных отношений с Художественным театром. В него вошла и стихия шуток, театральных анекдотов, передразниваний («Хотите я его *покажу?*» — говорят актеры), бытовавших за кулисами.

У Булгакова никогда не возникало желания отшутиться от крупных тем и больных вопросов. Но вечная угрюмая серьезность на лице — примета неглубокого человека. Юмор для автора «Театрального романа» — всегда спасение. Он видит в жизни праздничную сторону, ставит на место тоску и печаль, разрушает пошлость будничного поведения, в том числе и сентиментального нытья, и создает необходимую дистанцию между душой автора и невеселой реальностью.

Драматург Максудов проходит тернистым путем познания тайн Независимого театра, которым руководят два враждующих между собою корифея — Иван Васильевич и Аристарх Платонович. (Посвященные мгновенно узнавали в них Станиславского и

Немировича-Данченко, да и другие лица и обстоятельства были переданы очень смешно и близко к натуре.)

Но по мере движения действия «Театрального романа», который точнее было бы назвать романом литературно-театральным, нарастало ощущение одиночества героя — и в кругу писателей, и в театральной среде — горькое непризнание нового, желавшего выразить себя: «Я новый, я пришел!..» Как и в пьесах о Мольере и о Пушкине, но уже на современном материале, здесь возникала тема судьбы Мастера, опередившего талантом свое время,— новый извод старой притчи о поэте-пророке, не признанном толпой и побиваемом каменьями. Самая веселая книга Булгакова должна была кончаться траурно — самоубийством Максудова, бросившегося в родной Днепр с Цепного моста.

Основные романы Булгакова роковым образом остались незавершенными [1], подобно некоторым другим великим созданьям литературы — например, «Мертвым душам» Гоголя, если вспомнить лишь книгу наиболее Булгакову близкую. Может быть, так происходило потому, что задача перерастала творца. С увлечением работой горизонты ширились, хотелось вместить и объять все явившееся взору богатство жизни — и любой финал казался бы искусственным и узким в свете понимания, открывшегося художнику.

## 9

Свою главную книгу, называвшуюся тогда «Черный маг» или «Копыто инженера», Булгаков задумал и стал писать, по-видимому, зимой 1928—1929 годов. Последние вставки в роман он диктовал жене в феврале 1940 года, за три недели до смерти. Он писал «Мастера и Маргариту» в общей сложности более десяти лет, поправляя и переделывая написанное, на долгие месяцы оставляя рукопись и вновь возвращаясь к ней. Одновременно и рядом шла работа над пьесами, инсценировками, либретто, но этот роман был книгой, с которой он не в силах был расстаться,— роман-судьба, роман-завещание. Удиви-

---

[1] Это относится к «Белой гвардии» и «Театральному роману». Но и «Мастер и Маргарита», несмотря на сюжетно-композиционную завершенность текста, мог иметь еще не одну редакцию, а уж шлифовка текста, будь Булгаков здоров, продолжалась бы несомненно. Однажды я передал Елене Сергеевне вопрос молодого читателя: в последнем полете свиты Воланда, среди всадников, летящих в молчании, нет одного лица. Куда пропала Гелла? Елена Сергеевна взглянула на меня растерянно и вдруг воскликнула с незабываемой экспрессией: «Миша забыл Геллу!!!»

тельно ли, что она стала синтезом всего, что было передумано и перечувствовано Булгаковым?

Роман вобрал в себя богатый к зрелым годам опыт художника и свел в органную полифонию мотивы, звучавшие порознь в разных его сочинениях. Ничто не оказалось лишним: московский быт, запечатленный в очерках из «Накануне», колорит квартиры № 50 с «бичом дома» Аннушкой Пыляевой и Василием Ивановичем, «кошмаром в полосатых подштанниках»; сатирическая фантастика и мистика, опробованная в повестях 20-х годов; мотивы рыцарской чести и неспокойной совести в романе «Белая гвардия»; драматическая тема судьбы гонимого художника, развернутая в «Мольере», пьесе о Пушкине и «Театральном романе»... К тому же картина жизни незнакомого восточного города, запечатленная в «Беге», готовила описание Ершалаима. А сам способ перенесения во времени назад — к первому веку истории христианства и вперед — к утопической грезе «покоя» напоминал о сюжетах «Блаженства» и «Ивана Васильевича».

Но все отмеченное и еще не отмеченное здесь было переплавлено творческим сознанием автора в некое единство, головокружительная новизна которого доставила много хлопот критикам, пытавшимся определить жанровую природу булгаковского романа.

Как всякое великое создание искусства, «Мастер и Маргарита» содержит много пластов смысла и приходит к нам на разных уровнях понимания. При первой журнальной публикации некоторым читателям книга показалась чрезмерно туманной, переусложненной, в особенности во второй ее части. Сейчас основные мотивы ее ясны, как родниковая вода, она стала достоянием массового чтения, любимой книгой вдумчивых школяров и студентов, и можно лишь удивляться — что казалось в ней непонятным?

Булгаков захватывает в свой бредень разных по уровню образованности, возрастам и вкусам читателей, и в этом одна из причин эпидемического успеха книги. В романе есть черты, позволяющие его использовать «масс-культуре» — вплоть до элементов детектива, приключенческого романа XX века. Любимым юношеским чтением делает роман его веселое озорство и томящая печаль. Тень загадки, опасная игра с нечистой силой на границе веры и безверия, романтическая любовь, юмор, высовывающий язык догматике и «здравому рассудку», меткие словечки, готовые рассыпаться по жизни в афоризмах,— все это манящие соблазны для молодого, да и любого не утратившего непосредственности читателя.

А между тем в книге остается своя тайна: это и исповедание веры Булгакова, значительное философское содержание, глубину которого не сразу измеришь.

О романе Булгакова исследователями разных стран написаны горы литературы и еще, наверное, немало будет сказано. Среди трактовавших книгу авторов есть и такие, что склонны были читать ее как зашифрованный политический трактат: в фигуре Воланда распознавали Сталина и даже его свиту расписывали по конкретным политическим ролям — в Азазелло, Коровьеве пытались угадать Троцкого, Зиновьева и т. п. Трудно представить себе что-либо более плоское, одномерное, далекое от природы искусства, чем такая трактовка булгаковского романа.

Воздух 30-х годов, атмосфера страха, репрессий, гонений, конечно же, присутствует в романе, и более всего в судьбе Мастера. Но выявлено это не в лобовых аналогиях, перемигиваниях с читателем, а гнездится глубоко, в самой ткани рассказа, и передано с безупречным художественным тактом. Трудно забыть, как Мастер, ставший жертвой доноса прилежного читателя его романа Алоизия Могарыча и отсутствовавший в своей квартирке три месяца, приходит к светящимся окнам подвальчика, где играет патефон. Приходит «в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами» и с нежеланием писать и жить. Одной этой подробности (пуговицы срезáли при аресте) хватает, чтобы представить муку допросов и ужаса несвободы.

А убийство Иуды наемниками Афрания — разве не отголосок это впечатлений 30-х годов? Конец Иуды, как и конец лощеного наушника барона Майгеля, убитого Азазелло на великом балу у сатаны, удостоверял не раз подтверждавшийся во времена Ягоды и Ежова закон: слуги зла будут уничтожены самим злом. Булгаков не пародировал в зашифрованной форме события истории, он обнаруживал мистику зла. Добро не всегда сохраняет энергию мщения. Но зло, случается, казнит самое себя.

Иные истолкователи романа увидели в нем апологию дьявола, любование мрачной силой, какое-то особое, едва ли не болезненное пристрастие автора к темным стихиям бытия. При этом одни досадовали на безрелигиозность автора, его нетвердость в догматах православия, позволившую ему сочинить сомнительное «Евангелие от Воланда». Другие же, вполне атеистически настроенные, упрекали писателя в «черной романтике» поражения, капитуляции перед миром зла.

В самом деле, Булгаков называл себя «мистическим писателем», но мистика эта не помрачала рассудок и не запугивала

читателя. Воланд и его свита совершали в романе небезобидные и часто мстительные чудеса, как волшебники в доброй сказке: с ними, в сущности, были шапка-невидимка, ковер-самолет и меч-кладенец, меч карающий.

Флер соблазнительной власти таинственного поначалу окутывает булгаковского дьявола, но происки лукавого — это дверь, через которую в роман входит сатира. Воланд со своими присными, бесами помельче, при полном нашем сочувствии потешается над пороками людей и наказывает жадность, вранье, сластолюбие всех этих Варенух, Семплеяровых и Лиходеевых.

Одной из главных мишеней его очистительной работы становится самодовольство рассудка, в особенности рассудка атеистического, сметающего с пути заодно с верой в бога всю область загадочного и таинственного. С наслаждением отдаваясь вольной фантазии, расписывая фокусы, штуки и перелеты Азазелло, Коровьева и кота, любуясь мрачным могуществом Воланда, автор посмеивается над уверенностью, что все формы жизни можно расчислить и спланировать, а процветание и счастье людей ничего не стоит устроить — достаточно захотеть.

В 1937 году, в то самое время, когда Булгаков работал над завершением своего романа, европейская знаменитость Лион Фейхтвангер, побывавший в Советском Союзе, писал:

«Да, весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того — счастьем <...>. У кого есть глаза, умеющие видеть, у кого есть уши, умеющие отличать искреннюю человеческую речь от фальшивой, тот должен чувствовать на каждом шагу, что люди, рассказывающие в каждом углу страны о своей счастливой жизни, говорят не пустые фразы. И эти люди знают, что их процветание является не следствием благоприятной конъюнктуры, могущей измениться, а результатом разумного планирования».

Знаменитый иностранный путешественник, посетивший Москву почти одновременно с Воландом, интересовался не тем, как ведут себя «москвичи в массе», вроде тех, что собрались в Варьете, увидел не дом скорби и не страх, владеющий Мастером. С благожелательным любопытством чужеземца он отметил успехи планирования во всех областях и лишь слегка усомнился по поводу возможностей «планового хозяйства в искусстве»[1].

Булгаков понял то, чего не понял немецкий писатель, сочувственно вслушивавшийся в объяснения, какие давал ему по поводу процессов над шпионами и вредителями сам Сталин.

---

[1] Фейхтвангер Лион. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. М., 1937, с. 9, 13.

Только на фоне твердо обещанного и рационально планируемого счастья стали возможны политические репрессии 30-х годов.

Сохраняя доверие к идее Великой Эволюции, Булгаков сомневается в возможности штурмом обеспечить равномерный и однонаправленный прогресс. Его мистика обнажает трещину в рационализме. Развивая тему, намеченную в повестях 20-х годов, он осмеивает самодовольную кичливость рассудка, уверенного в том, что, освободившись от суеверий, он создаст точный чертеж будущего, рациональное устройство всех человеческих отношений и гармонию в душе самого человека. Скепсис Булгакова в этом смысле родствен прозрениям Достоевского.

Здравомыслящие литературные сановники вроде Берлиоза, давно расставшись с верой в бога, не верят даже в то, что им способен помешать, поставить подножку его величество случай. А дьявольских шуток не хотите?—отвечает на это Булгаков. Мистика быта для него лишь слабый мерцающий блик того, что можно назвать мистикой исторического процесса: то есть неожиданность, непредсказуемость его хода и результатов. Важнейшие события созревают незаметно и осуществляются как бы вне воли людей, хотя люди уверены, что способны распорядиться всем самолично. Несчастный Берлиоз, точно знавший, что будет делать вечером на заседании Массолита, всего через несколько минут гибнет под колесами трамвая.

Так и Понтий Пилат в «евангельских главах» романа кажется себе и людям человеком могущественным. Но проницательность Иешуа поражает прокуратора не меньше, чем собеседников Воланда странные речи иностранца на скамейке у Патриарших прудов. Самодовольство римского наместника, его земное право распоряжаться жизнью и смертью других людей впервые поставлено под сомнение: «...согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?» Пилат решает судьбу Иешуа. Но по существу Иешуа—свободен, а он, Пилат, отныне пленник, заложник собственной совести. И этот двухтысячелетний плен—наказание временному и мнимому могуществу.

Вряд ли можно говорить о религиозности Булгакова, во всяком случае—в традиционном церковном смысле. Но самодовольный и яростный атеизм «воинствующих безбожников» вроде Ивана Бездомного вызывает у него отпор. Он видит в нем ту же непросвещенность, душевную темноту, помноженную на социальную агрессию.

Отнюдь не строгий христианин, автор дорожит нравственным содержанием заповедей христианства, усвоенных европейской гуманистической культурой. Более того, он не видит в

сфере нравственности чего-либо, что можно было противопоставить безусловной вере в добро. В разгар богоборчества, преследования священников и разрушения храмов по просторам русской земли Булгаков пытается предложить свою художественно-научную версию жизни Христа, свое, «пятое Евангелие», адресованное отвернувшемуся от церковности, атеистическому миру. Может быть,это и впрямь «Евангелие от дьявола», как казалось иным близоруким читателям романа? Нет, это напоминание о великом примере смерти за свой идеал и надежда на торжество в мире начал добра.

В противоположность калейдоскопу чудес и мистики в главах о современной Москве, сцены в Ершалаиме абсолютно реальны. В утреннем и предвечернем освещении очертания людей и предметов точны и четки, будто смотришь на них сквозь идеально прозрачное стекло.

История Иешуа Га-Ноцри лишь в самом начальном варианте романа имела одного рассказчика — дьявола. Поощряемый недоверием собеседников на скамейке, Воланд начинает рассказ как очевидец того, что случилось две тысячи лет назад в Ершалаиме. Кому, как не ему, знать все: это он незримо стоял за плечом Пилата, когда тот решал судьбу Иешуа. Но рассказ Воланда продолжен уже как сновидение Ивана Бездомного на больничной койке. А дальше эстафета передается Маргарите, читающей по спасенным тетрадям фрагменты романа Мастера о смерти Иуды и погребении. Три точки зрения, а картина одна, хоть и запечатленная разными повествователями, но именно оттого трехмерная по объему. В этом как бы залог неоспоримой достоверности случившегося.

В романе Мастера никакой уступки двусмысленности, нет и тени равноправия добра и зла, какой-либо разновидности новейшего манихейства или зороастризма. Но к чему тогда Воланд в качестве «евангелиста», неужели лишь для остроты литературной игры?

Один из ярких парадоксов романа заключается в том, что, изрядно набедокурив в Москве, шайка Воланда в то же время возвращала к жизни порядочность, честность и жестоко наказывала зло и неправду, служа как бы тем самым утверждению тысячелетних нравственных заповедей. Воланд разрушает рутину и несет наказание пошлякам и приспособленцам. И если еще его свита предстает в личине мелких бесов, неравнодушных к поджогам, разрушению и пакостничеству, то сам мессир неизменно сохраняет некоторую величавость. Он наблюдает булгаковскую Москву как исследователь, ставящий научный опыт, словно он и впрямь послан в командировку от небесной

канцелярии. В начале книги, дурача Берлиоза, он утверждает, что прибыл в Москву для изучения рукописей Герберта Аврилакского,— ему идет тога экспериментатора, ученого, мага. А полномочия его велики: он обладает привилегией наказующего деяния, что никак не с руки высшему созерцательному добру.

К услугам такого Воланда легче прибегнуть и отчаявшейся в справедливости Маргарите. «Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой,— делится она с Мастером,— они ищут спасения у потусторонней силы». Маргарита не сама это придумала.

В булгаковском романе множество литературных отголосков и отражений[1]. Но одно из исходных для замысла впечатлений — гениальное творение Гете, звучавшее в ушах автора еще и в сопровождении музыки Гуно.

Булгаковская Маргарита в зеркально-перевернутом виде варьирует историю Фауста. Фауст продавал душу дьяволу ради страсти к познанию и предавал любовь Маргариты. В романе Маргарита готова на сделку с Воландом и становится ведьмой ради любви и верности Мастеру.

Тем, кто ослабел душою и усомнился в могуществе любви в подлунном мире, Булгаков внушает надежду и призывает: «За мной, мой читатель, и я покажу тебе такую любовь!» Над пеленой жалких страстей, хитростей и вожделений, суетой Массолита, кабинетов Акустической комиссии и апартаментов председателя домкома Босых парит живое романтическое чувство. Прорезая пеструю толпу и гася шумный фон бытовых своекорыстных голосов, возникает огромное идеальное содержание романа. Булгаков утверждает веру среди безверия, дело среди безделия, любовь среди безлюбия, искусство в мире тщеславия.

Книга Булгакова десятками нитей связана с театром, да она и по природе своей театральна. Роман разворачивается в сценах то празднично-бурлескных, как сенсационный парад черной магии в Варьете, то манящих загадкой, как знакомство с Воландом в первых главах, то напряженно интеллектуальных, как поединок Иешуа с Пилатом. Сюжет не вытягивается линейно, он ветвится подобно живому дереву, возвращается в бегущих отражениях, как в волшебных зеркалах, создающих вторую и третью перспективу.

Мысль о преображении, перевоплощении всегда волновала Булгакова. На низшей ступени — это преображение внешнее,

---

[1] См. об этом, в частности, статью Н. П. Утехина «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (Об источниках действительных и мнимых)».— Русская литература, 1979, № 4, с. 89—109.

перемена лика и облика, что сродни волшебству грима и театрального костюма. Известен афоризм писателя: «Кино — это погоня, театр — это переодевание»,— замечание ценное прежде всего как самохарактеристика драматурга. Сколько раз переодеты («Ателье! Ателье!») герои «Зойкиной квартиры», и среди них одевшийся «под красного» Аметистов. Настоящий маскарад совершается и в «Беге»: Чарнота переодет Барабанчиковой, архиепископ Африкан — химиком Махровым, Люська в Париже возникает в обличье француженки Фрежоль и т. п. Но переодевание входит в поэтику и булгаковского романа.

На великом балу у сатаны костюмированы хозяева и гости, что, впрочем, не удивительно в сцене, имеющей все приметы театрального зрелища с эффектной сменой декораций. Покидая Москву, преображенными выглядят Воландовы спутники: фиолетовый рыцарь Коровьев, Азазелло в стали доспехов и юноша-паж, обернувшийся на время котом Бегемотом, а теперь, как и остальные, сбросивший «колдовскую нестойкую одежду». Да и вообще эта потешная нежить и нечисть постоянно меняет имена и личины. Имеющий прямого предшественника в театральной «Синей птице» Метерлинка, кот Бегемот то добродушнейшее создание на свете, щеголь и дамский угодник, говорящий по-французски и вызолотивший усы, то продувная бесцеремонная бестия — толстяк в рваной кепке...

Но эта способность к переодеванию, смене облика на другом этаже замысла вырастает в идею внутреннего преображения.

Свой путь душевного обновления проходит в романе Иван Бездомный и в результате заодно с прошлой биографией теряет свое искусственное и временное имя[1]. Только недавно в споре с сомнительным иностранцем Бездомный, вторя Берлиозу, осмеивал возможность существования Христа, и вот уже он, в бесплодной погоне за Воландовой шайкой, оказывается на берегу Москва-реки и как бы совершает крещение в холодной ее купели. С бумажной иконкой, приколотой на груди, и в нижнем белье является он в ресторан Массолита, изображенный подобием вавилонского вертепа — с буйством плоти, игрой тщеславия и яростным весельем. В новом своем облике Иван выглядит сумасшедшим, но в действительности это путь к

---

[1] Бездомный — литературный псевдоним Ивана Николаевича Понырева, в духе известных псевдонимов времени, таких, как Демьян Бедный, Михаил Голодный, или писательских фамилий — Александр Безыменский, Иван Приблудный. О внутренней проекции образа Ивана на Д. Бедного и А. Безыменского см. работу Б. М. Гаспарова (Даугава, 1988, № 10).

выздоровлению, потому что, лишь попав в клинику Стравинского, герой понимает, что писать скверные антирелигиозные агитки — грех перед истиной и поэзией.

Берлиозу за его неверие в чудеса отрезали голову, а Иван, повредившись головой, потеряв рассудок, как бы обретает его, прозрев духовно. Душевная болезнь как симптом нравственного здоровья — старая тема русской литературы, развитая еще Герценом в повести «Доктор Крупов», Чеховым в «Палате № 6». Одно из проявлений душевного выздоровления — отказ от претензии на всезнание и всепонимание. В эпилоге романа Иван Николаевич Понырев возникнет перед нами в облике скромного ученого, будто заодно с фамилией изменилось и все его духовное существо.

Перевоплощение отметит и фигуру Мастера. В скромном обитателе подвальчика, как тень воспоминания о какой-то былой жизни, мелькнет сходство с Гоголем, и сам мотив сожженной рукописи — не огненный ли это блик от того камина, куда был брошен второй том «Мертвых душ»? Но, быть может, в каком-то смысле он еще и отражение Иешуа Га-Ноцри? Воображение художника порою будто набрасывает на его плечи разорванный голубой хитон... Мастер умирает и воскресает со своим героем, как феникс, самосжигается и восстает из пепла.

А Маргарита? У Булгакова она уже совсем явно склонна к перевоплощению, миграции души — в духе ли новой антропософии или древнейшего платоновского переселения душ. Есть в ней отсвет Маргариты Наваррской — московской праправнучкой «королевы Марго» называет ее Коровьев. Но ведь Маргарите суждено еще обернуться ведьмой и, совершив свой опасный и мстительный полет над Арбатом, оказаться на балу у сатаны.

А конец героев? Не смерть, а какое-то новое, утешительное, изобретенное для них автором преображение в «покое»: мечта о доме с садом, где тихо звучит музыка Шуберта, и Мастер в своем вечном колпаке за любимой работой.

«Покой», тишина, мир — ключевые понятия для Булгакова. Война, драка и крики, шумная публичность — их антиподы. Кстати, Булгаков и в жизни старался быть в стороне от литературных скандалов, шумных полемик, избегал многолюдных писательских собраний. Как мы теперь понимаем, он был в центре литературы, но инстинктивно держался на околице того, что называют «литературной жизнью».

Слово «покой», часто мелькающее в переписке Булгакова, на разные лады повторяется и в его романе. Понтий Пилат

страдает, что и ночью ему «нет покоя». Маргарита опасается, что, нарушив обещание вступиться за Фриду, не будет «иметь покоя всю жизнь». К покою тянется смертельно уставший, измученный испытаниями Мастер.

Притягивает к себе загадка слов, определивших посмертную судьбу Мастера: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Учитель Левия Матвея не хочет взять Мастера «к себе, в свет», и это место романа не зря стало камнем преткновения для критики, потому что, по-видимому, именно в нем заключено собственно авторское отношение к вере и идее бессмертия.

Что и говорить, булгаковская трактовка евангельского сюжета неканонична. Рассказ о смерти проповедника добра из Галилеи не только обновлен почти театрально наглядным ви́дением. Нельзя не заметить, что он оборван раньше главного религиозного события Евангелия: воскресение и вознесение Христа остались за его границами. По Булгакову, тело Иешуа Га-Ноцри, спрятанное в пещере Левием Матвеем, находят и подвергают погребению вместе с телами разбойников в пустынном и тайном месте. Рассказанная Мастером история не имеет, таким образом, религиозного финала. Может быть, поэтому «тот, кто прочел роман», говорит о нем одно: что он «не закончен». Понятна была бы досада вседержителя и творца на отсутствие в романе главного чуда — воскресения.

Однако вернее считать, что роман Мастера сочтен незаконченным, пока в нем не прозвучали слова *прощения,*— прощения человеку, неподвижно сидящему две тысячи лет в каменном кресле. Начатый с мечты о мщении, возмездии, роман Мастера, да и самого Булгакова, венчался словами прощения.

Булгаков имел слишком много оснований сомневаться в том, что все люди добры, как проповедовал его герой Иешуа Га-Ноцри. Марк Крысобой был воплощением грубого зла. Трудно искупимое зло принесли Мастеру Алоизий Могарыч и критик Латунский. И Маргарита в романе оказалась плохой христианкой, так как мстила за зло, хоть и очень импульсивно, по-женски, побив стекла щеткой и разгромив квартиру критика. Ей не чужда та мудрость, что если прощать всякое зло, то нечем будет платить за добро.

И все же милосердие для Булгакова выше отмщения. Маргарита громит квартиру Латунского, но отвергает предложение Воланда его уничтожить. И точно так же Левий Матвей, с его фанатизмом верного ученика, готов убить Пилата, а Иешуа прощает его. Первая ступень истины — справедливость, высшая — милосердие.

У Булгакова мы не найдем традиционного религиозного сознания[1]. Но *нравственное сознание* его было глубоким и прочным. В русской литературе XIX века с именем Достоевского была связана категорическая максима: если бога нет, то «все позволено». Это умозаключение, испытанное гениальным писателем на судьбах Раскольникова и Ивана Карамазова, подтверждалось практикой революционного нигилизма, всегда питавшегося атеизмом. В своем яром натиске богоборчество само становилось подобием веры, открывая дорогу бесчестию (Булгаков проверил это на судьбах Русакова, Пончика-Непобеды).

Однако еще в XIX столетии русская литература искала и некий «третий тип сознания», глубоко нравственного, далекого от воинственного атеизма, но не имевшего примет традиционной веры. Чехов, например, воспринимал свое «неверие» как недостаток, а искание веры ставил в заслугу ищущим душам[2], но своею личностью и творчеством явил наглядный пример нравственности, имеющей опору в самосознании человека, а не вне его — не в ожидании божьей кары или воздаяния.

Булгакову был близок этот тип миросозерцания: ведь, помимо всего, он врач, естественник, как и Чехов. Сын профессора богословия с уважением относился и к церковной истории, и к некоторым сторонам обрядовости, правда, скорее как к привычной дани верованию отцов, чем потребности души. «Вольнодумство», свободный ум соединялись в нем с твердой верой в справедливость и добро — гуманистический эквивалент христианства.

Не надо смотреть на великий роман как на катехизис. Скорее это зеркало взыскующей души художника. Безусловная вера безотчетна, она вопросов себе не ставит. А то, что изображено в таком романе, как «Мастер и Маргарита», это

---

[1] «Верил ли он? Верил, но, конечно, не по-церковному, а по-своему,— говорила Е. С. Булгакова.— Во всяком случае, в последнее время, когда болел, верил — за это я могу поручиться» (запись моего разговора с Е. С. Булгаковой 25 марта 1967 г.). Ср. дневниковую заметку Н. А. Булгаковой-Земской: «1910 г. Миша не говел в этом году. Окончательно, по-видимому, решил для себя вопрос о религии — *неверие*» (сб.: Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 68—69).

[2] «Между «есть бог» и «нет бога»,— писал Чехов в дневнике 1897 г.,— лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 17. М., 1980, с. 224).

вопросы художника к себе и к жизни, попытка понять нечто новое для себя, разобраться в целях и смысле бытия. На страницах книги отразилось все: его жажда идеала, его отчаяние при виде торжествующей пошлости или мелкого повседневного зла, с которым пусть уж расправится компания Воланда, а со злом покрупнее — очистительный Огонь. И рядом с этим — неизменная для автора притягательность веры в добро и карающую совесть.

Выбирая посмертную судьбу Мастеру, Булгаков выбирал судьбу себе. За недоступностью для Мастера райского «света» («не заслужил»), решение его загробных дел поручено Воланду. Но сатана распоряжается адом, а там, как известно, покоя не жди. Да и заслуживает ли ада тот, кто успел пройти некоторые его круги здесь, на земле?

Так возникает понятие *покоя* — прибежища для усталой, безмерно измученной души. То пушкинское желание «покоя и воли», которые, не обнаружив *здесь*, герой ищет *там*, за чертою жизни[1].

Но покоя достоин лишь тот, кто не мучим муками совести, кого не отягощает память стыда. Бездарный поэт Рюхин, глуша водку рюмка за рюмкой, с отчаянием сознает, «что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть». Бессмертие, которого боялся Пилат, это дурная память о нем в поколениях людей и мука незабвения.

Боясь впасть в плоский морализм, Булгаков ни разу, кажется, не произносит слова «совесть». Но не та же ли совесть «исколотая иглами память»?

Наказание Понтия Пилата, плененного на две тысячи лет своей виной, не укладывается в ортодоксальное понятие божьей кары, как и покой, награждающий Мастера. Покой рисуется продолжением той же земной, телесной жизни, но не отягощенной обидами, борьбой и усталостью. Жизнь с подругой в доме с венецианскими окнами, завитыми виноградом (что-то похожее на готический особняк Маргариты), песчаные дорожки в вишневом саду, работа с пером в руках, тени давно живших людей, вызванные его фантазией,— это ли не образ счастья для Булгакова, чаемый им рай? Но покой — это и чистая совесть художника в глазах будущего, бессмертие для поколения читателей его волшебного вымысла.

Бессмертие искусства — одна из коренных идей романа Булгакова. «Ведь ваша подруга называет вас мастером,—

[1] «Пора! Пора!» — называется одна из последних глав романа, выдавая литературный прообраз мечты о покое — пушкинское стихотворение: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»

говорится в книге,— ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы?» Человека и художника, не дожившего своего срока, обреченного уйти так рано, это мучило еще и потому, что в той жизни, какая выпала на его долю, слишком мало оказалось признания, отзыва, просто справедливости к его таланту. И ему надо было хотя бы вообразить свою продлившуюся в потомстве литературную жизнь как аналог бессмертия. Отсюда знаменитый возглас: «Рукописи не горят». Слова Воланда — не прозаическая констатация факта. С рукописями часто происходят дурные вещи. Но заклятие — да не сгорит ни в каком огне рукопись его прощального романа! — должно было сбыться.

О бессмертии как о долговечной сохранности души, «убегающей тленья», в творении искусства, как о перенесении себя в чью-то душу с возможностью стать ее частицей, думал Булгаков, сочиняя свою великую книгу.

Его волновала и судьба наследования идей — преданным Левием Матвеем или прозревшим Иваном Бездомным. Научный сотрудник института истории и философии Иван Николаевич Понырев как ученик, увы, не более даровит, чем не расстающийся с козьим пергаментом Левий Матвей. Ну и что ж? Не всякому суждено быть творцом, и само творение не имело бы смысла, если бы не находились *ученики*, то есть люди, готовые, в меру своего понимания, нести слово истины дальше в мир. Благо уже и то, что Иван расстался с соблазном стихотворства и ложной мудростью резвого безбожника. Прежний фанатик атеизма и стихоплет, он освободил свой ум и стал расположен к непредвзятым впечатлениям. Терпимость — не последнее из свойств нравственного сознания: уважение к чужой вере, иному взгляду, другой душе.

Иван Бездомный обретает нравственное сознание как наследный дар русской интеллигенции, к какой принадлежали Чехов и Булгаков. Вместе со своей клетчатой кепкой и ковбойкой он оставляет на берегу Москва-реки былую самоуверенность. Теперь он полон вопросов к себе и миру, готов удивляться и узнавать.

«Вы о нем... продолжение напишите»,— говорит, прощаясь с Иваном, Мастер. Не надо ждать от Ивана Понырева духовного подвига, продолжения великого творения. Он сохраняет доброе здравомыслие — и только. И лишь одно видение, посещающее его в полнолуние, беспокоит его временами: казнь на Лысой горе и безнадежные уговоры Пилата, чтобы Иешуа подтвердил, что казни не было... Бесконечно длящаяся мука совести. Ее никогда не будет знать Мастер, проживший жизнь скорбную, но достойную человека.

Одной из последних работ Булгакова для сцены была пьеса «Дон-Кихот» (1938). В ней он вернулся к давно волновавшей его теме. Рыцарем в латах представал когда-то его воображению Най-Турс в «Белой гвардии». «Рыцарем Серафимы» увидел автор Голубкова — так первоначально названа пьеса «Бег». И у Мастера в его последнем полете звенят шпоры на ботфортах.

В пьесе по мотивам Сервантеса Дон-Кихот шел «по крутой дороге рыцарства», презирая «земные блага, но не честь». Булгаков дорожил у великого испанца тем, что было близко ему: одиноким самостоянием человека чести. Бакалавр Карраско, персонаж всецело земной, огорченный сумасбродством Дон-Кихота, вылечивает его в пьесе от высокого безумия. Но, лишенный доблести сражаться за справедливость, Дон-Кихот обречен погибнуть.

После «Дон-Кихота» в судьбе Булгакова был только «Батум» — пьеса о молодом Сталине...

Булгаков умер от нефросклероза 10 марта 1940 года в своей московской квартире на улице Фурманова. Жития ему было, как говорилось в старых книгах, неполных 49 лет. Под ключом в старинном шкафу остались лежать: два неизданных романа, повесть, биография Мольера, три шедших недолго и к тому времени забытых и девять никогда не видевших сцены пьес.

*В. Лакшин*

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА ■ МОРФИЙ

## ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интерес-

ных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис»,— отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П...по вашим дорогам,— заговорил я деревянными, синенькими губами,— нужно п...привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор,— отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками,— пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать...— в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками,— я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо...— начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями.— Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я,— отрекомендовался человек,— сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил,— хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило

все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

— Гм,— очень многозначительно промычал я,— однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с,— сладко заметил Демьян Лукич,— это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало,— утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу-ты, черт,— подумал я,— как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал,— с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд»,— подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват,— думал я упорно и мучительно,— у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедимитрия»,— вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали создан-

ных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут,— бухнул суровый голос в мозгу,— потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи,— сказал я голосу,— не обязательна грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов»,— ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилици 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу — инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу,— остервенело защищался я,— в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная,— демонским голосом пел страх.— Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гля-

ди — тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал»,— тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур.— Ах ты, господи... Ах...— Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его.— За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пущай. Пущай! — кричал он в потолок.— Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?..— переспросил я.— Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор...— шепотом пояснила Аксинья,— мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя,— ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

* * *

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел,— думал я,— а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец,— тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да,— тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких

секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек,— подумал я,— тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее,— подумал я,— умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет,— как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще,— хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?..— отчаянно подумал я.— Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной,— что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию,— сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки,— но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай,— вдохновенно думал я,— потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива...— как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет,— одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте,— сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет...— удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна.— Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной,— вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»

Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

* * *

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве...— И я стал писать адрес.— Там устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй,— вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму,— сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

## КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» — из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснул-

ся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

— Кто там?

— Это я,— ответил мне почтительный шепот,— я, Аксинья, сиделка.

— В чем дело?

— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

— А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно скнуло сердце.

— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

«Вот оно. Началось! — мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли.— А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

— Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз... Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться...»

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

— Вы, что ль, привезли роженицу? — для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

— Мы... как же, мы, батюшка,— жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

— Поперечное положение,— быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

— Та-ак,— протянул я, нахмурясь,— что ж, посмотрим...

— Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

— Тихонько, тихонько... потерпи,— говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

— Так,— вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего,— поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

— Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

— Поперечное положение... раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

— Поворот на ножку,— не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями... Я же человек необидчивый...

— Да,— многозначительно подтвердил я,— поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот непрямой...

Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

«Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

— Что ж... будем делать,— сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

— Демьян Лукич,— обратилась она к фельдшеру,— приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом — как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

— Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

— Хорошо, доктор, успеется,— ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он — Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.

«...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...»

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.

«...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го...

«...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево? Дальше:

«...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...»

Примем к сведению.

«...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...»

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время натыкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

«...ввиду огромной опасности разрыва... внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...»

И в виде заключительного аккорда:

«...С каждым часом промедления возрастает опасность...»

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

«...С каждым часом промедления...»

Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

— Терпи, терпи,— ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине,— доктор сейчас тебе поможет...

— О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

— Небось... небось...— бормотала акушерка,— вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник — опытный хирург — делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.

— Давайте,— приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из

темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как будто вдохновенными...

— Га-а! А!! — вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

— Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

— Га-а... пусти!.. а!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

— Пелагея Ивановна, пульс?

— Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

— Спит.

.................................................................................................

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

— Жив... жив...— бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

— Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

— Посмотрим еще, что будет дальше,— говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

— Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе — сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

— Ну, мало ли что,— говорю я,— не исключена возможность заражения,— повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

— Ах, э-это! — спокойно тянет Анна Николаевна.— Ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

* * *

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне,— думал я, засыпая,— но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

## СТАЛЬНОЕ ГОРЛО

Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе — он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул; отлично помню эту ночь — 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

— Слабая девочка, помирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками — они-то были

опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

— Пятый день, пятый,— сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

— Дифтерийный круп,— сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: — Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

— Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было»,— подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

— Ты, бабка, замолчи, мешаешь.— Матери же повторил: — О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

— Дай ей капель,— сказала она и стукнулась лбом в пол,— удавлюсь я, если она помрет.

— Встань сию же минуточку,— ответил я,— а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

— Так они все делают. На-род,— усы у него при этом скривились набок.

— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

— Помрет,— негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

— Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

— Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

— Тебе лучше знать, батюшка,— заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

— Замолчи! — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

— Вот что,— сказал я, удивляясь собственному спокойствию,— дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.

— Как это? — спросила мать.

— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее,— объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей.— Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

— Может, это ей поможет? — спросила мать.

— Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

— Перестань,— промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь после пяти минут, сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна! — резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите,— глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Гу́бите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей, соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

— Нет! Нет!

— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

— Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно»,— подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.

— Готово! — вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городу. Придет, узнает, что я наделала,— убьет меня!»

— Убьет,— повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

— В операционную их не пускать! — приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и

беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли; она предстала предо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец,— подумал я,— зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать»,— так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он вдруг стал выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял

глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба,—подумал я,—теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку,—и мысленно строго добавил: —Только дойду домой —и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

— Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать; как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:

— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыс-

нуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся — узнал.

— А, Лидка! Ну, что?

— Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

— Все в порядке,— сказал я,— можете больше не приезжать.

— Благодарю вас, доктор, спасибо,— сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

— Так и живет со стальным? — осведомился я.

— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

— М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь,— сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.

## ВЬЮГА

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же — врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика — жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут — восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции,

обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль — как его спасти? И этого — спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? — говорил я сам себе ночью.— Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра — в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил — стук.

— Доктор,— узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны,— вы проснулись?

— Угу,— ответил я диким голосом спросонья.

— Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехало.

— Вы — что? Шутите?

— Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга,— повторила она радостно в замочную скважину.— А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

— Да ну...— Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная — три комнаты вверху, а кухня и три внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье — исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире — приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в N-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице — и те испорченные).

Около двух часов вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

— Эт-то я понимаю...— сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду,— эт-то я понимаю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

— Конторщик в Шалометьевом имении женится,— отвечала Аксинья.

— Да ну! Согласилась?

— Ей-богу! Влюбле-ен...— пела Аксинья, погромыхивая посудой.

— Невеста-то красивая?

— Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

— Скажи пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

— Доктор-то купается...— выпевала Аксинья.

— Бур... бур...— бурчал бас.

— Записка вам, доктор,— пискнула Аксинья в скважину.

— Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

— Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек,— не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Мне в жизни не везет»,— тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

— Мужчина записку привез?

— Мужчина.

— Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

— Почему вы в каске? — спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

— Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда...— ответил римлянин.

— Это какой доктор пишет?

— В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

— Какая женщина?

— Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

— Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

— Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатать ее захотел в саночках. Рысачка запрег, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

— Купаюсь я,— жалобно сказал я,— ее сюда-то чего же не привезли? — И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

— Немыслимо, уважаемый гражданин доктор,— прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил,— никакой возможности. Помрет девушка.

— Как же мы поедем-то? Вьюга!

— Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

— Пожарные лошади? — спросил я сквозь бараний воротник.

— Угу... гу... — пробурчал возница, не оборачиваясь.

— А доктор что ей делал?

— Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу... гу...

— Гу... гу... — загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили

меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел — пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

— Лошадей мне сейчас же обратно дайте,— сказал я.

— Слушаю,— ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

— Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца.— Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: — Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

— Перестаньте,— сказал я ему и стиснул руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замученны и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

— Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.

— Пульс...— шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом

наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

— Умерла,— я на ухо сказал врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

— Тише, тише,— сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

— Он меня замучил,— очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

— Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатили рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог лучше, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал.

— Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться,— говорил мне врач шепотом в передней.— Останьтесь, переночуйте...

— Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

— Да они-то доставят, только смотрите...

— У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

— Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз

пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

— Дорогу-то вы знаете? — спросил я, кутая рот.

— Дорогу-то знаем,— очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было),— а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

— Надо остаться,— прибавил и второй, державший разъяренный факел,— в поле нехорошо-с.

— Двенадцать верст...— угрюмо забурчал я,— доедем. У меня тяжелые больные...— И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

— Однако это здорово...— не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль — а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа. Да, да, да... Ага-га... именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а

больных-то тысячи... Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

— Приехали? — спросил я, мутно таращa глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без всякой почтительности:

— Приехали... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей...

— Неужели дорогу потеряли? — У меня похолодела спина.

— Какая тут дорога,— отозвался возница расстроенным голосом,— нам теперь весь белый свет — дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет — и мгновенно огонь слизнет.

— Говорю, часа четыре,— похоронно молвил пожарный.— Что теперь делать?

— Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него ответить. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

— Сами стали?

— Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне,— думал я,— его небось не возили к умирающим...»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

— Это — малодушие...— пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

— Вот что, дядя,— заговорил я, чувствуя, что у меня

стынут зубы,— унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем, к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

— Но-о,— застонал возница.

— Но! Но! — закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался впереди.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

— Мелко, дорога! — закричал я.

— Го... го...— отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос.

— Кажись, дорога,— радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный.— Лишь бы опять не сбиться... Авось...

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожар-

ный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома и вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном.

Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю,— выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

— Ого... го... вон он... вон... господи, выноси, выноси...

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь,— мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — промыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

---

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я — наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе — внизу.

— Озолотите меня,— заговорил возница,— чтоб я в другой раз...— Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: — Во величиной...

— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у меня.

— Померла,— ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

— Озолотите меня,— задремывая, пробурчал я,— но больше я не по...

— Поедешь... ан поедешь...— насмешливо засвистала вьюга. Она с громом проехалась по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

— Поедете... по-е-де-те...— стучали часы, но глуше, глуше...

И ничего. Тишина. Сон.

## ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

— Тьма египетская,— заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.

— Прошу еще по рюмке,— пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

— За ваше здоровье, доктор! — прочувственно сказал Демьян Лукич.

— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю,— заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой,— что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича: «Tinct. Belladonn...» и т. д. «16 декабря 1917 года».

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все,— пела бабочка сдобным голосом,— дай вам бог здоровья за эти капли... полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе по скольку капель говорил? — задушенным голосом заговорил я.— Я тебе по пять капель... Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...

— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!..— заговорил я и завопил: — Демьян Лукич!!!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо...— начала баба.

— Бабочка, ты нам очков не втирай,— сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич,— мы всё досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось...— бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне:— Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех баб угостит.

— Что вы, гражданин фершал...

— Брось!— отрезал фельдшер.— Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам,— продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте,— умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка,— ответил я и вытер пот со лба,— этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что,— говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле,— это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Иванна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся,— подтвердил фельдшер.— Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдовича Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает как-то к нему приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь. Ну не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Ларингит,— машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

— Совершенно верно. «Ну,— говорит Липонтий,— я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» — спрашивает Липонтий.

А Косой ему:

«Да что ж, говорит, Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий.— Не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен!..

Я расхохотался, а Пелагея Иванна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот,— сказал я,— не может быть!

— Анек-дот?! Анекдот?! — вперебой воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер.— У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна.— Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!

Пелагея Иванна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

— Это Дульцево — знаменитое место,— не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую,— продолжала коллега Пелагея Иванна,— чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается — сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Поз-вольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Иванна.— Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам,— сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали.

О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.

«Ну, нет,— раздумывал я,— я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь, в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...

— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухарка — и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

— Ходит,— зевая, ответила Аксинья.

— Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за

письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор,— приятным, мягким басом отозвалась фигура,— метель — чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!

«Вежливый человек»,— с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила,— ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит.

«Готов диагноз»,— победно звякнуло у меня в голове.

— А в остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... Расстегнитесь! Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой,— к медицине.

— Вот что, голубчик,— говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди,— у вас малярия. Перемежа-

ющаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник.— Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. 0,5
D. T. dos. № 10
S. Мельнику Худову
по 1 порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку:

«Дорогой доктор! Все исполнила. *Пел. Лбова*».

И заснул.

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксинья?! — забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала, Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое?

— Мельник, говорит, во второй палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она хрипловатым голосом.— Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну, как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох...— слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.

— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).

— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! — в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

— Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял — и делу конец.

— Это чудовищно! — воскликнул я.

— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер.

«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед...

Сон — хорошая штука!..

## ПРОПАВШИЙ ГЛАЗ

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то, где-то... где — забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он — отшельник — встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка,— акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади — Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

— Какого ты черта пропиваешь все деньги? — бормотал я на лету Егорычу.— Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

— Какие ж это деньги,— злобно огрызался Егорыч,— за двадцать целковых в месяц муку мученскую принимать... Ах ты, проклятая! — Он бил ногой в землю, как яростный рысак.— Деньги... тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...

— Пить-то тебе — самое главное,— сипел я, задыхаясь,— оттого и шляешься оборванцем...

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую, бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

— Не дошла, не дошла,— торопливо говорила Пелагея Ивановна и, сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

— Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять...

— Дурак твой свекор и свинья,— отозвался я.

— Ах, до чего темный народ,— жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но — и тут уже зеркало не было виновато — на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор,— подумал я,— десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

— Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так

как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде — на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да... бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Муравьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на муравьевском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все, к черту, исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?.. А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом,— помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос,— ништо тебе...» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парою коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу... что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...

Мы и не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенско-

го учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне *отстоять* ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и, когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, но теперь я вижу, что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, кончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник — ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьинской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому.

Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою — в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцевокислого калия и велел:

— Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она бы текла сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренглот.

«Отделал я солдата на славу»,— отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.

— Часа три не ешь ничего,— дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

— Покорнейше вас благодарю,— отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

— Ты, дружок,— жалким голосом сказал я,— ты вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... У тебя рядом еще зуб подозрительный... Хорошо?

— Благодарим покорнейше,— ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него — 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды.

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал...»

«Вон оно што...»

Дальше — больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?..»

«Да... я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я — причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я

сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковырял скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать... Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидел и не сделал за этот неповторяемый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл. А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты — сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

— Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:

— Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

— Пятнадцать, — ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон...

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но

когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь, правда, дрожа, наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

— Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только шесть.

Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Нечего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все ближе...

— Я,— пробурчал я, засыпая,— я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм... пусть... им хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских кабинетах... я же здесь... всё... и крестьяне не могут жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в двери, как корчился мысленно от страха... А теперь...

— Когда же это случилось?

— С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...

И баба захныкала.

Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня

моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня стоял в халате и растерянно вглядывался.

Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое. Мозговая грыжа... Гм... он живет... Саркома... Гм... мягковата... Какая-то невиданная, жуткая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего глаза... А может быть, его никогда и не было... Во всяком случае, сейчас нет...»

— Вот что,— вдохновенно сказал я,— нужно будет вырезать эту штуку...

И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу их в стороны и...

«И что... Дальше-то что? Может, это действительно из мозга... Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»

— Что резать? — спросила баба, бледнея.— На глазу резать? Нету моего согласия...

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

— Никакого глаза у него нету,— категорически ответил я,— ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль...

— Капелек дайте,— говорила баба в ужасе.

— Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!

— Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?

— Нету у него глаза, говорю тебе...

— А третьего дни был! — отчаянно воскликнула баба.

«Черт!..»

— Не знаю, может, и был... черт... только теперь нету... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию. Демьян Лукич. А?

— М-да,— глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать,— штука невиданная.

— Резать в городе? — спросила баба в ужасе.— Не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями... Черт.

А через два дня младенец был мною забыт.

Прошла неделя.

— Анна Жухова! — крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

— В чем дело? — спросил я привычно.

— Бока закладает, не продохнуть,— сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

— Узнали? — спросила баба насмешливо.

— Постой... постой... да это что... Постой... это тот самый ребенок?

— Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы...

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине.

«Это что-то колдовское...» — расслабленно подумал я.

Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидал... малюсенький шрамик на слизистой... А-а...

— Мы как выехали от вас тады... Он и лопнул...

— Не надо, баба, не рассказывай,— сконфуженно сказал я,— я уже понял.

— А вы говорите, глаза нету... Ишь, вырос.— И баба издевательски хихикнула.

«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно... а потом как лопнул, гной вытек... и все пришло на место...»

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно учиться.

## ЗВЕЗДНАЯ СЫПЬ

Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

— Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды»,— подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он — сифилис»,— вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я — врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки»,—отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?

Решил положить на окно, на комок ваты.

— Вот что,—сказал я,—видите ли... Гм... По-видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь—сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...

Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.

— Сифилис у вас,—повторил я мягко.

— Это что же?—спросил человек с мраморной сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

— Застегивайтесь,—заговорил я,—у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я запнулся, потому что—клянусь!..—прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с иронией.

— Глотка вот захрипла,—молвил пациент.

— Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

— Мне бы вот глотку полечить,— вымолвил он.

«Что это он все свое? — уже с некоторым нетерпением подумал я.— Я про сифилис, а он про глотку!»

— Слушайте, дядя,— продолжал я вслух,— глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться — два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

— Что ж так долго? — спросил пациент.— Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...

— Вы женаты? — спросил я.

— Жанат,— изумленно отозвался пациент.

— Жену немедленно пришлите ко мне! — взволнованно и страстно говорил я.— Ведь она тоже, наверное, больна?

— Жану?! — спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить?

Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не

расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь — великое средство.

— Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...

— ...Сегодня — в руку, завтра — в ногу, потом опять в руку — другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...

— И глотку? — спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился.

— Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот:

— Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь — вот те и ночь. О господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

— Без внимания, без внимания,— подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

...Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного

слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться, и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет в книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощеной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

— Как же, как же, давал...—скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему иодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...

Привет вам, мой товарищ!

«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездиите к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.

Супруг Ваш. *Ан. Буков*».

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

— Подлец он! А?!—выкрикнула она.

— Подлец,—твердо ответил я.

Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов нетерпеливо ждущих в приемной мы долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова.

Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль — сифилис.

— Подлец, подлец,— всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.

— Подлец,— вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами.

— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей,— говорила она сухим измученным голосом.

— Погодите, погодите,— бормотал я,— видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

— Ах, прохвост, ах, прохвост,— сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были как две черных ямки, она всматривалась в окно — в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

— Знаете что,— сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва,— знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

— Нет? — сипло спросила женщина.— Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы.— А вдруг сделается? А?..

— Я сам не пойму,— вполголоса сказал я Пелагее Ивановне,— судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

— Ничего нет,— как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это — человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли наконец и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.

— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.

— Ничего.

Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей на нем росой.

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх. Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот — со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей

освещенную керосиновыми лампами работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинны. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Предо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngit»... еще и еще... Но вот он! «Lues III». Ага... И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

«Rp. Ung. hydrarg. ciner. 3,0 D.t.d...»

Вот она — «черная» мазь.

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются... вновь «Lues»...

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе. Реже попадался третичный. И тогда иодистый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью амбулаторные забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса — бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

— Это значит...— говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа,— это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный, и бурный при этом,— сифилис. Когда глотка болит и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага!..

Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.

— Я найду этого Семена Хотова. Гм...

Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

— Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим: деньков через 10—12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2 года! А у него «Lues II»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.

Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это — мать Ивана. На руках-то у нее он и плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Марья Карпова, 8 лет».

А это кто? Сестра! Каломель...

Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека — Карпова, лет 35—40... И неизвестно, как его зовут — Сидор, Петр. О, это не важно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»

Вот он — документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей — Марья, за Марьей — Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues II». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

— Я буду с «ним» бороться.

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и не замеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу.

Я узнал многое.

— Перетирку велели мне тогда делать.

— Черной мазью?

— Черной мазью, батюшка, черной...

— Накрест? Сегодня — руку, завтра — ногу?

— Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она — гумма!..»

— Дурной болью болел?

— Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.

— Угу... Глотка болела?

— Глотка-то. Болела глотка. В прошлом годе.

— Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?

— Как же! Черная, как сапог.

— Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал иодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

— Сыпь кинулась на ребят,— сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

— Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

— Простуда, что ли?—сказала мать, глядя безмятежными глазами.

— Э-х-эх, простуда,— ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот.— Весь Коробовский уезд у них так простужен.

— А с чего ж это? — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

— Одевайся,— сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом заговорил:

— У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться, и лечиться долго.

Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

— Скудова же это?

Потом криво усмехнулась.

— Скудова — не интересно,— отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день,— другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

— А что? Ничаво не будет,— ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

— Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

— Что вы, доктор,— отозвался он (великий скептик был),— да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету... А готовить?.. А посуда, шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:

— Добьюсь.

Прошел месяц...

В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький одно-граммовый и пятиграммовый — люэр. Словом, это была

жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания сальварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее — во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку.

— Нет, нельзя еще, — ответил я, — еще один курс придется претерпеть.

— Нет моего согласия, — ответила она, — делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:

— Ты... ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь... ты дура!..

— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться?

— Разве тебя дурой следует ругать? Не дурой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Чтó брань по сравнению с звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

# МОРФИЙ

## I

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел, в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! с цейссовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон — низенький корпус, вон — крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и

толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом — главный врач-хирург. Воспаление легких? В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном, ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон, после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого вьюжного участка.

## II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май — и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое

крыло — придется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни...»

Так думал я.

«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать...»

— Вот письмо. С оказией привезли.

— Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.

— Вы сегодня дежурите в приемном покое? — спросил я, зевая.

— Я.

— Никого нет?

— Нет, пусто.

— Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо) кого-нибудь привежут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...

— Хорошо. Можно иттить?

— Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...

Я усмехнулся.

«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

— Ничего не понимаю... Путаный рецепт...— пробормотал я и уставился на слово «morphini...». «Что бишь тут необычайного в этом рецепте?.. Ах да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«*11 февраля 1918 года.*

Милый collega!

Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».

— Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

— Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

— Кто привез письмо?

— А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

— Гм... ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

— Хорошо.

Моя записка главному врачу:

«*13 февраля 1918 года.*

Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на

Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий Вас

*д-р Бомгард*».

Ответная записка главного врача:

«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.

*Петров*».

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью,— думал я, лежа в постели.— Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: «я заболел воспалением легких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... «Тяжко... и нехорошо заболел...» Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он боится... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну, нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать.

В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет... «Тяжко...» Саркома? Письмо нелепое, истерическое.

Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном?! Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. «Надежда блеснет...» — в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот, пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно... Может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче... Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп...

Хм, да... ну, это сон...

## III

Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!

В дверь тихо постучали.

— В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

— Кого привезли?

— Доктора с Гореловского участка,— хрипло и громко ответила сиделка,— застрелился доктор.

— По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

— Фамилии-то я не знаю.

— Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась — и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

— Ваш? Поляков? — спросил, покашливая, хирург.

— Ничего не пойму. Очевидно, он,— ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу — поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

— Поляков? — спросил я.

— Да,— ответила Марья Власьевна,— такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти...

— Когда?

— Сегодня утром на рассвете,— бормотала Марья Власьевна,— прибежал сторож, говорит... «у доктора выстрел в квартире...».

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли — и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая

кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

— Бросьте камфару. К черту.

— Молчите,—ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

— Сердечная сумка, надо полагать, задета,—шепнула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

— Револьвер?—дернув щекой, спросил хирург.

— Браунинг,—пролепетала Марья Власьевна.

— Э-эх,—вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

— Доктора Бомгарда,—еле слышно сказал Поляков.

— Я здесь,—шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

— Тетрадь вам...—хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

«Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте. Ваш *С. Поляков*».

Приписка крупными буквами:

«В смерти моей прошу никого не винить.

Лекарь *Сергей Поляков.*

*13 февраля 1918 года*».

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

## IV

*«...7 год*, 20-го января.*

...и очень рад. И слава богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

* Несомненно, 1917 год.— *Д-р Бомгард.*

*21 января.*

Вьюга. Ничего.

*25 января.*

Какой ясный закат. Мигренин — соединение antipirin'a, coffein'a u ac. citric.

В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.

*3 февраля.*

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне...»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...

(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)

...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически-глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить — ушла. И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить? Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно!

Не хочу думать. Не хочу...

*11 февраля.*

Все вьюги да вьюги... Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна — фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

*15 февраля.*

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина — сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишеч-

ника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли:



Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо,— без мыслей о моей, обманувшей меня.

*16 февраля.*

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым.

— Разве я хмурый?

— Очень,— убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

— Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли,

где-то за грудною костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

*18-го.*

Четыре укола не страшны.

*25-го февраля.*

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач. $1^1/_2$ шприца=0,015 morph.? Да.

*1-го марта.*

* * *

Доктор Поляков, будьте осторожны!
Вздор.

---

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я — мужчина.

---

Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

---

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются...

---

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда, к черту, годится человек, если малейшая невралгийка может выбить его совершенно из седла!

---

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли.

*2 марта.*

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

* * *

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять.

И сплю сладко.

*10 марта.*

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот,— я вижу жутко освещенную рампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна... (в нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, а в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой — замечательный писатель!

Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски «Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, восемь часов,— это Анна К. идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера:

Анна.— Сергей Васильевич...

Я.— Я слышу... (тихо музыке — «сильнее»).

Музыка — великий аккорд.

Ре-диез...

Анна. — Записано двадцать человек.

Амнерис (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.

Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

*19 марта.*

Ночью у меня была ссора с Анной К.

— Я не буду больше приготовлять раствор.

Я стал ее уговаривать:

— Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?

— Не буду. Вы погибнете.

— Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

— Лечитесь.

— Где?

— Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку.

— Да что я, морфинист, что ли?

— Да, вы становитесь морфинистом.

— Так вы не пойдете?

— Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, — оказалось $^1/_4$ шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, — ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, — ее нет.

Ушла.

Представьте себе, — не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

— Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

— Не дам.

— Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач.

Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость.

Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она:

— Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я — жалеючи вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо):

— Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.

И слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

— Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

— Давайте сделаю...

...Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

— Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей,

что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

— Сколько вы сейчас впрыснули?

— Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.

Она сжала голову и замолчала.

— Да не волнуйтесь вы!

...В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, morphium hidrochloricum грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственный верный настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию...

*8 апреля 1917 года.*

Это мучение.

*9 апреля.*

Весна ужасна.

---

Черт в склянке. Кокаин — черт в склянке!

Действие его таково:

При впрыскивании одного шприца 2%-ного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать — не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летя-

щие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни...

*13 апреля.*

Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я — полутруп...

*6-го мая 1917 года.*

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки: в 5 часов дня (после обеда) и в 12 час. ночи перед сном.

Раствор трехпроцентный: два шприца. Следовательно, я получаю за один раз — 0,06.

Порядочно!

---

Прежние мои записки несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все

кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас сколько угодно), и говорит:

— 40 грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею...

Он говорит:

— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.

И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

*18 мая.*

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания...»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или

два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? этого нельзя определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды — райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги...

Смерть — сухая, медленная смерть...

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

---

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох.

Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой...

Три шприца 3%-ного раствора. Этого мне хватит до полуночи...

---

Вздор. Эта запись — вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Этою глупою борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)

*...фя*

...ять рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

*14 ноября 1917 г.*

Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека,

который думает только об одном — о чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханием...

(Здесь страница вырвана.)

...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору N. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он — психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

— Спасибо,— и добавил: — что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

— Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

— Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну кому вы говорите?..

— Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, когда происходят все эти события... меня совершенно издергала стрельба...

— Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все... холодные коридоры... пустые, масляной краской выкрашенные стены... и я ползу, как собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей ванны?.. Укольчика в 0,005 морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуган-

но бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.

— Я не тюремный надзиратель,— не без раздражения молвил он,— и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем...— он выразительно повторил мой жест испуга,— я вас не держу-с.

— Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас,— и даже голос мой жалостливо дрогнул.

— Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице, и т. д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:

— Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

— Доктор Поляков! — раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери.— Вот что,— заговорил он,— одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже... И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя, и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).

— Я,— сказал я глухо,— умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это сделать?

— Идите,— досадливо крикнул он,— идите. Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут...

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... Почему?..

---

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А? По совести?

Взломал бы.

---

Итак, доктор Поляков — вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

---

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм однопроцентного раствора — вещь для меня бесполезная и нудная (9 шприцов придется впрыскивать!). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 граммов в кристаллах — написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да, в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я — морфинист? Кому какое дело, в конце концов?

---

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

---

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять,— способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

---

Забыл.

*18-го ноября.*

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом.

Распад личности — распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания (теперь я делаю впрыскивания три раза в день по 3 шприца 4%-ного раствора). Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый % убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да... так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и ушел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больнице... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно — почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке?.. А потом: откуда старушонка? Какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом — никого. Туманцы, болотца, леса! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине — понял! Старушонка не бежит, а именно л е т и т, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию...

И я прибежал.

---

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.

*19-го ноября.*

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го.

Анна.— Фельдшер знает.

Я.— Неужели? Все равно. Пустяки.

Анна.— Если ты не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри.

Я.— Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

Анна.— Ты посмотри — они же прозрачны. Одна кость и кожа... Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа. Уезжай, заклинаю тебя, уезжай...

Я.— А ты?

Анна.— Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

Я.— Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

Анна (печально).— Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис — жена?

Я.— О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее. Вместо нее — морфий.

Анна.— Ах ты, боже... что мне делать?..

---

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

*27-го декабря.*

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок — женщина-врач.

Анна — здесь... Будет приезжать ко мне...

Хоть 30 верст.

---

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни — и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, Левково. Анна, до свиданья.

*1918 год*

*Январь.*

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

*15-го января.*

Рвота утром.

Три шприца 4%-ного раствора в сумерки.

Три шприца 4%-ного раствора ночью.

*16-го января.*

Операционный день, потому большое воздержание — с ночи до 6 часов вечера.

В сумерки — самое ужасное время — уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:

— Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все пропало сразу.

*17-го января.*

Вьюга — нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

---

Здесь нужно быть осторожным — здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран.

И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких

сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.

---

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

*18-го января.*

Была такая галлюцинация:

Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

---

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь!

---

Гладко ли я выражаю свои мысли?

По-моему, гладко.

Жизнь? Смешно!

*19-го января.*

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?..»

Но удержался, удерж...

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Ничем.

Ничем.

---

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты, слабый. Руки не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна, и на ней венец. Ничто не страшно после укола.

*1 февраля.*

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.

---

Исполню ли ее?

---

Да. Исполню.

Е. т. буду жив.

*3 февраля.*

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня...

*11 февраля.*

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Не важно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

---

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал — фальшь. Но никто не прочт.

---

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

*12-го ночью.*

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?

*1918 года. 13 февраля на рассвете в Гореловке.*

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?

По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую — нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Тетрадь Бомгарду. Все...»

## V

На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было

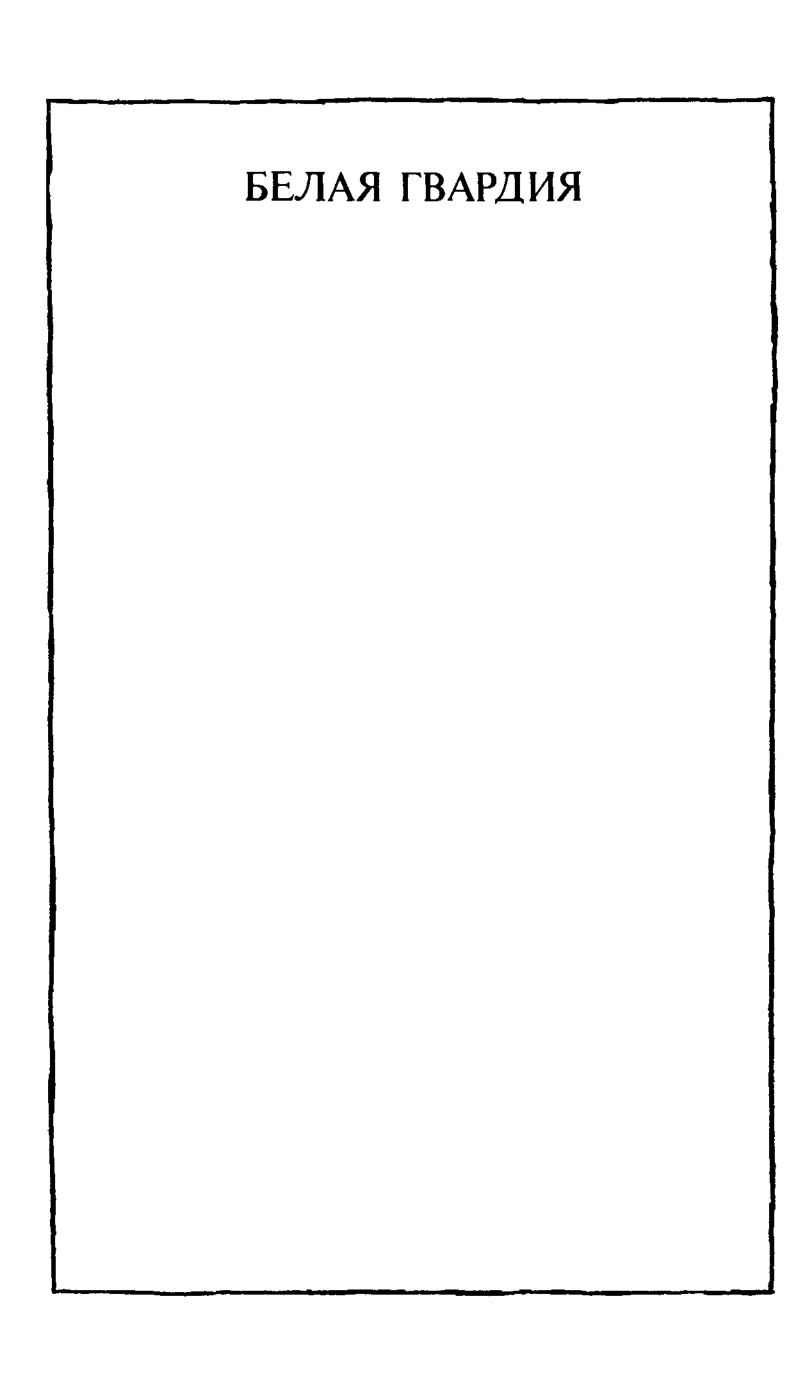
изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли они, нужны ли? По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, жалость и страх, вызванные записями, конечно, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 году от сыпного тифа и на том же участке, где работала. Амнерис — первая жена Полякова — за границей. И не вернется.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

*1927 г. Осень*



# БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

*Посвящается*
*Любови Евгеньевне*
*Белозерской*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буран!

*«Капитанская дочка»*

И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...

### 1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Алек-

сандр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...

*

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры,— все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

— Дружно... живите.

*

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему,— молодому врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу,— тридцать один, а Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

*

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

— Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму

забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

— Что сделаешь, что сделаешь,— конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) — Воля божья.

— Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

— Тяжкое, тяжкое время, что говорить,— пробормотал он,— но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

— Уныния допускать нельзя,— конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он.— Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания,— он говорил все увереннее.— Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше всего богословские...

Он приподнял книгу, так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

— «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

## 2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем

этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

— Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

— А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку,— не верь. Союзники — сволочи.

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:

Улан Леонид Юрьевич.

Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.

Подпись:

Бей Петлюру!

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинского — красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильна любит нас сильно.
Кому — на, а кому — не.

Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг).

Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной *Абрам Пружинер.*

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета,— столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые

шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

— А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас давно уж начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

— Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной — приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под

Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал унтерофицерскими плечами.

— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

— Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли — самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу — коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице

пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка наконец не выдерживает:

— Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и — тонк-танк — идет к четверти одиннадцатого.

— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы,— неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

— Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? — Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

— Ничего не известно,— говорит Николка и обкусывает ломтик.

— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

— Нет, не слухи,— упрямо отвечает Елена,— это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.

— Чепуха.

— Подумай сама,— начинает старший,— мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.

— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

— Гм... По-моему, этого не может быть.

— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

— Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...

— И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

— Почему же его нет?

— Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

— Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ — вот он. Пожалуйста:

Союзники — сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил заливистый, тонкий звон под потолком в передней.

— Слава богу, вот и Сергей,— радостно сказал старший.

— Это Тальберг,— подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

*

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад.

Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

— Здравствуйте,— пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.

— Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

— Откуда ты?

— Откуда?

— Осторожнее,— слабо ответил Мышлаевский,— не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

— Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

— Ну, конечно... Полно. Кишат.

— Вот что,— испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту.— Николка, там в кухне дрова. Беги

зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

— Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...
Наст... банд...

Влюбился... мая...

— Что ж это за подлецы! — закричал Турбин. — Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?

— Ва-аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, — вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

— Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал:

— Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он горько закачался в кресле.

— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к

носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский.— Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал — пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

— Постой,— ошалевая от брани, спрашивал Турбин,— ты скажи, кто там, под Трактиром?

— Ат! — Мышлаевский махнул рукой.— Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра — полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля — переходите в наступление, с нами бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом) — и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

— Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, думаю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, думаешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк. И под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули ма-

ленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют — перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази,— стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты — в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

— А! Наш, наш! — вскричал Николка.

— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин.

— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, утром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с Постом-Волынским,— дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то, к чертям.

— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские! у-у... вашу мать!

— Господи боже мой!

— Да-с,— хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу,— сменились мы, слава те, господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

— Как! Насмерть?

— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает:

«Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство), прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.

— Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой. Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! — Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... окоченел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

— Вот так здорово,—сказал растерянный Николка.

— Где Елена? — озабоченно спросил старший.— Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять

вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

— Кто ж такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра,—снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг,—вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки»,—они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский,—Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил:—Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга,— ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского, уже стоит поезд — еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый,— поймите, первый,— кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из

Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах,— авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская»,— выбирали «гетьмана всея Украины».

— Мы отгорожены от кровавой московской оперетки,— говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что

Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом,— салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и

порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой,— сказала она,— ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо,— женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжалься, о, сжалься ты над ней!
Ты охрани ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будут пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник»,— совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите,— глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал:— Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь... в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

— У... с-с-волочь!..— провыло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

— О, ja,— тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное

дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

### 3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя — Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:

— Господи! Что же это такое?! — ответил:

— Это Василисин сахар, черт бы его взял! — и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу — тонкую цинковую пластинку — отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой

полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые — какая, к черту, Василиса! — это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек — зеленый игральный крап:

Знак Державної скарбниці
50 карбованців
ходит нарівні з кредитовими білетами.

На крапе — селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування караеться тюрмою,

уверенная подпись:

Директор державної скарбниці Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідя-Юрчика и ласково — на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее — предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев I-х», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайнике № 2 — 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от

меловой метки на бревне стены. Всё в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник — чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик — на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

— Фальшування, фальшування,— злобно заворчал он, качая головой,— вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз. В четвертом десятке — две, в шестом — две, в девятом — подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных — перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

— Извозчику завтра вечером одну,— разговаривал сам с собой Василиса,— все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

— Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал,— мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

— Единственное средство — отказать от квартиры,— забарахтался в простынях Василиса,— это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!

— Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего — защита-то и есть. Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь.

Гитара... гитара... гитара...

*

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

— Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-стра-умие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-там! — Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

— Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.

— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном — Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах — стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по александровской гимназической кличке,— Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток — четыре бутылки белого вина, у Карася — две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги,— само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда, сообщил новость: на погонах у него золотые пушки,— терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город — тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется — студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом...

Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никогда,

в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи — о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел эпиталаму, то вместо fa взял la и держал его пять тактов. Сказав — пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.

— Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.

И вот знамена, дым...

— И где же сенегальцев роты? отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

— Будут! — звякнул Шервинский.— Будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.

— Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

— Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

— Два полка-а... что два полка...

— Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю — и нам на немцев наплевать.

— Предатели!

— Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

— Своими руками застрелю.

— Еще по глотку́. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз — и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в

передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер — вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут, к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?

— Я б вашего гетмана,— кричал старший Турбин,— за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!

— Панику сеешь,— сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

— Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику,— кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

— Правильно! — скрепил Карась, стукнув по столу.— К черту рядовым — устроим врачом.

— Завтра полезем все вместе,— бормотал пьяный Мышлаевский,— все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

— Сволочь он,— с ненавистью продолжал Турбин,— ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?

Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

— Мобилизация,— ядовито продолжал Турбин,— жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки — просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

— Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право,— заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор,— сказал Николка.

— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк,— ответил ему Турбин,— пей-ка лучше вино.

— Ты пойми,— заговорил Карась,— что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

— Неправда! — тоненько выкликнул Турбин.— Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с германом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас — Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? — берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х...— Турбин яростно закашлялся.

— Стой! — Шервинский встал.— Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей,— пусть!

— Пять процентов, а девяносто пять — русских!..

— Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? — Шервинский торжественно указал куда-то рукой.— На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

— Опоздали с флагами!

— Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

— Дай бог, искренне желаю,— и Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.

— План же был таков,— звучно и торжественно выговорил Шервинский,— когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

— Император убит,— прошептал он.

— Какого Николая Александровича? — спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса

глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

— Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

— Никакого понятия не имеем,— с интересом сообщил Карась.

— Ну-с, а мне известно.

— Тю! Ему все известно,— удивился Мышлаевский.— Ты ж не езди...

— Господа! Дайте же ему сказать.

— После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России — в Москву»,— и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

— Слушай... это легенда,— болезненно сморщившись, сказал Турбин.— Я уже слышал эту историю.

— Убиты все,— сказал Мышлаевский,— и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несколько преувеличено,— спьяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

— ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера... то

есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал Карась.

— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

— Если это так,— вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба,— я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! — Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

— Пусть! Пусть! Пусть даже убит,— надломленно и хрипло крикнула она.— Все равно. Я пью. Я пью.

— Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял стакан.

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! — трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

— Боже мой... бо... бо...— бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

— Что же это такое? Три часа ночи! — завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку.— Я жаловаться наконец буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

...си-ильный, де-ержавный,
царрр-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:

— Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваньях.

— На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! — покачиваясь, кричал Мышлаевский.

— Верно!

— Я... был на «Павле Первом»... неделю тому назад...— заплетаясь, бормотал Мышлаевский,— и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» — и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

— Жи-ды,— мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танк... Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.

— А-а...

Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.

— Ни-колка,— прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный.— Ни-колка! — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином».— Никол...

— А-а,— хрипел Мышлаевский, оседая к полу.

Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.

— Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.

— Ц...ц...ц... Эх, эх,—жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.

— Так. Клади его.

— Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить...

— Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня... на полке, склянка, написано «Liquor ammonii», а угол оборван, к чертям, видишь ли... нашатырным спиртом пахнет.

— Сейчас.... сейчас... Эх-эх.

— И ты, доктор, хорош...

— Ну, ладно, ладно.

— Что? Пульса нету?

— Нет, вздор, отойдет.

— Таз! Таз!

— Таз извольте.

— А-а-а...

— Эх, вы!

Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.

— А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...

— Снегу, снегу.

— Господи боже мой. Ведь это нужно ж так...

Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:

— Ах... пусти...

— Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.

Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели.

— Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.

— Слушаюсь.

Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.

— Не затрудняйтесь... я сам.

— Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.

— Позвольте ручку поцеловать...

— По какому поводу?

— В благодарность за хлопоты.

— Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он?

— Ничего, отошел, проспится.

Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора — книжная.

*

И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.

— Уехал...

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к лучшему...

— Но в такую минуту...— бормотала Елена и глубоко вздохнула.

— Что за такой человек? — Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время — полтора года,— что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генеральноштабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа?

— Знаю я, знаю,— сама сказала себе Елена,— уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения,— значительно сказала она красному капору и подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно — ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут... Он там останется, я здесь...

— Мой муж,— сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик.— Мой муж...

Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал:

— А что за человек твой муж?

*

— Мерзавец он. Больше ничего! — сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут.— Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

«Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...»

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.

— Ах ты! — вскричал во сне Турбин.— Г-гадина, да я тебя.— Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

## 4

Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных

труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сидениями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники — мех серебристый и черный — делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые, сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.

Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатыва-

ющие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.

*

И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на

диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах» (поэты — режиссеры — артисты — художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света — вниз белый электрический, а вбок и вверх — оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и

дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна — Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек — под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах:

па-па-пах.

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

— А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и

банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели...

*

Были офицеры. И они бежали и с севера и с запада — бывшего фронта,— и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травлеными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин,— отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары — выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых проборов людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей...

Другие — армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченые для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели

большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.

Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища — инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...

— Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX.

— Да кто он такой, Алексей Васильевич?

— Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем...

По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в Городе и уже испытавшим первые взрывы междуусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой — и слава богу. Гетман воцарился — и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы, ради самого господа, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана славословили искренне... и... «Дай бог, чтобы это продолжалось вечно».

Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.

Дело в том, что Город — Городом, в нем и полиция — Варта, и министерство, и даже войско, и газеты различ-

ных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей,— этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже — смешно сказать — о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название — деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:

— Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы — своих не хотели, попробуют чужих!

— Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.

— Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.

Немцы!!

Немцы!!

И повсюду:

Немцы!!!

Немцы!!

Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.

## 5

Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон — офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок — получает его деревянный король мат.

Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения.

Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра — и не пушка и не гром,— но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний — Подол и через голубой-красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города — Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами.

Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв.

Пять дней жил после того Город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное.

— Взрыв произвели французские шпионы.

— Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.

Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.

Второе знамение пришло летом, когда Город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно!

Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала

Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.

Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом:

— Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)

Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.

Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.

— Пятьдэсят сегодня,—сказало знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.

— Что ты, Явдоха?—воскликнул жалобно Василиса.— Побойся бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.

— Що ж я зроблю? Усе дорого,—ответила сирена,— кажут на базаре, будэ и сто.

Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше

своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...

— Смотри, Явдоха,— сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена),— уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы.— «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился.

Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.

— Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо,— вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-но-ги-то — а-ах!!» — застонало в голове у Василисы.

В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.

— С кем это ты? — быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга.

— С Явдохой,— равнодушно ответил Василиса,— представь себе, молоко сегодня пятьдесят.

— К-как? — воскликнула Ванда Михайловна.— Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились... Явдоха! Явдоха! — закричала она, высовываясь в окошко.— Явдоха!

Но видение исчезло и не возвращалось.

Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда — ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли,— не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.

— Разучимо? А? Как вам это нравится? — сам себе бормотал Василиса.— Ох уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее — роскошь...

Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.

— Какая дерзость... Разучимо? А грудь...

И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.

Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.

Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.

Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее! — произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас... Ай, ай, ай!

Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер — Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.

— Нет, счетовод.

— Нет, студент.

Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.

Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:

— Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.

— Не союза городов, а земского союза, — отвечали третьи, — типичный земгусар.

Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:

— Позвольте... позвольте-ка...

И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват, одиннадцать... они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И

даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем...

...Ой, не хо-д-и...

Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места...

— Вы говорите, бритый?

— Нет, кажется... позвольте... с бородкой.

— Позвольте... разве он московский?

— Да нет, студентом... он был...

— Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем...

Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы, изморось, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара — дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.

...Идут и пою-ют...

Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз и полночный крест Владимира.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы...
Трубы, литавры,
Тарелки гремят.

Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть людей, едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях.

Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп Карася, из Николкиной свист Шервинского... Муть... ночь... Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами... Тихо спит Елена.

— Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза... ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года.

...И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:

«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».

Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.

И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, — дрожь ненависти при слове «офицерня».

Вот что было-с.

Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман,

— увы, увы! только в ноябре 18-го года, когда под Городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку, —

и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:

— Вся земля мужикам.

— Каждому по 100 десятин.

— Чтобы никаких помещиков и духу не было.

— И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью — во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.

— Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.

— Чтобы из Города привозили керосин.

— Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.

Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть:

— Жиды и комиссары.

— Вот головушка горькая у украинских мужиков! Ниоткуда нет спасения!!

Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять...

— А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!

Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.

И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей,— и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.

Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?.. О-го-го! Вот это было. А узник... гитара...

Слухи грозные, ужасные...
Наступают на нас...

Дзинь... трень... эх, эх, Николка.

Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была — большевистская ли, царская или еще какая.

И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere, dementat!» [1] — и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.

— Вздор-с все это. Не он — другой. Не другой — третий.

Итак, кончились всякие знамения, и наступили собы-

---

[1] Кого (бог) захочет погубить, того он лишает разума *(лат.)*.

тия... Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы,— о нет! — оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет... Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках с картавым клекотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали — и немцы! немцы! — попросили пощады.

Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах — он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серонебесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета.

Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми, твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.

— Немцы побеждены,— сказали гады.

— Мы побеждены,— сказали умные гады.

То же самое поняли и горожане.

О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков — демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть.

Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит — одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?

— Умигать — не в помигушки иг'ать,— вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.

Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.

— Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.

— В гаю,— ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.

— Как странно, как странно,— заговорил Турбин,— я думал, что рай — это так... мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?

— Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор,— ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916-м году на Виленском направлении.

Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса — чисты, бездонны, освещены изнутри.

Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил господь бог игрушку — женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра.

— Как же вы? — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин.— Как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики?

— Верите слову, господин доктор,— загудел виолончельным басом Жилин, вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце,— прямо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно... Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные.

— Ну? — поражался Турбин.

— Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю: так и так, 2-й эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам,— вахмистр скромно кашлянул в кулак,— думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери... Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и... (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу — мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай пока, до выяснения обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами — зырк, и вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону...

«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» — и головой покачал.

«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».

«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»

А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно.

И вахмистр хитро подмигнул.

— Это верно,— вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал:

— Нуте-с, сейчас это он и говорит — доложим.

Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает,— вахмистр указал на молчащего и горделивого Най-Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму,— господин эскадронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю,— тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал: — Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» — и сейчас дверь настежь, и пожалте, говорит, справа по три.

...Дунька, Дунька, Дунька я!
Дуня, ягода моя,—

зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника.

— Под ноги!— закричали на разные голоса взводные.

Й-эх, Дуня, Дуня, Дунь, Дуня!
Полюби, Дуня, меня,—

и замер хор вдали.

— С бабами? Так и вперлись?— ахнул Турбин.

Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками.

— Господи боже мой, господин доктор. Мéста-то, мéста-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить, и с запасными эскадронами, да что пять — десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают... «А это,— говорит апостол Петр,— для большевиков, с Перекопу которые».

— Какого Перекопу?— тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.

— А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то,

когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им приготовили.

— Большевиков?—смутилась душа Турбина.— Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.

— Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю господа бога...

— Бога? Ой, Жилин!

— Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.

— Какой же он такой?

Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.

— Убейте — объяснить не могу. Лик осиянный, а какой — не поймешь... Бывает, взглянешь — и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость... И сейчас пройдет, пройдет свет голубой... Гм... да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.

«Ну, не верят?»—спрашивает.

«Истинный бог»,—говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий

это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то»,— я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».

«Да, говорю, уволь ты их, господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то»,— говорит.

Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне.

— Жилин, Жилин, нельзя ль мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?

Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений...

Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение — некий старец Дегтяренко, полный души-

стым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола — то невозможны красные банты...

Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.

Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.

И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...

— Да что вы?

— Уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами — своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником.

— И поделом...

— Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.

Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с Города-I, Пассажирского, в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! — все уже знали довольно определенно. Слово

— Петлюра!

— Петлюра!!

— Петлюра!—

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:

— Пэтурра.

Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли — не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.

Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие в Москве!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное, таинственное имя — консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.

— Большевики придут, батенька!

— Типун вам на язык, батюшка!

У немцев есть такой аппарат со стрелкой — поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра.

*

Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий

(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью — Симон Петлюра),

желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город.

## 6

Магазин «Парижский Шик» мадам Анжу помещался в самом центре Города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа, с золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:

«Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».

Под пушками слова:

«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующего, принимается».

У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек — бррынь-бррынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.

Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи, и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка спозаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел — эх, эх... и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.

Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая:

— Эх! Так его! Здорово! — залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:

— Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.

— В кабинете возьми, в правом ящике стола.

Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал:

— Здравствуйте, Анюточка...

— Елене Васильевне скажу, — тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.

— Глупень...

Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым.

— Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится.

— Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком.

Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.

— Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя. Эгм... (Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.) Лена, ясная, — воскликнул он прочувственно, — не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?

С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты: каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной

стойки; Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое, облачное небо.

— Витька, Витька,— говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону,— посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает.

— А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью,— заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета.— Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.

— Очень красивая Елена Васильевна,— серьезно и искренне ответил Карась.

— Это электри́к,— пояснила Елена,— да ты, Витенька, говори сразу — в чем дело?

— Видишь ли, Лена ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно...

— Ладно, в буфете.

— Вот, вот... Одну рюмку... Лучше всяких пирамидонов.

Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном.

— Ты, Леночка,— хрипловато говорил Турбин,— не волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся, будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента — сволочь такую.

— Не послали бы вас куда-нибудь?

Карась успокоительно махнул рукой.

— Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и

снарядов. А когда и будет готов, то, без всяких сомнений, останемся мы в Городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву...

— Ну, это когда еще там... Эгм...

— Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше...

— Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю.

Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Довлеет дневи злоба его».

— Анюта,— кричала она,— миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай.

Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый, маленький, голубоглазый Карась. Уверенный Карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился.

В передней прощались.

— Ну, да хранит вас господь,— сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила она и Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.

*

— Господин полковник,— мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась,— разрешите доложить?

Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу. Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах, с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина — было ему лет тридцать, самое большое тридцать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось

черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза смотрели явно устало, но внимательно.

Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте, над самой головой полковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольноопределяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног.

Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем г-на полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон: «Да... да... говорю. Говорю: да, да. Да, я говорю». Бррынь-ынь,— проделал звоночек... Пиу,— спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал:

— Дивизион... слушаю... да... да.

— Я слушаю вас,— сказал полковник Карасю.

— Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине, в качестве рядового, и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона.

Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт... надо будет форму ско-

рее одеть»,— досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского.

— Так,— сказал он,— это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?

— В тяжелом N дивизионе, господин полковник,— ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.

— В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает: артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница.

— Никак нет, господин полковник,— ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос,— это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под Пост-Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...

— В высшей степени одобряю... хорошо,— сказал полковник и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому.— Рад познакомиться... Итак... ах да, доктор? И вы желаете к нам? Гм...

Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «так точно» в своем барашковом воротнике.

— Гм...— полковник глянул в окно,— знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более что на днях возможно... Тэк-с...— Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос:— Только... как бы это выразиться... Тут, видите ли, доктор, один вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди? — Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным.— Дивизион у нас так и называется — студенческий,— полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз.— Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский.

Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт... Как же Карась говорил?..» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно — узнать нельзя.

— Я,— вдруг бухнул Турбин, дернув щекой,— к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского.

Какой-то звук вылетел изо рта у Карася, сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей,— подумал Турбин,— но шут его возьми, этот социальный дивизион».

Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил:

— Это печально. Гм... очень печально... Завоевания революции и прочее... У меня приказ сверху: избегать укомплектования монархическими элементами, ввиду того что население... необходима, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно... печально... печально...

Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но, наоборот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.

«Ага-а,— многозначительно подумал Турбин,— дурак я... а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего».

— Не знаю уж, как и быть... ведь в настоящий момент,— полковник жирно подчеркнул слово «настоящий»,— так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита Города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет... Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.

— Юнкер! — воскликнул полковник.— Попросите ко мне старшего офицера.

Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и

настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке, с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серой, длинной, à la Мышлаевский, шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.

— Капитан Студзинский,— обратился к нему полковник,— будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика... э...

— Мышлаевский,— сказал, козырнув, Мышлаевский.

— ...Мышлаевского, по специальности, из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь... э?

— Турбин:..

— Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении.

— Слушаю, господин полковник,— с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк»,— подумал Турбин.

— Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину (это Мышлаевскому). Поручик примет четвертый взвод (офицеру).

— Слушаю, господин полковник.

— Слушаю, господин полковник.

— А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.

— Слушаю, господин полковник.

— Доктору немедленно выдать обмундирование.

— Слушаю.

— Слушаю, слушаю!— кричал басок в яме.

— Слушаете? Нет. Говорю: нет... Нет, говорю,— кричало за перегородкой.

Брры-ынь... Пи... Пи-у,— пела птичка в яме.

— Слушаете?..

*

— «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»!— кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком.— Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одессу. «Свободные вести»!

Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примы-

кавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.

— Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и если кто-нибудь придет, скажи — приема нет. Постоянных больных нет... Поскорее, детка.

Елена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны... Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель.

Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку:

Доктор А. В. Турбин.
Венерические болезни и сифилис.
606—914.
Прием с 4-х до 6-ти.

Приклеил поправку «С 5-ти до 7-ми» и побежал вверх, по Алексеевскому спуску.

— «Свободные вести»!

Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету:

«Беспартийная демократическая газета.
Выходит ежедневно.
13 декабря 1918 года.
Вопросы внешней торговли, и, в частности, торговли с Германией, заставляют нас...»

— Позвольте, а где же?.. Руки зябнут.

«По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...»

— Ах, сукин сын, мальчишка!

«Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на Посту-Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах».

— Предположим... ах, мороз проклятый... Извините.

— Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать...

— Извините...

«Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...»

— Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...

Кто честен и не волк,
Идет в добровольческий полк...

— Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?

— Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит...

Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.

Бу-у,— пели пушки. У-уух,— откуда-то, из утробы земли, звучало за городом.

— Что за черт?

Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно:

«В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.

На Серебрянском направлении спокойно.

В Красном Трактире без перемен.

В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека».

Гу... гу... гу... Бу... бу... бу...— ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара, по Владимирской улице, чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный, из Державной варты, ехал, словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.

— «Вести»! — крикнул газетчик и устремился к толпе.

Поварята в белых колпаках с плоскими донышками

выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.

Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку:

«Прапорщик Юцевич».

На следующем:

«Прапорщик Иванов».

На третьем:

«Прапорщик Орлов».

В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбившейся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу.

— Что это такое? Ваня?! — залился ее голос. Кто-то, бледнея, побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая.

— Господи Исусе Христе! — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.

— Господи... последние времена. Что ж это, режут людей?.. Да что ж это...

— Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.

— Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?

— Ваня! — завывало в толпе.

— Офицеров, что порезали в Попелюхе,— торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос,— выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали...

— Вот оно что? Ах, ах, ах...

«Прапорщик Коровин»,
«Прапорщик Гердт»,—

проплывали желтые гробы.

— До чего дожили... Подумайте.

— Междуусобные брани.

— Да как же?..

— Заснули, говорят...

— Так им и треба...— вдруг свистнул в толпе за

спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.

— Что вы сказали? — шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.

— Помилуйте, господин офицер,— трясясь в ужасе, ответил голос,— я ничего не говорю. Я молчу. Что вы-с,— голос прыгал.

Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха.

Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб,

«Прапорщик Морской»,—

пролетели какие-то сани.

— «Вести»! — вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт.

Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным:

— Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!

На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.

— Ште это... что вы... за что мине? — загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными

пленкой снега кирпичами выбежал на знакомый громадный плац — сад Александровской гимназии.

— «Вести»! Ежедневная демократическая газета! — донеслось с улицы.

*

Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших — Карася и Мышлаевского.

И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет, значит, жизнь свободная,— понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.

И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживается в течение двух тысяч лет...

Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания,— о, проклятый бассейн войны... И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду. И бежал по

плацу достаточно больной и издерганный, сжимал браунинг в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь — будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции «А», а другой навстречу ему со станции «Б».

Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что.

И главное: не только никто не знал, но и никто не интересовался — куда же все делось? Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цейхгауз? Чей? Кто? Зачем?

Никто этого не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками?..

*

— Накати-и! — прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные и синие студенческие.

Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона.

— Господин кап-пи-тан,— пропел голос Мышлаевского,— взвод готов.

Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул:

— Левое плечо вперед, шагом марш!

Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топча снег, поплыл.

Замелькали мимо Турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул Карась. Не зная еще, куда и зачем, Турбин захрустел рядом со взводом...

Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать:

— Левой. Левой. Ать. Ать.

В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом.

Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге — это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек, сквозь мертвую паутину, скуповато притекал свет.

Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных папах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне.

— Па-а-живей,— послышался голос Студзинского.

Человек шесть офицеров, в тусклых золотых погонах, завертелись, как плауны на воде. Что-то выпевал выздоровевший тенор Мышлаевского.

— Господин доктор! — прокричал Студзинский из тьмы.— Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции.

Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой — в

сером, и папаха налезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами.

— Там ящики с медикаментами,— проговорил Турбин,— выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности.

Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.

— Кто не умеет, осто-рожнее, юнкера-а,— пел Мышлаевский,— объясните студентам.

Через головы полезли ремни с подсумками и фляги.

Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный, компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.

— Господ офицеров попрошу ко мне,— где-то прозвучал Студзинский.

В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко:

— Впечатления?

Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал:

— У меня во взводе пятнадцать человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато.

Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил:

— Настроение?

Опять заговорил Мышлаевский:

— Кхм... кхм... Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели.

Студзинский метнул на него черные упорные глаза.

— Потрудитесь поднять настроение.

И шпоры зазвякали, расходясь.

— Юнкер Павловский! — загремел в цейхгаузе Мышлаевский, как Радамес в «Аиде».

— Павловского... го!.. го!.. го!! — ответил цейхгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов.

— Й'я!

— Алексеевского училища?

— Точно так, господин поручик.

— А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее. Так, чтобы Петлюра умер, мать его душу...

Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами:

Артиллеристом я рожден...

Тенора откуда-то ответили в гуще штыков:

В семье бригадной я учился.

Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив, и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейхгауз:

Ог-неем-ем картечи я крещен
И буйным бархатом об-ви-и-ился.
Огне-е-е-е-е-ем...

Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали...

И за канаты тормозные
Меня качали номера.

Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание:

— Вестибюль... сорвать кисею... поживее...

И прапорщики унеслись куда-то.

Идут и поют
Юнкера гвардейской школы!
Трубы, литавры,
Тарелки звенят!!

Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.

— Ать... ать!..— резал пронзительным голосом рев Карась.

— Веселей!..— прочищенным голосом кричал Мышлаевский.— Алексеевцы, кого хороните?..

Не серая, разрозненная гусеница, а —

Модистки! кухарки! горничные! прачки!!
Вслед юнкерам уходящим глядят!!! —

одетая колючими штыками, валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать.

На кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне.

...ведь были ж...
схватки боевые?!

— Да, говорят...— звенел Павловский.

Да, говорят, еще какие!! —

гремели басы.

Неда-а-а-ром помнит вся Россия
Про день Бородина!!

Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисея, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.

— Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Ровней, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу! — выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей.

Студзинский попятился и глянул на браслет-часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.

— Командир дивизиона,— расслышали ближайшие.

Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали

между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру.

Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назади. Лицо его было озабоченно. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв.

Малышев спросил его:

— Одеты?

— Так точно. Все приказания исполнены.

— Ну, как?

— Драться будут. Но полная неопытность. На сто двадцать юнкеров восемьдесят студентов, не умеющих держать в руках винтовку.

Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.

— Великое счастье, что хорошие офицеры попались,— продолжал Студзинский,— в особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся.

— Так-с. Ну-с, вот что: потрудитесь, после моего смотра, дивизион, за исключением офицеров и караула в шестьдесят человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цейхгаузе и на охране здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь.

Дикое изумление разбило Студзинского, глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся.

— Господин полковник...— все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог,— разрешите доложить. Это невозможно. Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь.

Господин полковник тут же, и очень быстро, обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись.

— Капитан,— заговорил он неприятным голосом,— я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опыт-

ного старшего офицера, а не штатского профессора. Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Па-а-прошу вас советов мне не давать! Слушать, запоминать. А запомнив — исполнять!

И тут оба выпятились друг на друга.

Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес:

— Слушаю, господин полковник.

— Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать выспаться и распустить без оружия, а завтра чтобы явились в семь часов. Распустить, и мало того: мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимания зевак своим великолепием.

Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла.

— Слушаю, господин полковник.

Господин полковник тут резко изменился.

— Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете? Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал — забудьте, ведь вы тоже...

Студзинский залился густейшей краской.

— Точно так, господин полковник, я виноват.

— Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее: на орудия — внимания ноль, имейте в виду — лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк. И всем опытным юнкерам — гранаты. Понятно?

Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал.

— Господин полковник, разрешите спросить?

— Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу — погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?

— Точно так!

— Ну, так вот-с,— Малышев очень понизил голос,— понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и, чего доброго, угробить

двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют стрелять!

Студзинский молчал.

— Ну, так вот-с. А об остальном вечером. Все успеем. Валите к дивизиону.

И они вошли в зал.

— Смир-р-р-но. Га-сааа офицеры! — прокричал Студзинский.

— Здравствуйте, артиллеристы!

Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла.

— Здра-рра-жла-гсин... полковник...

Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил:

— Бесподобно... Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и, будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим Город великий в часы осады бандитом. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники, мать его душу через семь гробов!!!

— Га-а-а... Га-а...— ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника.

— Постарайтесь, артиллеристы!

Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхо:

— Ррр... Ррррр... Стра... Ррррpp!!!

*

Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-

то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики — Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его.

— Не доносите... Теперь так, так. Раздуйте ее, раздуйте. Залежалась, матушка. А ну-ка, тревогу.

«Та-та-там-та-там»,— пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс.

Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку.

— Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?

— Точно так, господин полковник.

— Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите. И таким образом: фельдшера пусть явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными... А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: погоны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда.

— Слушаю-с, господин полковник.

Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.

— Поручик Мышлаевский. Пожалуйте сюда. Вот что-с: поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша.

Мышлаевский козырнул, круто повернулся. Трубач

пискнул и прекратил. Мышлаевский, бренча шпорами — топы-топы-топы,— покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину:

— Нет, черт возьми... Это действительно офицер. Видали?

А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал:

— Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?

— Ваше... ваше...— шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнул Карась, за ним другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету.

— Ваше высокоблагородие,— бормотала она.

Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор.

Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем.

— Как? Эй! — кричал Мышлаевский.

— Погасло,— отвечали голоса снизу, из провала вестибюля.

— Есть! Горит! — кричали снизу.

Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман.

— Катись, старикан, спать,— молвил он успокоительно,— все в полном порядке.

Старик виновато заморгал подслеповатыми глазами:

— А ключик-то? Ключик... ваше высокоблагородие... Как же? У вас, что ли, будет?

— Ключик у меня будет. Вот именно.

Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить.

— Юнкер!

Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно.

— К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита.

— Слушаю, господин поручик.

Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул:

— Максим-то... видал?

— Господи... видал, видал,— шепнул Турбин.

Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал:

— Ну, вот-с, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом.

— Рад стараться, господин полковник.

— Вы еще наладите нам отопление здесь, в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану, в количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться.

Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся:

— Эк... км...

Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.

...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору.

Коренастый Максим, старший педель, стреми-

тельно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.

— Пущай, пущай, пущай, пущай,— бормотал он,— пущай по случаю радостного приезда господина попечителя господин инспектор полюбуются на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!

Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.

У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.

— Пустите нас, миленький Максим, дорогой,— молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.

— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали сзади взволнованные гимназисты.— Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!

Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь,— белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на экипаже... Ах, колесо, колесо. Все-то ты ехало из деревни «Б», делая N оборотов, и вот приехало в каменную пустоту. Боже, какой холод. Нужно защищать теперь... Но что? Пустоту? Гул шагов?.. Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру.

Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» — хотелось ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима

внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это. Довольно сентиментальничать. Просентиментальничали свою жизнь. Довольно.

*

И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски. И парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому что вон из окна тот самый вид на Город. Вон черная умершая громада университета. Стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь небес...

А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество», снег и огонечки, дрожат и мерцают... «Желал бы я знать, почему стреляют в Святошине?» И безобидно, и далеко, пушки, как в вату, бу-у, бу-у...

— Довольно.

Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало, и шел крупный снег.

*

Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных приделах зала.

Юнкера, под командою Мышлаевского, «Отечественными записками» и «Библиотекой для чтения» за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно, гремя топорами, старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта (господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно — полведра), сменяясь, спали по два часа вповалку с

юнкерами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И Карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мортир.

У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в трубах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели.

— Пропустить. Это ко мне.

Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую каморочку, находящуюся в приделе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.

## 7

Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире — Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега.

Ни одна душа в Городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на Горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто! И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего. Одно всего освещенное место: стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир и держит в руке, стоймя, трехсаженный крест. Каждый вечер, лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за сорок виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный

бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше!.. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугробы кругом по самое горло. Жуть.

Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в Городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но вполглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус.

— Halt!

Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники... Хруст... Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя, пока что... Что бы там ни было, а немцы — штука серьезная. Похожи на навозных жуков.

— Докумиэнт!

— Halt!

Конус из фонарика. Эгей!..

И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди четыре огня. Не простая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченной рысью конвой — восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат:

— Halt!

— Куда? Кто? Зачем?

— Командующий, генерал от кавалерии Белоруков.

Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста. В стеклах кареты, в глубине, бледное усатое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но тем не менее. У зулусов жить — по-зулусьи выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится.

*

Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы, и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский

вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлаевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера — это вам не студенты!.. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика,— красные. Которая уж ночь и сна мало, а водки много и тревоги порядочно. Ну, в Городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят. Но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди...

А на Горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там, на высотах... пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в Город и показываться не следует, а уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями — твоя удача, не проскочишь — не прогневайся. Ежели бы такой человек на Горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству.

Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. Пять минут на нем побудешь и домой запросишься, а...

— Як часов с пьять? Эх... Эх... померзнем!..

Главное, ходу нет в верхний Город мимо панорамы и водонапорной башни, там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова. И поминутно — то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то...

— Офицерня, ах твою душу, щоб вам повылазило!

Патрули, патрули, патрули.

А по террасам вниз в нижний Город — Подол — и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья Горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хай им бис! патруль за патрулем! Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер — гу-у...— пройдет по аллеям, и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.

— Замерзнем, Кирпатый!

— Терпи, Немоляка, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на Ввоз, отогреемся у Сычихи.

Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубоватых конуса — пролетят немецкие машины, или же покажутся черные лепешечки тазов и от них короткие острые тени... И как на ладони видно...

Отделяется одна тень на Горке, и сипит ее волчий острый голос:

— Э... Немоляка... Рискуем! Ходим. Может, проскочим...

Нехорошо на Горке.

*

И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят аляповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки.

Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицерам, слоняющимся в зале с аляповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка — пиу! Засим к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, и закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот.

Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога, горели огни в залах портретных и в залах золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни...

В маленькой узкой комнатке, в первом этаже дворца, у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую обеленную, совсем не похожую на дворцовую, аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато:

— Это штаб мортирного дивизиона?

*

Увы, увы! Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В четыре часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.

*

В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах — тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона, Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев: он был скомкан.

В похолодевшем зале вились дымки — в офицерской группе курили.

Минута в минуту в семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.

Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова:

— Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь в цейхгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!

Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно — на подстриженных усах господина полковника.

Он заговорил вновь:

— Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее слово) лучший! из вас — это быть отправленным на Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!

— А?! А?! Га, га, га! — прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз...

Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет, по своему обыкновению, выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест»!..

— Что такое? Как? — где-то баском послышалось в шеренге среди юнкеров.

— Арест!..

— Измена!!

Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул:

— Эй, первый взвод!

Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета.

— Господин полковник! — совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. — Вы арестованы.

— Арестовать его!! — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.

— Постойте, господа! — крикнул медленно, но прочно соображающий Карась.

Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.

— Пустите меня, господин поручик! — злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.

— Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.

— Тише! — повторил полковник.— Приказываю вам стать на места и слушать!

Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.

— Да, да,— заговорил полковник, дергая щекой,— да... да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал господь бог. Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае, прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!

При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.

— Ну, так вот-с,— продолжал полковник.— В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы, э... офицеры — как бы выразиться? — неопытные! Коротко: времени у меня нет, и, уверяю вас,— зловеще и значительно подчеркнул полковник,— и у вас тоже. Вопрос: кого желаете защищать?

Молчание.

— Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно повторил полковник.

Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:

— Гетмана обязаны защищать, господин полковник.

Глаза его светло и смело глядели на полковника.

— Гетмана? — переспросил полковник.— Отлично-с. Дивизион, смирно! — вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул.— Слушать!! Гетман сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний,— полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над городом,— разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в двадцать раз численностью войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! — вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками.— Слушайте! Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность, все!! все!! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой! Понятно? — прокричал он.

— Да... а... га,— ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.

Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно, и для самого себя, странным, не офицерским, жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.

Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радамеса-Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу:

— Юнкер Павловский! Бейте отбой!!

*

— Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? — светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.

— Не разрешаю,— вежливо и спокойно ответил ему Малышев.

— Господин полковник,— задушевно сказал Мышлаевский,— Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное,— Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

— Достанется,— вежливо подтвердил полковник.

— Но как же, господин полковник?..

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

— Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить.

— Господин полковник,— сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым,— от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения.

— Принимаю,— вежливо ответил полковник.

*

Когда над Городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков, винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского.

*

В окнах было совершенно сине. И в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними,— Мышлаевский и Карась.

— Предупредил ли Алексея командир? — озабоченно спросил Мышлаевский Карася.

— Конечно, командир предупредил, ты ж видишь, что он не явился? — ответил Карась.

— К Турбиным не попадем сегодня днем?

— Нет уж, днем нельзя, придется закапывать... то да се. Едем к себе на квартиру.

В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал и расходился туман.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 8

Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег, за Городом в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей и не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра, в бездонной высоте над городом Владимирский крест.

К утру он потух. И потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной.

Полковник Козырь-Лешко проснулся в пятнадцати верстах от Города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со словом:

— Диспозиция.

Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Борхуны, за Борхунами нашел Белый Гай, проверил ногтем рогулю дорог, усеянную, словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно — Город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь.

Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя.

Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В четырнадцатом году попал на войну в драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры. А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником петлюровской армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на двадцать первом — вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к сорока пяти годам. А до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным.

— А нуте, скажить хлопцам, щоб выбирались с хат, тай по коням,— произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.

Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах, и тотчас же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный пра́пор — плат голубой, плат желтый, на древке.

Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам

Козыря веселым пламенем. Прошла водка и по рядам из манерок, взятых еще со склада в Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет:

Гай, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким...

А в пятом ряду рванули басы:

Там орала дивчиненька
Воликом черненьким...
Орала... орала,
Не вмила гукаты.
Тай наняла козаченька
На скрипочке граты.

— Фью... ах! Ах, тах, тах!..— засвистал и защелкал веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики, и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кованых копыт. Ударил радостный торбан.

— Так его! Не журись, хлопцы,— одобрительно сказал Козырь. И завился винтом соловей по снежным украинским полям.

Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки — галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх папах. Кованые боты уминали снег.

От силы начали чернеть белые пути к Городу.

— Слава! — кричала проходящая пехота желто-блакитному прапору.

— Слава! — гукал Гай перелесками.

«Славе» ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к Городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению Пуще-Водице два раза прошло по удару, от которых в

четырех просеках в домах, сидящих в снегу, враз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженные фонтаны снегу. Но затем в Пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись, шурша лапками, по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под Пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое Урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду Города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье Города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели.

В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как иззябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине Города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине на севере. Затем и она утихла.

*

Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на разъезде верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханьем и перекатами мертвенного поселка Святошино, в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество, всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошина на Пост-Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой, нервный Торопец сказал своему адъютанту Худяковскому:

— Взялы Святошино. Запропонуйте, будьте ласковы, пане адъютант, нехай пóтяг передадут на Святошино.

Поезд Торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещенья железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в Город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонные ночи в этом самом клоповом салоне № 4173.

Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от Городского леса и пахотных земель, на

западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастного Поста-Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала конница, скрипели тягостные пушки, и шла и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии.

В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.

— Ти-у... пи-у... слухаю! пи-у... ти-у...

План Торопца был хитер, хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал он две батареи под Городской лес, недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую Пуще-Водицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников Города, что он, Торопец, будет брать Город с его, Торопца, левого фланга (с севера), с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в Город в лоб, прямо от Святошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.

Вот в исполнение плана Торопца — двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый и шел под свист и гармонику со старшинами в голове черношлычный полк Козыря-Лешко.

— Слава! — перелесками гукал Гай.— Слава!

Подошли, оставили Гай в стороне и, уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидели Город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейссовские стекла Козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии.

На правой руке у Козыря уже шел бой. Верстах в двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к Посту-Волынскому и цепочками же отваливала от Поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота...

*

Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине, редкие шинели.

— Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение — выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину...

— Ну?

Пушки... Пушки... бух... бу-бу-бу...

А вот завыл пулемет.

Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе:

— Но, позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление?..

Тоска в юнкерском голосе:

— А черт их знает!

*

Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под четырнадцатое число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал Города-I, и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула», у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной «Розы», но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись — никому не известно.

Взяв в квартале расстояния от «Розы» извозчика, штатский Щеткин уехал в Липки, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова:

— Все кончено! О, как я измучен...— полковник Щеткин удалился в альков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.

*

Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль! Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение и, вместо того чтобы вертеться под шрапнельным небом у Поста-Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотистою особой.

*

Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.

Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в Городе усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна гетман (о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие), в Городе его сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в Городе как-никак и звенят и поют телефоны штабов (никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться), в Городе густопогóнно. В Городе ярость при слове «Петлюра» и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты, в Городе ходят кадеты, а там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый облегченною рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то, спрашивается, на что надеется гетман? Ведь по его душу свищут! Ох, свищут... Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда почему же тумбы-немцы равнодушно улыбаются в свои стриженые немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелоном к Городу проходят Петлюрины части? Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в Город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру?

Нет, никто не поймет, что происходило в Городе днем четырнадцатого декабря.

Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже, и реже, и реже...

Реже!

Реже!

Дрррр!..

— Тиу...

— Что у вас делается?

— Тиу...

— Пошлите патроны полковнику...

— Степанову...

— Иванову.

— Антонову!

— Стратонову!..

— На Дон... На Дон бы, братцы... что-то ни черта у нас не выходит.

— Ти-у...

— А, к матери штабную сволочь!

— На Дон!..

Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко.

Кругом Города, то здесь, то там, закипит грохот, потом прервется... Но Город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью, похожей на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери, и ходил, позвякивая, трамвай.

И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр Города. Позвольте, это уже совсем близко!.. В чем дело? Прохожие останавливались и начали нюхать воздух. И кой-где на тротуарах сразу поредело.

Что? Кто?

— Арррррррррррррррррр-па-па-па-па-па! Па! Па! Па! рррррррррррррррррр!!

— Кто?

— Як кто? Шо ж вы, добродию, не знаете? Це полковник Болботун.

*

Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры!

Полковник Болботун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Торопца, решил несколько ускорить события. Померзли Болботуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Болботун. И вот поднял Болботун вверх стек, и тронулся его конный полк справа по три, растянулся по дороге и

подошел к полотну, тесно опоясывающему предместье Города. Никто тут полковника Болботуна не встречал. Взвыли шесть Болботуновых пулеметов так, что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка. В один миг Болботун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд, который только прошел стрелу железнодорожного моста и привез в Город свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно ошалел, но Болботуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с Города-II, Товарного, пошли на Город-I, Пассажирский, засвистали маневровые паровозы, а Болботуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Святотроицкой улице. И вошел в Город, и пошел, пошел по улице Болботун, и шел беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Болботун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Болботуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Болботуна в первой сотне убило казака Буценко, пятерых ранило и двум лошадям перебило ноги. Болботун несколько задержался. Показалось ему почему-то, что невесть какие силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке тридцать человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом.

Шеренги Болботуна по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам, и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике.

И тотчас Болботуновы поступки получили отражение в Городе: начали бухать железные шторы на Елисаветинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустели тротуары и сделались неприютно-гулкими. Дворники проворно закрыли ворота.

И в центре Города получилось отражение: стали потухать петухи в штабных телефонах.

Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина, не отвечают! Пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются. А голос в ответ бормочет какую-то чепуху.

— Ваши офицеры в погонах?

— А, что такое?

— Ти-у...
— Ти-у...
— Выслать немедленно отряд на Печерск!
— А, что такое?
— Ти-у...

По улицам поползло: Болботун, Болботун, Болботун, Болботун...

Откуда узнали, что это именно Болботун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему: с полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то в пальто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли. Усы у них вниз, червячками, как на картинке Лебидя-Юрчика. Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептали:

— Це Бовботун в мисце прийшов.

И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалось явственное — «Слава!».

— Сла-ва-ва-вав-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва... — холмы Печерска.

Поехала околесина на дрожках:

— Болботун — великий князь Михаил Александрович.
— Наоборот: Болботун — великий князь Николай Николаевич.
— Болботун — просто Болботун.
— Будет еврейский погром.
— Наоборот: они с красными бантами.
— Бегите-ка лучше домой.
— Болботун против Петлюры.
— Наоборот: он за большевиков.
— Совсем наоборот: он за царя, только без офицеров.
— Гетман бежал?
— Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели?
— Ти-у. Ти-у. Ти-у.

*

Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. Сдурели вы, что ли, Яков Гри-

горьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке, и пальто нараспашку. И глаза блуждающие.

Было от чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер.

— Ой,—ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота.

А стон разросся и, как ножом, резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка, мамаша Якова Григорьевича, вынырнула из спальни и крикнула:

— Яша! Ты знаешь? Уже!

И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели — на самом углу Миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска:

Повивальная бабка Е. Т. Шадурская.

На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску.

Лишь бы проскочить. Лишь бы... Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман.

— Стый! Ты куды?

Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темный лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков.

— Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба.

— До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься? а? ж-жидюга?..

— Я, панове...

Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены.

— Посвидченя!

Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут только вспомнил... ах, боже мой, боже мой! Что ж он наделал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспо-

мнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману! Галаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть.

«Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из Города по делам снабжения броневых частей гарнизона Города, а равно и хождение по городу после 12 час. ночи.

Начснабжения — генерал-майор *Илларионов.*
Адъютант — поручик *Лещинский*»

Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!

— Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте...

— Нет, тот, — дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, — не журись, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо! Одиннадцать тысяч карбованцев... Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.

## 9

Полковник Болботун, потеряв семерых казаков убитыми и девять ранеными и семерых лошадей, прошел полверсты от Печерской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и три раза прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев (три дюйма). Болботун мигом спешился, коноводы увели в переулок лошадей, полк Болботуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала.

Звукам отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Болботуна, и ее подкрепление, которое получилось таким образом:

— Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...

— Первая дружина?

— Да, слушаю.

— Немедленно две офицерских роты дайте на Печерск.

— Слушаюсь. Дрррррр... Ти... Ти... ти... ти...

И пришло на Печерск: четырнадцать офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер из театра миниатюр.

*

Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти целых четыре. И уверенно можно сказать, что, подойди они, полковник Болботун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли.

Случилось это потому, что в броневой дивизион гетмана, состоящий из четырех превосходных машин, попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский.

Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный Триолет». Кроме того, Михаил Семеныч не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал, имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам «Магнитного Триолета»;

пил белое вино,

играл в железку,

купил картину «Купающаяся венецианка»,

ночью жил на Крещатике,

утром в кафе «Бильбокэ»,

днем — в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером — в «Прахе»,

на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя».

Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка «Магнитного Триолета») следующее:

— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.

По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил Михаил Семенович, его, Михаила Семеныча, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь «Магнитный Триолет» и пятый — некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нем Шполянскому было известно немного: во-первых, что он болен сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников, и, в-третьих, что он — Русаков, сын библиотекаря.

Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил:

— Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным! Слушай, Шполянский... Это неприлично — походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Вот я гнию, и горжусь этим... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так...

И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту:

— Занюхался, т-твою мать?

Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семеныч действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.

— Иди спать,— говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтоб тот не кашлянул на него,— иди.— Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему: «Мало-Провальная»,— и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол.

*

В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.

— Боже мой, боже мой, боже мой... Ужас, ужас, ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О господи, господи... Мне двадцать четыре года, и я мог бы, мог бы... Пройдет пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом — я гнилой, мокрый труп.

Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.

— Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?

Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами:

ФАНТОМИСТЫ —
ФУТУРИСТЫ

Стихи:

М. Шполянского.
Б. Фридмана.
В. Шаркевича.
И. Русакова.

*Москва, 1918*

На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки:

*Ив. Русаков*

БОГОВО ЛОГОВО

Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Боговой битвы
Встречаю матерной молитвой.

— Ах-а-ах,— стиснув зубы, болезненно застонал больной.— Ах,— повторил он в неизбывной муке.

Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну:

— Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы — я достаточно наказан. Я верю в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы,

избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!..

Свеча наплывала, в комнате холодело, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками и на душе у больного значительно полегчало.

*

Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели, тронутые временем, эполеты сороковых годов. Михаил Семенович, без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова:

— Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи — гетману в броневой дивизион.

После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:

— Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов.

Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:

— И не нужно.

*

Через два дня после этого разговора Михаил Семеныч преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штатского платья — короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в «Гугенотах», ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клял-

ся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять Город. Разговор этот происходил девятого вечером, а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других (наводчики, два шофера и механик) Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:

— Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила, и, возможно, единственно правильная.

Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе «Прах»,—за исключительное красноречие.

— Какая же это сила?—спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.

Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножко побеседовала и разошлась. Двенадцатого декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил:

— Сахар?

— Угу,—ответил Михаил Семенович.

В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению.

Причина: бумага у командира дивизиона капитана Плешко—«четырнадцатого декабря, в восемь часов утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами».

Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накану-

не три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогло. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в восемь часов тридцать минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в Верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.

Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В девять часов вернулся на четвертой машине с позиций румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу.

В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка, потому что

не может же она сама вернуться! Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра.

А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.

## 10

Странные перетасовки, переброски, то стихийно боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков, трое суток водили часть полковника Най-Турса по снежным сугробам и завалам под Городом, на протяжении от Красного Трактира до Серебрянки на юге и до Поста-Волынского на юго-западе. Вечер же на четырнадцатое декабря привел эту часть обратно в Город, в переулок, в здание заброшенных, с наполовину выбитыми стеклами, казарм.

Часть полковника Най-Турса была странная часть. И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около ста пятидесяти юнкеров и три прапорщика.

К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста, черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Най-Турса были устроены таким образом, что каждый, кто ни встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Най-Турса. Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование второго отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к тринадцатому декабря. Формирование удивительным образом закончилось десятого декабря, и десятого же полковник Най-Турс, необычайно скупой на слова вообще, коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Най-Турс, может выступить уже

со своими юнкерами, но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд в сто пятьдесят человек папахи и валенки, без чего он, Най-Турс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконического полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразье. Картавый Най-Турс забрал бумагу, по своему обыкновению, дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем корпусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс взял с собою десять юнкеров (почему-то с винтовками) и две двуколки и направился с ними в отдел снабжения.

В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.

Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная:

— Что вам угодно, полковник?

— Выступаем сейчас,— лаконически ответил Най,— пгошу сгочно ваэнки и папахи на двести человек.

— Гм,— сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требование Ная,— видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через три прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу.

Он положил бумагу Най-Турса на видное место под пресс в виде голой женщины.

— Валенки,— монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог.

— Как?— не понял генерал и удивленно уставился на полковника.

— Валенки сию минуту давайте.

— Что такое? Как? — генерал выпучил глаза до предела.

Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в теплый коридор особняка:

— Эй, взвод!

Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей Матери в углу, а затем опять на лицо Ная.

В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла.

— Я впервые слышу такую вещь... Это бунт...

— Пишите тгебование, ваше пгевосходительство,— сказал Най,— нам некогда, нам чегез час выходить. Непгиятель, говогят, под самым гогодом.

— Как?.. Что это?..

— Живей,— сказал Най каким-то похоронным голосом.

Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать».

Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре:

— Ггузите валенки. Живо.

Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал, багровея, сказал ему:

— Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду. Эт-то что-то...

— Попгобуйте,— ответил Най и проглотил слюну,— только попгобуйте. Ну, вот попгобуйте гади любопытства.— Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел.

— Звякни, гвупый стагик,— вдруг задушевно сказал Най,— я тебе из кольта звякну в голову, ты ноги пготянешь.

Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.

Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услыхал глухое и интимное «станция»... неожиданно ощутил перед собой траурные глаза

картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал:

«У реки Ирпеня столкновения с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Святошину...» —

бросил газету и сказал вслух:

— Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...

Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого хорька капитан — помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил:

— Разрешите доложить, господин генерал...

— Вот что, Владимир Федорович,— перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами,— я почувствовал себя плохо... прилив... хем... я сейчас поеду домой, а вы, будьте добры, без меня здесь распорядитесь.

— Слушаю,— любопытно глядя, ответил хорек,— как же прикажете быть? Запрашивают из четвертой дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили распорядиться двести пар?

— Да. Да! — пронзительно ответил генерал.— Да, я распорядился! Я! Сам! Изволил! У них исключение! Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да!!

Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька.

— Четыреста пар всего...

— Что ж я сделаю? Что? — сипло вскричал генерал.— Рожу́ я, что ли?! Рожу́ валенки? Рожу́? Если будут запрашивать — дайте — дайте — дайте!!

Через пять минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой.

*

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами (юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки). Полтораста

винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах вповалку спали юнкера. Най-Турс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, подсумками и обоймами, разложив пестрый план Города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом.

Около двух часов ночи сон стал морить Ная. Он шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул:

— Юнкег?!

— Я, господин полковник,— отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.

— Я сейчас лягу,— сказал Най,— а вы меня газбудите чегез тги часа. Если будет телефоног'амма, газбудите пгапогщика Жагова, и в зависимости от ее содегжания он будет меня будить или нет.

Никакой телефонограммы не было... Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками и растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но, когда отряд вышел на Политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение. В ранненьких сумерках мелькали, погромыхивая, фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в Город и часть Ная обходило с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач, над утоптанным и выбитым шоссе вставал и расходился туман.

С этого рассвета до трех часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба:

«Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля, принять бой».

Этого неприятеля Най-Турс увидал впервые в три часа дня, когда на левой руке, вдали, на заснеженном плацу военного ведомства, показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь-Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце Города. Собственно

говоря, Козырь-Лешко, не встретивший до самого подхода к Политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на Город, а вступал в него, вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журавлиному, в густом, обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най-Турса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал:

— Пгямо по кавагегии!.. залпами... о-гонь!

Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили Козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен Политехнического института, и три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най-Турсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.

Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали... одним словом, Най приказал отходить на Город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души.

Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им:

— Бегом на Полевую и на Богщаговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встгетите фугы, двуколки или какие-нибудь сгедства пегедвижения, отступающие неогганизованно, взять их. В случае сопготивления уг'ожать оружием, а затем его и пгименить...

Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем,

встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они наконец прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь:

— Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет,—он перевел дух.—У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в Город...

Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная.

Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по Фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Най-Турс повернулся лицом к цепям и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную, странную команду...

В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков, и двое его помощников — прапорщики, утром уехавши в штаб, не возвращались. Николка — ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.

Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнкеров в конце концов стали тоскливыми. Эх... эх...

В три часа запищал полевой телефон.

— Это третий отдел дружины?

— Да.

— Командира к телефону.

— Кто говорит?

— Из штаба...

— Командир не вернулся.

— Кто говорит?

— Унтер-офицер Турбин.

— Вы старший?

— Так точно.

— Немедленно выведите команду по маршруту.

И Николка вывел двадцать восемь человек и повел по улице.

*

До двух часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут два, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, насовал в карманы, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался,— это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал,— вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе.

— Слушай, Елена,— говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая; сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютою в пустой большой квартире,— ничего не поделаешь. Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин Города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее, ну, авось отобьем Петлюру. Ну, прощай, прощай...

Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где, по-прежнему не убранный, виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.

*

На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило.

На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны Политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало (полуденный визит Болботуна Турбин проспал), и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение.

— Стой... ст...— сказал пьяный голос.

— Что это значит?—сердито спросил Турбин.

Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка.

— Пав... пав... паварачивай,—сказал красный пьяный,— выса... высаживай пассажира...— Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул.

— Что это значит?—сердито повторил Турбин.— Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт Прошу оставить извозчика. Трогай!

— Нет, не трогай...—угрожающе сказал красный и только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина.— А, доктор, ну, вместе... и я сяду...

— Нам не по дороге... Трогай!

— Па...а-звольте...

— Трогай!

Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал; обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и красный, спотыкаясь и икая, поплелся к нему.

— Знал бы, за пятьсот не поехал,— злобно бурчал извозчик, нахлестывая круп клячи,— стрельнет в спину, что ж с него возьмешь?

Турбин мрачно молчал.

«Вот сволочь... такие вот позорят все дело»,—злобно думал он.

На перекрестке у оперного театра кипела суета и

движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким иззябшим кадетом, в черной шинели и наушниках, и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, Турбин уже в виду музея отпустил извозчика.

— Прибавить надо, ваше высокоблагородие,— злобно и настойчиво говорил извозчик,— знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается!

— Будет.

— Детей зачем-то ввязали в это...— послышался женский голос.

Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске.

Вра... вра.. вра... вра... вра... вра... вра...

«Чепуха какая-то уже, кажется, делается»,— растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток.

«Неужели опоздал?.. Какой скандал... Могут подумать, что я сбежал...»

Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись:

«На благое просвещение русского народа»

вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.

— Боже! — невольно вскрикнул Турбин.— Они уже ушли.

Мортиры безмолвно щурились на Турбина и, одинокие и брошенные, стояли там же, где вчера.

«Ничего не понимаю... что это значит?»

Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановился и застыл: на ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу и торчали и прыгали штыки.

— Картузова надо ждать! Вот что! — выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами.

— Польскому легиону отдать.

— А где он?

— А черт его знает!

— Все в музей! Все в музей!

— На Дон!

Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар.

— К чертовой матери! Пусть пропадет все,— яростно завопил он,— ах, штабные!..

Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.

«Катастрофа... Теперь понимаю... Но вот в чем ужас — они, наверно, ушли в пешем строю. Да, да, да... Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек... Ах ты, боже мой... к Анжу надо бежать... Может быть, там узнаю... Даже наверно, ведь кто-нибудь же да остался?»

Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад, к оперному театру. Сухой порыв ветра пролетел по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра, у чернооконного бокового подъезда. Кармен. Кармен.

И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный, зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев, всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная, шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки, причем багровые отблески заиграли на ее лице.

«Малышев? Да, полковник Малышев»,— узнал Турбин.

Усов на полковнике не было. Гладкое синевыбритое место было вместо них.

Малышев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку.

«Ага... а».

— Что это? Кончено? — глухо спросил Турбин.

— Кончено,— лаконически ответил полковник, вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно: — Повоевали — и будет! — Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами.

— Доктор? Что же вы? — Малышев беспокойно указал на плечи Турбина.— Снимите скорей. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?

— Я опоздал, полковник,— начал Турбин.

Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой и молвил:

— Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвел! Назначил вам этот час... Вы, очевидно, днем не выходили из дому? Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом: снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.

— В чем дело? В чем дело, скажите, ради бога?..

— Дело? — иронически весело переспросил Малышев.— Дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят.— Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно не как актер-любитель, а как прежний Малышев: — Штабы предали нас. Еще утром надо было разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью и дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать, снимайте погоны!

— ...а там, в музее, в музее...

Малышев потемнел.

— Не касается,— злобно ответил он,— не касается! Теперь меня ничего больше не касается. Я только что

был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал! — Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог.— Ну, генералы! — Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело.

В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом.

Малышев встрепенулся, сразу стих.

— Ну-с, доктор, ходу! Прощайте. Бегите! Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дворами. Там еще открыто. Скорей.

Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет.

Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах, с вялыми, скомканными мыслями. Непрочный огонь пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет.

Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом, в тишине, ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут — Петлюра тут. «Пэтурра́, Пэтурра́»,— слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тафтой.

Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно.

— Петлюра, это так дико... В сущности, совершенно пропащая страна,— пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился: — Что же я мечтаю? Ведь, чего доброго, сюда нагрянут?

Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках

остались две серебряных потемневших полоски с гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев и спалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещенье мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились...

Возник существенно важный вопрос в турбинской голове — как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же, как Турбин, отставший, прибежит,— ан укрыться-то и негде будет! Турбин открыл крючок. Потом его обожгла мысль: паспорт? Он ухватился за один карман, другой — нет. Так и есть! Забыл, ах, это уже скандал. Вдруг нарвешься на них? Шинель серая. Спросят — кто? Доктор... а вот докажи-ка! Ах, чертова рассеянность!

«Скорее»,— шепнул голос внутри.

Турбин, больше не раздумывая, бросился в глубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.

## 11

Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через весь Город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом — в небе, по крышам, по стенам — гремели пулеметы.

Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался — что делать дальше? Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета, у обочины тротуара. Юнкера настороже-

но глядели вдаль, подымая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет?

Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и «подкрепить его». Никакого отряда не было. Даже и следов его не было.

Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя: «Не страшно?» — «Нет, не страшно»,— отвечал бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто: плывет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. «Кого хоронят, миленькие?» — «Унтер-офицера Турбина...» — «Ах, какой красавец...» И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть. Лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться.

— Ждать будем здесь,— сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют?

*

И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы, и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны.

«Обошли?» — грянуло в Николкиной голове, он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои.

Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток, мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно, задыхаясь, кричал:

— Бегите, бегите с нами! Спасайся кто может!

Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем»,— закричал своим пронзительным голосом:

— Не сметь вставать! Слушать команду!!

«Что они делают?» — остервенело подумал Николка.

Константиновцы — их было человек двадцать,— выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же Фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери, и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по Фонарному и исчезли вдали.

Наконец на перекресток выскочил последний бежавший, в бледных золотистых погонах на плечах. Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Най-Турса.

— Господин полковник! — смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка.— Ваши юнкера бегут в панике.

И тут произошло чудовищное. Най-Турс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены

к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Най-Турс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Най-Турса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени, так стремительны были поступки полковника Най-Турса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять верст и, уж наверно, по всему городу.

— Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай погоны, кокагды, подсумки, бгосай огужие! По Фонагному пегеулку сквозными двогами на Газъезжую, на Подол! На Подол!! Гвите документы по догоге, пгячьтесь, гассыпьтесь, всех по догоге гоните с собо-о-ой!

Затем, взмахнув кольтом, Най-Турс провыл, как кавалерийская труба:

— По Фонагному! Только по Фонагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом магш!

Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны, подсумки полетели на снег, винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По Фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на Разъезжую улицу, убегали юнкера.

Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел:

— Оглох? Беги!

Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло.

— Не желаю, господин полковник,— ответил он су-

конным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.

Вдали, там, откуда прибежал остаток Най-Турсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвия серых шашек у них в руках. Най-Турс сдвинул ручки, пулемет грохнул — ар-ра-паа, стал, снова грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома, другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.

Най-Турс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал:

— Ребят! Ребят!.. Штабные стегвы!..

Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы:

— Удигай, гвупый мавый! Говогю — удигай!

Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все, потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой:

— А, чегт!

Николка повернулся за ним и увидел, что далеко, еще далеко на Кадетской улице, у чахлого, засыпанного снегом бульвара, появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Най-Турса и Николки, на углу Фонарного переулка:

Зубной врач
Берта Яковлевна
Принц-Металл

хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Най-Турса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Най-Турс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Най-Турс оказался лежащим у ног Николки.

Николкин мозг задернуло черным туманцем, он сел на корточки и, неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу.

— Господин полковник, господин...

— Унтег-цег,— выговорил Най-Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабея на каждом слове,— бгосьте гегойствовать, к чегтям, я умигаю... Мало-Пговальная...

Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно, словно Най давился, потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой.

«Так умирают? — подумал Николка.— Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают...»

Зуб...

...врач,—

затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» — в смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. Но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» — думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества, что, если бы был сейчас на ногах полковник Най-Турс, никакого бы страха не было... Но полковник Най-Турс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как *сумасшедшая*. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один... И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Най-Турсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь, наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят... Я буду стрелять, если в кольте есть патроны... И всего-то полтора шага... подтя-

нуться, подтянуться... раз... и Николка за стеной в Фонарном переулке.

«Удивительно, страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо. Это уж чудо господа бога,— думал Николка, поднимаясь,— вот так чудо. Теперь сам видал — чудо. Собор Парижской богоматери. Виктор Гюго. Что-то теперь с Еленой? А Алексей? Ясно — рвать погоны, значит, произошла катастрофа».

Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли, Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный, скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой, сообразил, что сквозной проход посредине, скользя, бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый, в бараньей шапке, Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже. Он меня схватил, ненавидит!.. Петлюровец...»

— Ах ты, наволочь! — сипло закричал рыжебородый и запыхтел.— Куды? Стой! — потом вдруг завопил:— Держи, держи. Юнкерей держи. Погон скинул, думаешь, сволота, не узнают? Держи!

Бешенство овладело всем Николкой, с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидал. У рыжебородого не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольтом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы были патроны». Голоса своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен.

— Убью, гад! — Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на

колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею:

— А! Ваше благородие! Ваше...

Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь, с колен садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся, и Николка увидал, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на Разъезжую и возле них впал в отчаяние. «Конечно. Опоздал. Попался. Боже, и не стреляет». Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили Най-Турсовы юнкера, запер ворота на Разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда — гладкая доверху, глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидал на брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» — подумал он, и при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка: Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. «Э, Нат Пинкертон, Америка... а я вот влезу и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник созовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст... Зубы я ему расколотил... Не простит!»

И точно. Из-под ворот в Фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника: «Сюды! Сюды!» — и копытный топот. Николка понял: вот что — конница Петлюры заскочила с фланга в Город. Сейчас она уже в Фонарном переулке. То-то Най-Турс и кричал... на Фонарный возвращаться нельзя.

Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под

ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю, в ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил: «Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия».

Черт. И тут ворота на Разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха, по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе в черном окне из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам.

О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка. Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на Разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. «Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет»,— думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Да... документы...» Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади, со стороны того перекрестка, на котором он оставил Най-Турса, загремел пулемет и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки, оттуда, из Города. Вот оно что. Город захватили. В Городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу?

Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей Разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы: Лубочицкая на Подол и

Ловская, уклоняющаяся в центр Города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с синими пятнами на папахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «Пэтурра, Пэтурра». Из кулька, в левой руке дамы, сквозь дыру, сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал:

— Господисусе! Володька, Володька! Петлюра идет!

В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал.

А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно, и некий, в котиковом воротнике, проскочил мимо Николки и завыл в ворота:

— Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!

В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал:

— Петлюра идет. Петлюра!

Чем дальше убегал Николка на спасительный Подол, указанный Най-Турсом, тем больше народу летало, и суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.

У самого спуска на Подол из подъезда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем Городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом:

— Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.

Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже, между двумя дверями, внушил:

— Говорю вам, прячьтесь. Я — юнкер. Катастрофа. Петлюра Город взял.

— Как это так взял? — спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны.

— А вот так,— ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего Города, добавил: — Слышите? Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите.

Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый.

На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего Города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час четырнадцатого декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек.

Путь Николки был длинен. Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей

улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах.

— Васька, Васька, как я задницей об тумбу! — кричал маленький.

«Катаются мирно так»,— удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом:

— Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?

Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос:

— Офицерню бьют наши.

Николка исподлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердито:

— С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска.

Он повернулся и потащил салазки.

*

Сразу распахнулась кремовая штора — с веранды в маленькую столовую. Часы... тонк-танк...

— Алексей вернулся? — спросил Николка у Елены.

— Нет,— ответила она и заплакала.

*

Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа... сидит Анюта и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче... В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами.

Болботун... полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это не кто иной, как великий князь

Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать — это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, восемьсот тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на смерть...

Откуда же взялась эта страшная армия?.. Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе... Ах, страшная страна Украина! ...Туманно... туманно...

Елена встала и протянула руку.

— Будь прокляты немцы. Будь они прокляты. Но если только бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы, будут.

Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль.

— Может, он еще и жив? — робко спросил он.— Видишь ли, все-таки он врач... Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен.

— Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы,— говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами.

«Эх, эх... Болботун не может быть великий князь. Восемьсот тысяч войска не может быть и миллиона тоже... Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо. Ну нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный! Сзади за руку».

*

И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался.

— Ты слышишь? слышишь? слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь?

Кто? Ведь не могут же они стрелять по Городу если они его уже взяли.

Елена сложила руки на груди и сказала:

— Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умоляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума.

— Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол.

— Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту — иди.

Николка смутился.

— Ну, тогда я выйду только во двор послушаю.

— И я с тобой.

— Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парадного звонка не услышим?

— Да, не услышим. И это ты будешь виноват.

— Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?

— Честное слово.

— Иди.

*

Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918 года и застилал Город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в девять часов вечера. Стреляли они только четверть часа.

Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай...»

Но пушки смолкли.

«Это были наши пушки»,— горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась беленькая шторка, и

видно было: Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.

*

В глубоких снегах, верстах в восьми от предместья Города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.

Кругом капитана, верст на пять, не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега.

Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около девяти вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух:

— С ума сойду. В сущности, следовало бы застрелиться.— И, словно в ответ ему, запел телефон.

— Это шестая батарея?— спросил далекий голос.

— Да, да,— с буйной радостью ответил капитан.

Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим:

— Откройте немедленно огонь по урочищу...— Далекий смутный собеседник квакал по нити,— ураганный...— Голос перерезало.— У меня такое впечатление...— И на этом голос опять перерезало.

— Да, слушаю, слушаю,— отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза.

— Я не могу открыть огня,— сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог.— Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на Пост.

Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. Четыре мрачных и страшных пушки уже

заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь, в снежной тьме, первый замок. Хотел бросить его в колодезь за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще три раза и все четыре замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу. Часа два он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в Город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками, сняли с него сапоги и часы.

Тот же голос возник в трубке телефона в шести верстах от сторожки на запад, в землянке.

— Откройте... огонь по урочищу немедленно. У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на Город.

— Слушаете? слушаете?—ответили ему из землянки.

— Узнайте на Посту...—перерезало.

Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ:

— Беглым по урочищу... по коннице...

И совсем перерезало.

Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров были возле орудий у фонаря, который метель старалась погасить. Через пять минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на пятнадцать кругом, донесли до дома № 13 по Алексеевскому спуску... Господи, дай...

Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот.

Последними словами командира были:

— Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков.

*

Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом:

п. Турс, 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня

«Най» откинул для конспирации, на случай, если придут с обыском петлюровцы.

Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал:

— Ты спи, я не буду спать.

И сейчас же после этого заснул как мертвый, одетым, на кровати. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал.

*

Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж одиннадцать часов, а все спится и спится... Оригинально спится, я вам доложу! Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.

Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист... Свист!.. Снег и паутина какая-то... Ну, кругом паутина, черт ее дери! Самое главное пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И, чего доброго, окутает так, что и не выберешься! Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться, и поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... Ти-ки-тики, тики, тики! Фью. Фи-у! Тики! Тики. Фу-ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!!»

— Эх! — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал.

— Кто? Кто? Кто? — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая.

— Кто. Кто, кто, кто, кто, так! так! Фи-ти! Фи-у! Фьюх! — ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез:

— Да, с любовником!

Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах-галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубо-

чайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо...

«Это я еще не проснулся»,— сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала и затарахтела.

— Николка! — где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге.

«Господи Иисусе,— подумал Николка,— нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю отчего — от военного переутомления. Боже мой! И вижу уже чепуху... а пальцы? Боже! Алексей не вернулся... ах, да... он не вернулся... убили... ой, ой, ой!»

— С любовником на том самом диване,— сказало видение трагическим голосом,— на котором я читал ей стихи.

Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке:

— Да-с, на этом самом диване... Они теперь сидят и целуются... после векселей на семьдесят пять тысяч, которые я подписал не задумываясь, как джентльмен. Ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются!

«О, ей, ей»,— подумал Николка. Глаза его выкатились и спина похолодела.

— Впрочем, извиняюсь,— сказало видение, все более и более выходя из зыбкого, сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело,— вам, вероятно, не совсем ясно? Так не угодно ли, вот письмо — оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен.

И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном небесном листке было написано:

«Милая, милая Леночка! Я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он

все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей! Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать,— я слишком взволнована, и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу!»

После этого стояла неразборчивая подпись.

— Я птицу захватил с собой,— сказал неизвестный, вздыхая,— птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать — птица уж, во всяком случае, никому не делает зла.

Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: «Неприлично... спросить, как его фамилия?.. Удивительное происшествие...»

— Это канарейка? — спросил он.

— Но какая! — ответил неизвестный восторженно.— Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенар. Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?

— Пожалуйста,— ответил Николка.— Вы из Житомира?

— Ну да,— ответил неизвестный,— и, представьте, совпадение: я прибыл одновременно с вашим братом.

— Каким братом?

— Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной,— ответил удивленно неизвестный.

— Какой брат? — жалобно вскричал Николка.— Какой брат? Из Житомира?!

— Ваш старший брат...

Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: «Николка! Николка! Илларион Ларионыч! Да будите же его! Будите!»

— Трики, фит, фит, трики! — протяжно заорала птица.

Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.

Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!»

Через три минуты Николка в сдвинутой на затылок студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...» Птица оглушительно стучала у него в голове — кити, кот, кити, кот!

Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый, с засученными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:

— Помолчите, коллега...

Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом.

— Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть,— сказал остробородый.

Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки.

— Совсем раздевайте и сейчас же в постель,— говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то, краснея, на растерзанную Елену — капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.

Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут неизвестный принял участие: он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги.

В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой...

— Что вы, ей-богу,— сказал он,— с врача? Тут поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо...

— Нельзя,— донесся слабый голос Турбина,— нельзя в госпит...

— Помолчите, коллега,— отозвался доктор,— мы и без вас управимся. Да, конечно, я сам понимаю... Черт знает что сейчас делается в городе...— Он кивнул на окно.— Гм... пожалуй, он прав: нельзя... Ну, что ж, тогда дома... Сегодня вечером я приеду.

— Опасно это, доктор? — заметила Елена тревожно.

Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз, крякнул и, покрутив бородку, ответил:

— Кость цела... Гм... крупные сосуды не затронуты... нерв тоже... Но нагноение будет... В рану попали клочья шерсти от шинели... Температура...— Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: — Полный покой... Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть — жидкое... ну, бульон дадите... Пусть не разговаривает много...

— Доктор, доктор, я очень вас прошу... он просил, пожалуйста, никому не говорить...

Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал:

— Да, это я понимаю... Как это он подвернулся?..

Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.

— Ладно,— буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 12

В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на стеклянную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подуш-

ке — лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь.

— Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала...

— Знаю, знаю... Ты не говори, Алеша, много.

— Сам знаю... Я тихонько... Ах, если рука пропадет!

— Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто-то этой дамы у нас пока будет?

— Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... Слышишь? Вообще, ради бога, не пускай его никуда.

— Дай бог ей здоровья,— искренне и нежно сказала Елена,— вот, говорят, нет добрых людей на свете...

Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:

— Да, позвольте, а что это за головастик?

Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами.

— Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две, не больше, явление: Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик.

— Ну?..

— Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.

— Птица какая-то, бог его знает...

Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели:

— Что птица!.. Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть.

— Жи-ить?..

— Ну да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось.

— Ну вот. Я уж не знаю, как быть...

В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя

Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст — взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что и очень возможно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить,— пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы — испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это хамство и мещанство,— сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик...

Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутноголубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.

— Нету кожи в Житомире,— растерянно говорил Лариосик,— понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...

Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:

— Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз. Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться? Меня, безусловно, следует убить за сервиз. Я ужасный неудачник,— отнесся он к Николке.— И сейчас же в магазины,— продолжал он Елене.

— Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?

— Как же не знать! — воскликнул Лариосик.— Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

— Из какой телеграммы? — спросила Елена.— Мы никакой телеграммы не получили.

— Как? — Лариосик открыл широкий рот.— Не получили? А-га! То-то я смотрю,— он повернулся к Николке,— что вы на меня с таким удивлением... Но поз-

вольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

— Ц...ц... Шестьдесят три слова! — поразился Николка.— Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.

— Как же теперь быть? — огорчился Лариосик.— Вы разрешите мне у вас?..— Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.

— Все устроено,— ответила Елена и милостиво кивнула,— мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье...

Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой.

— Елена Васильевна! — с чувством сказал он.— Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по три и четыре ночи подряд.

— Спасибо, большое спасибо.

— А теперь,— Лариосик обратился к Николке,— не могу ли я у вас попросить ножницы?

Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке:

— Впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...

В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:

— Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание.

— Почему же такая спешность,— краснея, спросила Елена,— это можно было бы и после...

Лариосик горячо запротестовал:

— Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю! — Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман.— Да оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы...

Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика.

«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала,— подумала она,— вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. Сервиз безумно жаль».

«Вот тип»,— думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.

— Здесь восемь тысяч,— говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком,— если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.

— Нет, нет, потом, отлично,— ответила Елена.— Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю? — Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.

Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания.

— Это кошмар! — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве.— Я ведь девять дней... нет, виноват, десять?.. позвольте... воскресенье, ну да, понедельник... одиннадцать дней ехал от Житомира!..

— Одиннадцать дней! — вскричал Николка.— Видишь! — почему-то укоризненно обратился он к Елене.

— Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, ну, господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...

— Синие? — спросил Николка с любопытством.

— Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы тебя сейчас расстреляем! Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.

— Курицкому? — многозначительно воскликнул Николка.— Тэк-с,— кот... и кит. Знаем.

— Кити, кот, кити, кот,— за дверями глухо отозвалась птичка.

— Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой! Я тут начинаю богу молиться. Думаю, все пропало! И, знаете ли? птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый-птицевод, показываю птицу... Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так

нагло — иди себе, бисов птицевод. Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете...

— Еле...— глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.

*

Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни — половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.

На лице у Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами «Мало-Провальная...», словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие: Петлюра взял Город. Тот самый Петлюра и, поймите! — тот самый Город. И что теперь будет происходить в нем, для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа — всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу — это раз. Преступники-генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти — это два. Но, кроме ужаса, нарастает и жгучий интерес — что же, в самом деле, будет? Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в Городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя — Петлюра? Кто он такой? Почему?.. Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлаевского, и Карася можно считать кончеными.

Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей

кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой.

— Мало... Провальная...— шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Най-Турса, рыжего Нерона и Мышлаевского. И как только последний образ, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без двадцати пяти пять — час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном — дрень... дрень...

— Неси лед,— сказала Елена, открывая дверь в кухню.

— Сейчас, сейчас,— торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал.

— Анюта, милая,— заговорила Елена,— смотри никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни бог, что он против них воевал, будет беда.

— Я, Елена Васильевна, понимаю. Что вы! — Анюта тревожными, расширенными глазами поглядела на Елену.— Что в городе делается, царица небесная! Тут на Боричевом Току, иду я, лежат двое без сапог... Крови, крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без шапок... У меня и ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила...

Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее косо поехали на пол сковородки...

— Тише, тише, ради бога,— молвила Елена, простирая руки.

На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу — ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного одиннадцатидневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно — Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно.

Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и

обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате.

— У вас очень открытое лицо, располагающее к себе,— сказал вежливо Лариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах.

— Боже мой! — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо.— Что же это со мной делается?! До чего мне не везет!.. Вам очень больно? Простите меня, ради бога.

Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной воды из крана.

После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же на открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать и застелилась постель и возле нее стоял стул и на спинке его висело полотенце, а на сидении среди всяких необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос, спичек, часов — утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться — за «Посмертные записки Пиквикского клуба» или за «Русский вестник» 1871 года. Стрелки стояли на двенадцати.

Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать

раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг.

Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три часа в спальне Турбина он показал 39,6. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.

В пять часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели.

— Тридцать девять и шесть... здорово,— говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы.— Та-ак... Все может быть... Но, во всяком случае, практике конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то что я без руки...

— Алеша, молчи, пожалуйста,— просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло... Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех — Елены, Николки и Лариосика,— ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый

просил — «пить». То Николкино, то Еленино, то Ларисиково лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали как у Елены — ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую — свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно — и смотрел на часы. Тонкрх... тонкрх...— сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то девять, то девять с четвертью, то девять с половиной...

— Эх, эх,— вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, отвернув белые занавески, через балконную дверь на улицу... «Чего доброго, не струсил бы врач... не придет...» — думал он. Улица, кривая и крутая, была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасна. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани. Но редко... Николка соображал, что придется, пожалуй, идти... И думал, как уломать Елену.

— Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши... Молчи, пожалуйста... Пойми, у тебя юнкерская физиономия... А Лариосику дадим штатское Алешино... И его с дамой не тронут...

Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному и пошел надевать штатское платье.

Нож совсем пропал, но жар пошел гуще — поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.

— А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся. Серый? — вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно.— Это неприятно... Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать да посадить, в тепле и опомнились бы.

— Что ты, Алеша? — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина.— Птица? Какая птица?

Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая

руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат... Но это было лишнее — птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.

— Неприятно... ох, неприятно,— беспокойно говорил Турбин, глядя в угол,— напрасно я застрелил его... Ты слушай...— Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла...— Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак?.. Я, конечно, беру на себя вину... Все пропало и глупо...

— Да, да,— тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал:

— Уберите тогда!..

— Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит,— тревожно зашептал Елене Лариосик.

Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то...» Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат: часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую.

— Что, как Алексей Васильевич? — спросила она.

— Бредит,— с глубоким вздохом ответил Николка.

— Ах ты, боже мой,— зашептала Анюта,— чего же это доктор не едет?

Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей:

— Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. Десять часов. На улице совершенно спокойно.

— Подождем до половины одиннадцатого,— качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом,— другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.

Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что! Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе, правое, колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке бог знает сколько. Тянут руку к земле, бечевой режут подмышку. Мортиру убрать

невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению, и бестолковый полковник Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие, сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто... ббрынь... и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей.

— Фу... гадость эту... перестань,— бормотал Турбин.

Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегченья. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась... что с ней?.. на конец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться... А попробуйте жить, если круглая палка врезывается в тело! Нет, нет, нет, они несносны! И как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал:

— Юлия!

Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых очках — настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет — свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном

шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты — рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные, ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый черный, как уголь, Ларион, Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому, что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему — чистым, солидным баритоном били — тонк! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV били на башне — бом!.. Полночь... слушай... полночь... слушай... Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.

Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась, ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.

*

В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди Саардамского Плотника исчезли слова:

Да здравствует Россия...
Да здравствует самодержавие!

Бей Петлюру!

Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял.

— Здорово...— прошептал Николка.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на семьдесят пять тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности... Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Най-Турсов кольт, и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2 ч. 30 м. ночи до 6 ч. 15 м. утра зимой и от 12 часов ночи до четырех утра летом. Все же работа задержалась, благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы «Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом, и, чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие: коробка, со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.

Дело было вот в чем: прятать так прятать!.. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома № 13 подходила к стене соседнего 11-го номера почти вплотную — оставалось не более аршина расстояния. Из дома № 13 в этой стене было только три окна — одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужные (все равно темно), и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы, а стена соседнего № 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное даже с улицы и не доступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11-го номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и двух секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку.

— Ясное дело, надо окно вскрывать,— сказал Николка, слезая с подоконника.

Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса, распухшие рамы не хотели открываться. Но в конце концов все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, причем на Лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло.

— Потушите свет! — скомандовал Николка.

Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя, потому что брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому, что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель. Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший

забор, и, главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна; просунул руку в форточку, и готово: можно потрогать шпагат, как струну. Отлично.

Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ: «Позвольте? Это чья же коробка? Ах, револьверы... наследник?..

— Ничего подобного! Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает кто повесил! С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народу? Так-то-с. Мы люди мирные, никаких наследников...»

— Идеально сделано, клянусь богом,— говорил Лариосик.

Как не идеально! Вещь под руками и в то же время вне квартиры.

*

Было три часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с трех до шести, а с шести до девяти Лариосик.

Говорили шепотом.

— Значит, так: тиф,— шептала Елена,— имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф... Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали... Все расспрашивала — как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.

— Ни, ни, ни,— Николка даже руками замахал,— Василиса такой трус, какого свет не видал! Ежели в случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить.

— Подлец,— сказал Лариосик,— это подло!

В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда

в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери, да и жег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта, а это огонь успокоительный, потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу.

— Брынь...— говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле, а сидели по очереди то Николка, то неизвестный с глазами монгола (не смел буянить вследствие укола), то скорбный Максим, седой и дрожащий.— Брынь...— раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным и больным концом.

Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и, когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал:

— По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по снегу... След оставишь... волки... Бррынь... бррынь...

## 13

«Брынь» в последний раз Турбин услыхал, убегая по черному ходу из магазина неизвестно где находящейся и сладострастно пахнущей духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, отставший, свой, а может быть, и чужие—преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство.

Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно.

Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечно высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу. Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились, присыпанные снегом в жидком сквере, Золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся.

Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность,— ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь,— Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.

Тут он понял, что отчасти томило — внезапное молчание пушек. Две последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе, переулками, на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем, но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к обрыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобилось увидеть, хоть издали, что там возле него творится. И, вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал десять лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо малышевский голос шепнул: «Беги!» Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидать кусок белого бока, насупившиеся

купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки... больше все равно ничего не успел увидеть.

В упор на него, по Прорезной покатой улице, с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко — шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы.

«По-пал»,— отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева.

Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и, что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом, на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро от рокового угла Прорезной, где конфетница «Маркиза».

«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще...» — застучала в висках кровь.

Еще бы немножечко молчания сзади. Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть в стену. Ну-ка... Но молчание прекратилось — его нарушило совершенно неизбежное.

— Стой! — прокричал сиплый голос в холодную спину — Турбину.

«Так»,— оборвалось под ложечкой.

— Стой! — серьезно повторил голос.

Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. Иду, мол, по своим делам... Оставьте меня в покое... Преследователь был шагах в пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью.

— Тю! — крикнул он.— Бачь, Петро: офицер.— Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца.

«Что так-кое? Откуда известно?» — грянуло в турбинской голове, как молотком.

Винтовка второго превратилась вся в маленькую

черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе — ч-чах...

— Стой! Ст... Тримай! — Хлопнуло.— Тримай офицера!! — загремела и заулюлюкала вся Владимирская. Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух.

Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. По-волчьи обернувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы, Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, наддав ходу, он свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь.

Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут и, настигнув, совершенно неизбежно,— убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз — попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, кончено; еще полминуты — и валенки погубят. Все непреложно, а раз так — страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле:

«Седьмая — себе. Еленка рыжая и Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе».

Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за

поворотом, и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно: глуха запертая решетка, вон ворота громады заперты, вон заперто... Он вспомнил веселую дурацкую пословицу: «Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на дно».

И тут увидал ее в самый момент чуда, в черной мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала:

— Офицер! Сюда! Сюда...

Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.

— Бегите сюда. За мной бегите,— шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сараев, и женщина свернула. На правой руке какой-то белый, сказочный многоярусный сад. Низкий заборчик перед самым носом, женщина проникла во вторую калиточку, Турбин, задыхаясь, за ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что там, где-то сзади за их бегом, осталась улица и преследователи. Вот... вот, только что они проскочили за поворот и ищут его. «Спасла бы... спасла бы...— подумал Турбин,— но, кажется, не добегу... сердце мое». Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку...

— Еще... еще немного! — вскрикнула она; левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и бросилась по аллейке. «Ишь лабиринт... словно нарочно»,— очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой Провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное и ледяное сердце

еле шевелится. «Спасла бы, но тут вот и конец — кончик... ноги слабеют...» Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени, под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и, уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым, старым запахом. Во мраке, над головой, очень тускло загорелся огонек, пол поехал под ногами влево... Неожиданные ядовито-зеленые, с огненным ободком, клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу...

*

В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен». Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь,— это она льет и брызжет водой.

— Ради бога,— сказал над головой грудной слабый голос,— глотните, глотните. Вы дышите? Что же теперь делать?

Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина.

«Сердце-то есть? — подумал он.— Кажется, оживаю... может, и не так много крови... надо бороться». Сердце било, но, трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:

— Нет. Сдирайте все и чем хотите, но сию минуту затяните жгутом...

Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи.

Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови»,— извиваясь, при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обра-

щать внимание на головокружение. Она стала снимать френч.

— Ножницы,— сказал Турбин.

Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо-красен и бок. Тут закапало на пол.

— Рвите смелей...

Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал:

— Слава бо... цела кость... Рвите полосу или бинт.

— Есть бинт,— радостно и слабо крикнула она. Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами: — И никого, никого... Я одна...

Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь.

— Сзади есть? — очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.

— Есть,— она ответила с испугом.

— Затяните выше... тут... спасете.

Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу.

Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь...

*

Женщина перевела его так: он стал на колени и правую руку закинул ей на плечо, тогда она помогла ему стать на слабые, дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под вишневым

платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала:

— Коньяк есть у меня... Может быть, нужно?.. Коньяк?..

Он ответил:

— Немедленно...

И повалился на правый локоть.

Коньяк как будто помог, по крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом японский с диковинными букетами халат.

— Ложитесь,— сказала она.

Лег покорно, она набросила на него халат, сверху одеяло и стала у узкой оттоманки, всматриваясь ему в лицо.

Он сказал:

— Вы... вы замечательная женщина.— После молчания: — Я полежу немного, пока вернутся силы, поднимусь и пойду домой... Потерпите еще немного беспокойство.

В сердце его заполз страх и отчаяние: «Что с Еленой? Боже, боже... Николка. За что Николка погиб? Наверно, погиб...»

Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов.

— Вас сейчас же убьют, будьте уверены,— сказала она.

— Тогда... я вас боюсь... подвести... Вдруг придут... револьвер... кровь... там в шинели,— он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась.

— Нет,— решительно сказала она,— нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но вот убрать нужно сейчас же...

Он слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в шкафах...

Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила:

— Он заряжен?

Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил:

— Несите смело, только за ручку.

Она еще раз вернулась и смущенно сказала:

— На случай, если все-таки появятся... Вам нужно рейтузы снять... Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной...

Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие, что, если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой в глубине, было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эполета в раме.

Боже, какая старина!.. Эполеты его приковали... Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна, низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла... Мира нет... Стреляют там...

*

Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки.

— Что вы делаете? Зачем? — спросил он в сердцах.

— Все равно мне нужно было топить,— ответила она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка,— я сама топлю...

— Подойдите сюда,— тихо попросил ее Турбин.— Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы... сделали... Да и чем...— Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась, тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты.

— Если бы не вы,— продолжал Турбин,— меня бы, наверное, убили.

— Конечно,— ответила она,— конечно... А так вы убили одного.

Турбин приподнял голову.

— Я убил? — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение.

— Угу.— Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством.— Ух, как это страшно... они самое меня чуть не застрелили.— Она вздрогнула...

— Как убил?

— Ну да... Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся... Ну, может быть, ранили... Ну, вы храбрый... Я думала, что я в обморок упаду... Вы отбежите, стрельнете в них... и опять бежите... Вы, наверное, капитан?

— Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне — «офицер»?

Она блеснула глазами.

— Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе. Зачем так бравировать?

— Кокарда? Ах, боже... это я... я...— Ему вспомнился звоночек... зеркало в пыли...— Все снял... а кокарду-то забыл!.. Я не офицер,— сказал он,— я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин... Позвольте мне узнать, кто вы такая?

— Я — Юлия Александровна Рейсс.

— Почему вы одна?

Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону:

— Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его тоже. Я одна...— Помолчав, она добавила: — Здесь холодно... Брр... Я сейчас затоплю.

*

Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейсс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершенно неопределенные волосы, не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные глаза. Не понять — красив ли этот неправильный профиль и нос

с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть, и порок... Да, порок.

Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной. Спасительница.

*

Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар,— сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе: — Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь разрушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все равно. Пэтурра... Пэтурра... Осталось одно — чтобы прекратилась боль.

Глубокой же ночью Рейсс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:

— Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем... Ну, если не можете...

Он ответил:

— Нет, я пойду... только вы мне помогите...

Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал:

— Клянусь, я вам этого не забуду... Идите спать...

— Молчите, я буду вам гладить голову,— ответила она.

Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу — в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю

вечность, в огне. Когда он открыл глаза, тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней...

— Наклонитесь ко мне,— сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила:

— Ох, какой жар у вас. Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?

— Не надо,— тихо ответил Турбин,— доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.

— Я так боюсь,— шептала она,— что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу? Не течет больше? — Она неслышно коснулась забинтованной руки.

— Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать.

— Не пойду,— ответила она и погладила его по руке.— Жар,— повторила она.

Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.

— Лежите и не шевелитесь,— прошептала она,— а я буду вам гладить голову.

Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном, как бы не заснуть.

И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул.

*

Утром, около девяти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков — мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на Спуске не было. Только у подъезда № 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.

## 14

Они нашлись. Никто не вышел в расход, и нашлись в следующий же вечер.

«Он»,— отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов... Он... Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка... исчезли усы... Но глаза, даже в полутьме сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный... И меньше ростом стал...

Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту, и очень знакомый голос шепнул:

— Здравствуйте, Анюточка... Вы простудитесь... А в кухне никого нет, Анюта?

— Никого нет,— не помня, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует, губы сладкие стали»,— в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала: — Виктор Викторович... пустите... Елене...

— При чем тут Елена...— укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком,— что вы, Анюточка...

— Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят,— страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского,— у нас несчастье — Алексея Васильевича ранили...

Удав мгновенно выпустил.

— Как ранили? А Никол?!

— Никол жив-здоров, а Алексей Васильевича ранили.

Полоска света из кухни, двери.

В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:

— Витька, ты жив... Слава богу... А вот у нас...— Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину.— Сорок у него... скверная рана...

— Мать честная,— ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок,— как же это он подвернулся?

Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками.

— Вы доктор, позвольте узнать?

— Нет, к сожалению,— ответил печальный и тусклый голос,— не доктор. Разрешите представиться: Ларион Суржанский.

*

Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили — тиф, тиф... и накликали.

— Кроме раны, сыпной тиф...

И ртутный столб на сорока и... «Юлия»... В спаленке красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанье про лесенку и звонок «бр-рынь»...

*

— Здоровеньки булы, пане добродзию,— сказал Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно; глядело чудное белье и галстук бабочкой; на ногах лакированные ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в кармане.— Чому ж це вы без погон?..— продолжал Мышлаевский.— «На Владимирской развеваются русские флаги... Две дивизии сенегалов в одесском порту и сербские квартирь-

еры... Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части»... за ноги вашу мамашу!..

— Чего ты пристал?..— ответил Шервинский.— Я, что ль, виноват?.. При чем здесь я?.. Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи.

— Ты — герой,— ответил Мышлаевский,— но надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, успел уйти раньше... Равно как и его светлость, пан гетман... его мать... Льщу себя надеждой, что он в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?

— Зачем тебе?

— Вот зачем.— Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой.— Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить...

Шервинский побагровел.

— Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста,— начал он,— полегче... Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а остальные на произвол судьбы.

— Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча человек наших, голодные, с пулеметами... Ведь их петлюровцы, как клопов, передушат... Ты знаешь, как убили полковника Ная?.. Единственный был...

— Отстань от меня, пожалуйста!..— не на шутку сердясь, крикнул Шервинский.— Что это за тон?.. Я такой же офицер, как и ты!

— Ну, господа, бросьте,— Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским,— совершенно нелепый разговор. Что ты, в самом деле, лезешь к нему... Бросим, это ни к чему не ведет...

— Тише, тише,— горестно зашептал Николка,— к нему слышно...

Мышлаевский сконфузился, помялся.

— Ну, не волнуйся, баритон. Это я так... Ведь сам понимаешь...

— Довольно странно...

— Позвольте, господа, потише...— Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу

из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто. Как будто в ответ, что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.

— Ну, вещь поразительная,— глубокомысленно сказал Николка,— у Василисы гости... Гости. Да еще в такое время. Настоящее светопреставление.

— Да, тип ваш Василиса,— скрепил Мышлаевский.

*

Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составился военный совет.

Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью, даже с хорошими документами, ходить не к чему. Во-вторых, тут и Елене лучше — то да се... помочь. А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А еще, самое главное, и делать нечего. А вот винт составить можно.

— Вы играете? — спросил Мышлаевский у Лариосика.

Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень, очень плохо... Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора... Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна, и в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира... А он, этот внешний мир... согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен.

— Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете? — спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика.

— Пишу,— скромно, краснея, произнес Лариосик.

— Так... Извините, что я вас перебил... Так бессмыслен, вы говорите... Продолжайте, пожалуйста...

— Да, бессмыслен, а наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами...

— Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в Городе, пожалуй, вы его не найдете... Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим

в таком случае запишем... Впятером именно покойная игра...

— И Николка как покойник играет,— вставил Карась.

— Ну что ты, Федя. Кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь?

— Блакитный петлюровский крап...

— Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами...

— Да храни бог... Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли. Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов...

— И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых пятнадцати страниц римского права... На шестнадцатой странице война началась, он и бросил...

— Врет, не слушайте... Ваше имя и отчество — Ларион Иванович?

Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени, «Ларион», без отчества... Если, конечно, никто ничего не имеет против.

— Как будто симпатичный парень...— шепнул сдержанный Карась Шервинскому.

— Ну, что ж... сойдемся поближе... Отчего ж... Врет: если угодно знать, «Войну и мир» читал... Вот действительно книга. До самого конца прочитал — и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со мной... Карась с Шервинским... Николка, выходи.

— Только вы меня, ради бога, не ругайте,— как-то нервически попросил Лариосик.

— Ну, что вы, в самом деле. Что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные, они вас и напугали. У нас принят тон строгий.

— Помилуйте, можете быть спокойны,— отозвался Шервинский, усаживаясь.

— Две пики... Да-с... вот-с писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик... Жалко, что бросил служить... пас... до генерала бы дослужился... Впрочем, что ж, у него имение было... Можно от скуки и роман написать... зимой делать не черта... В имении это просто. Без козыря...

— Три бубны,— робко сказал Лариосик.

— Пас,— отозвался Карась.

— Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем — четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал...

— Четыре бубны,— подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты.

— Четыре? Пас.

— Пас.

При трепетном стеаринном свете свечей, в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте.

— М-малый в пиках,— скомандовал он и поощрил Лариосика,— молодец.

Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, Карась — не везет — хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверения личности.

— «Папа-мама», видали мы это,— сказал Карась.

Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул:

— Какого же ты лешего мою даму долбанул? Ларион?!

— Здорово. Га-га-га,— хищно обрадовался Карась,— без одной!

Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру.

— Я думал, что у Федора Николаевича король,— мертвея, вымолвил Лариосик.

— Как это можно думать...— Мышлаевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным,— если ты его своими руками купил и мне прислал? А? Ведь это черт знает,— Мышлаевский ко всем поворачивался,— ведь это... Он покоя ищет. А? А без одной сидеть — это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть головой, это же не стихи!

— Постой. Может быть, Карась...

— Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает что такое!.. Вы не сердитесь...

но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили... или Надсон, например.

— Тише, ты. Ну, что налетел? Со всяким бывает.

— Я так и знал,— забормотал Лариосик...— Мне не везет...

— Стой. Ст...

И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал:

— Рановато как будто? А?

— Да, рано,— отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков.

— Открывать идти? — беспокойно спросила Анюта.

— Нет, Анна Тимофеевна,— ответил Мышлаевский,— повремените,— он, кряхтя, поднялся с кресла,— вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь...

— Вместе пойдем,— сказал Карась.

— Ну,— заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом,— тэк-с. Там, стало быть в порядке... У доктора — сыпной тиф и прочее. Ты Лена,— сестра... Карась, ты за медика сойдешь — студента... Ушейся в спальню... Шприц там какой-нибудь возьми... Много нас. Ну, ничего...

Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее.

— Успеется,— сказал Мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.

— Вот это напрасно,— сказал, темнея, Шервинский,— это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?

— Не беспокойся,— серьезно и вежливо ответил Мышлаевский,— устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила... У тебя все в порядке?

— Будь покоен,— строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером.

— Итак,— Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал: — Певец, в гости пришел,— в Кара-

ся,— медик,— в Николку,— брат,— Лариосику,— жилец-студент. Удостоверение есть?

— У меня паспорт царский,— бледнея, сказал Лариосик,— и студенческий харьковский.

— Царский под ноготь, а студенческий показать.

Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.

— Прочие — чепуха, женщины...— продолжал Мышлаевский,— нуте-с, удостоверения у всех есть? В карманах ничего лишнего?.. Эй, Ларион!.. Спроси там у него, оружия нет ли?

— Эй, Ларион! — окликнул в столовой Николка.— Оружие?

— Нету, нету, боже сохрани,— откликнулся откуда-то Лариосик.

Звонок повторился, отчаянный, долгий, нетерпеливый.

— Ну, господи благослови,— сказал Мышлаевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.

— Пасьянс раскладывали,— сказал Шервинский и задул свечи.

Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственно владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей, а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу.

Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул:

— Кто там?

Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился:

— Звонишь, звонишь... Тальберг-Турбина тут?.. Телеграмма ей... Откройте...

«Тэк-с»,— мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке.

— Давайте телеграмму,— сказал он, становясь боком к двери, так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидал, что это действительно телеграмма.

— Распишитесь,— злобно сказал голос за дверью.

Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один.

— Анюта, Анюта,— бодро, выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский.— Давай карандаш.

Вместо Анюты к нему сбежал Карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал: «Тур», шепнул Карасю:

— Дай двадцать пять...

Дверь загремела... Заперлась...

Ошеломленный Мышлаевский с Карасем поднялись вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова:

«Страшное несчастье постигло Лариосика точка Актер оперетки Липский...»

— Боже мой,— вскричал багровый Лариосик,— это она!

— Шестьдесят три слова,— восхищенно ахнул Николка,— смотри, кругом исписано.

— Господи! — воскликнула Елена.— Что же это такое? Ах, извините, Ларион... что начала читать. Я совсем про нее забыла...

— Что это такое? — спросил Мышлаевский.

— Жена его бросила,— шепнул на ухо Николка,— такой скандал...

Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула. Елена побледнела и начала клониться к стене. Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский переменился в лице. Шервинский подхватил Елену, сам бледный... Из спальни Турбина послышался стон.

— Двери... — крикнула Елена.

По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик.

— Это уже хуже,— бормотал Мышлаевский.

За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот.

— Кто там? — загремел Мышлаевский, как в цейхгаузе.

— Ради бога... Ради бога... Откройте, Лисович — я... Лисович!! — вскричал силуэт.— Лисович — я... Лисович...

Василиса был ужасен... Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали вбок. Галстух висел на боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного

шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло, растерянно крикнул:

— Карась! Воды...

## 15

Был вечер. Время подходило к одиннадцати часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица.

Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках.

Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то вполсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка Лебидь-Юрчиков лежала на полу.

— Ты дура,— сказал Василиса жене.

Ванда изменилась в лице и ответила:

— Я знала, что ты хам, уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов.

Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. Он — Василиса, измучен ведь, он, в конце концов, работает, как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался, нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить.

— Делай так, как я говорю,— сквозь зубы сказал Василиса,— пойми, что буфет могут отодвинуть, и что

тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе так делают.

Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу — к столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки.

Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.

Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле.

— Неудобно,— сказала Ванда,— понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.

— И перевернешь, руки не отвалятся,— сипло ответил Василиса,— лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается? Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, всё офицеров ищут.

В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет.

Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстух. Не понимая, что мучает его, Василиса исподлобья смотрел на жующую Ванду.

— Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук,— говорила Ванда, обращая взор к потолку,— я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами...

В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми.

— Удивляюсь тебе,— ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться,— ты прекрасно знаешь, что, в сущности, они поступили правильно. Нужно же комунибудь было защищать город от этих (Василиса понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...

Ванда впилась глазами и закивала головой.

— Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его ранили...

— Ну вот, значит, нечего и радоваться — «сошло, сошло»...

Ванда лизнула губы.

— Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне интересно знать, если, не дай бог, к нам явятся и спросят тебя как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?

Василиса нахмурился и покосился:

— Можно будет сказать, что он доктор... Наконец, откуда я знаю? Откуда?

— Вот то-то, откуда...

На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.

Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:

— Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?

Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.

— Ах, боже мой,— тревожно молвил Василиса,— нет, нужно идти.

Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды, с тревожными, расширенными глазами, выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке.

На мгновенье у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных — кто-нибудь сейчас же вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг: «Ты чего стучал? А? Боишься чего-то?» — и, кроме того, мелькнула, правда, слабая, надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь...

— Кто... там? — слабо спросил Василиса у двери.

Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок.

— Видчиняй,— хрипнула скважина,— из штабу. Та не отходи, а то стрельнем через дверь...

— Ах, бож...— выдохнула Ванда.

Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.

— Скорийш...— грубо сказала скважина.

Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.

— Позвольте узнать... по какому поводу?

— С обыском,— ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным.

— Тогда, извините, пожалуйста,— голос Василисы звучал бледно, бескрасочно,— может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель... не знаю, почему же ко мне? У меня — ничего,— Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал,— нема.

— Ну, мы побачимо,— ответил первый.

Как во сне двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке — смеси русских и украинских слов,— языке, знакомом жителям Города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок.

Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки.

Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти, поверх пухлых, серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — восково-

желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдальчески-злобно.

— Побачимо, побачимо,— повторил волк,— и мандат есть.

С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней.

На скомканном листке — четвертушке со штампом:

Штаб 1-го сичевого куреня

было написано химическим карандашом косо крупными каракулями:

«Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича, по Алексеевскому спуску, дом № 13.

За сопротивление карается растрилом.

Начальник Штабу *Проценко*,
Адъютант *Миклун*».

В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.

Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой:

— Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...

Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула: «Ай». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.

— Хто в квартире? — сипловато спросил волк.

— Никого нету,— ответил Василиса белыми губами,— я та жинка.

— Нуте, хлопцы, смотрите, та швидче,— хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам,— нема часу.

Гигант тотчас тряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.

— Оружие е? — спросил волк.

— Честное слово... помилуйте, какое оружие...

— Нет у нас,— одним дыханием подтвердила тень Ванды.

— Лучше скажи, а то бачил — растрил? — внушительно сказал волк...

— Ей-богу... откуда же?

В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками, легко, игрушечно, сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их... Туп... туп...— глухо постукивала стена. Тук,— отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.

— Що я казав? — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.

— Что же ты, зараза,— заговорил он горько,— що ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост. Казал, нема, а сам гроши в стенку запечатав? Тебя же убить треба!

— Что вы! — вскрикнула Ванда.

С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.

— Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег-то мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы...

Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.

— Тебя заарестовать бы требовалось,— назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели.— Нуте, хлопцы, беритесь за ящики.

Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину.

В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные, следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос: полезли из зеркального шкафа, горбом, одеяла, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.

— Яки гарны ботинки,— сказал он тонким голосом,— а что они, часом, на мене не придутся?

Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул.

— Они шевровые, панове,— сказал он, сам не понимая, что говорит.

Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев.

— Молчи, гнида,— сказал он мрачно.— Молчать! — повторил он, внезапно раздражаясь.— Ты спасибо скажи нам, що мы тебе не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ. Ты молчи,— продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами.— Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди ходют? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл. У-у, матери твоей,— в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху, он дернул рукой. Ванда вскрикнула: «Что вы...» Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака.

«Вот так революция,— подумал он в своей розовой и аккуратной голове,— хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно....»

— Василько, обувайсь,— ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезали на серые, толстые чулки.— Выдай

казаку носки,— строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике, рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису — не скажет ли чего,— но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки.

— Дорогая вещь, шевиот...— гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Якись бумажки, берите, пане, може, нужные». Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры.

Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.

— Часы нужная вещь. Без часов — як без рук,— говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе,— ночью глянуть, сколько времени,— незаменимая вещь.

Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе:

— Вы, пане, дайте нам расписку... (Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой.)

— Как? — шепнул Василиса.

— Расписку, що вы нам вещи выдалы,— пояснил волк, глядя в землю.

Василиса изменился в лице, его щеки порозовели.

— Но как же... Я же... (Он хотел крикнуть: «Как, я же еще и расписку?!» — но у него не вышли эти слова, а

вышли другие.) Вы... вам надлежит расписаться, так сказать...

— Ой, убить тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца... Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых. У-у, вижу я, добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке. У, як вдарю...

Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка.— Что вы. Помилуйте... Вася, напиши, напиши...

Волк выпустил инженерово горло, и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине, воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо. Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.

— Как же писать? — спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.

Волк задумался, поморгал глазами.

— Пышить... по предписанию штаба сичевого куреня... вещи... вещи... в размере... у целости сдал...

— В разм...— как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.

— ...Сдал при обыске. И претензий нияких не маю. И подпишить...

Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза:

— А кому?

Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул.

— Пишить: получив... получили у целости Немоляка (он задумался, посмотрел на урода)... Кирпатый и отаман Ураган.

Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться.

В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского.

Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул:

«Ша». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликанья. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь — запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал:

— Холодно буде.

Он надел Василисины галоши.

Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами:

— Вы вот що, пане... Вы молчите, що мы были у вас. Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьють. С квартиры до утра не выходите, за це строго взыскуеться...

— Прощении просим,— сказал провалившийся нос гнилым голосом.

Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса, радостно — на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро, толкаясь. Прогремели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо.

— Боже! Что же это такое?.. Боже. Боже. Вася... Среди бела дня. Что же это делается?..

Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено.

— Вася,— вскричала Ванда,— ты знаешь... Это никакой не штаб, не полк. Вася! Это были бандиты!

— Я сам, сам понял,— бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками.

— Господи! — вскрикнула Ванда.— Нужно бежать скорей, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их. Ловить! Царица небесная! Все вещи. Все! Все! И хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь... А? — Она затряслась, скатилась с

сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине...

— Куда ж, куда?..— спрашивал Василиса.

— Боже мой, в штаб, в Варту! Заявление подать. Скорей. Что ж это такое?!

Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.

*

Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы, Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе.

— Пиши пропало. Это бандиты. Благодарите бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались.

— Боже... что они с нами сделали! — сказала Ванда.

— Они угрожали мне смертью.

— Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу.

— Чисто сделано,— тихонько подтвердил Карась.

— Что же теперь делать?..— замирая, спросил Василиса.— Бежать жаловаться?.. Куда?.. Ради бога, Виктор Викторович, посоветуйте.

Мышлаевский крякнул, подумал.

— Никуда я вам жаловаться не советую,— молвил он,— во-первых, их не поймают — раз.— Он загнул длинный палец.— Во-вторых...

— Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?

— Ну, это вздор,— Мышлаевский нахмурился,— никто не убьет, но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет, а второе,— он загнул второй палец,— ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги... Нуте-с, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там, а они вам, чего доброго, второй обыск устроят.

— Может быть, очень может быть,— подтвердил высокий специалист Николка.

Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонив-

шись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.

— Вот оно, у каждого свое горе,— прошептал он.

— Чем же они были вооружены? — спросил Николка.

— Боже мой. У обоих револьверы, а третий... Вася, у третьего ничего не было?

— У двух револьверы,— слабо подтвердил Василиса.

— Какие, не заметили? — деловито добивался Николка.

— Ведь я ж не знаю,— вздохнув, ответил Василиса,— не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой.

— Цепочка,— вздохнула Ванда.

Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали.

— Неужели? — вскричал Лариосик, вздымая руки.— Это настоящее колдовство!

Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, аль еще что случилось?..» И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз.

Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно нетронут. «Ничего не понимаю»,— в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал наконец снеговую преграду и, весь белый, пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал: вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было.

С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было.

Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову. «А-а»,— закричал он и полез дальше, к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он დополз и ткнул руками, доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно... Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, п-о-нимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне.

Николка, весь белый, вошел в кухню молча.

— Господи, дай хоть почищу...— вскричала Анюта.

— Уйди ты от меня, ради бога,— ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны.— Ларион, дай мне по морде,— обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал:

— Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние?— Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег.

— Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если, даст бог, поправится,— продолжал Николка,— но самое главное... Най-Турсов кольт!.. Лучше б меня убили самого, ей-богу!.. Это бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они с этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать как липочку... Такой уже человек. Эх... Вот какая история. Бери бумагу, Ларион, будем окно заклеивать.

*

Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлаевский и Лариосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка с остервенением вгонял длинные, толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлаевский и Лариосик. На чердаке, над квартирой, со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно.

Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлаевского.

— Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам через черный ход,— говорил Николка, капая со свечи стеарином.

— Ну, брат, не очень-то,— отозвался Мышлаевский,— когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Еще как. Ты, прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. Так-то-с. А вот не пускать, это дело другого рода.

— Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович,— задушевно сказал Василиса.

— Никогда бы не выстрелили,— отозвался Мышлаевский, гремя молотком,— ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли.

Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор.

— Не придут же сегодня, что вы! — говорил Мышлаевский.

— Нет, нет, нет,— вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице,— мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим!.. Что вам стоит? Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!

— Я ни за что не засну,— подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.

— Коньячок есть у меня — согреемся,— неожиданно залихватски как-то сказал Василиса.

— Иди, Карась,— сказал Мышлаевский.

Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны только одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий, славный коньяк Шустова с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил.

— Не полную, не полную,— кричала Ванда.

Василиса отчаянно махнул рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку.

— Ты не забывай, Вася, что тебе вредно,— нежно сказала Ванда.

После авторитетного разъяснения Карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил пять рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она вовсе не так уж дурна»,— думал он, глядя на Ванду.

Затем Карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных: один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что — наверх звонок. И пожалуйста, выйдет открывать Мышлаевский, это будет совсем другое дело.

Карась очень хвалил квартиру: и уютно, и хорошо меблирована, и один недостаток — холодно.

Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами:

— Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать?

Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил:

— Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев... путем насилия... Вы не думайте, чтобы я отрицал революцию, о нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это.

Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание...

— Но согласитесь сами. У нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь что ж такое делается... Мы лишились в течение каких-либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят...

— М-ме, англичане... они, конечно,— пробормотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы.

— ...А тут какой же «твой дом — твоя крепость», когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за семью замками от того, что шайка, вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но, чего доброго, и жизни?!

— На сигнализацию и на ставни наляжем,— не очень удачно, сонным голосом ответил Карась.

— Да ведь, Федор Николаевич! Да ведь дело, голубчик, не в одной сигнализации! Никакой сигнализацией вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация — частный случай, а предположим, она испортится?

— Починим,— ответил счастливый Карась.

— Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И, поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима, напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет, но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно...— Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот...— Самодержавие Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только себе представить... Самодержавие...

«Эк разнесло его»,— думал блаженный Карась.

— М-да, самодержавие — штука хитрая. Эхе-мм...— проговорил он сквозь вату.

— Ах, ду-ду-ду-ду — хабеас корпус, ах, ду-ду-ду-ду... Ай, ду-ду...— бубнил голос через вату,— ай, ду-ду-ду, напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай, ду-ду-ду, и восклицают «многие лета». Нет-с! Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что...

— Крепость Ивангород,— неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе,

— многая лета!

— И Ардаган и Карс,— подтвердил Карась в тумане,

— многая лета!

Реденький почтительный смех Василисы донесся издали.

— Многая лета!! —

радостно спели голоса в Карасевой голове.

## 16

Многая ле-ета. Многая лета.
Много-о-о-о-га-ая ле-е-е-т-а...—

вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского.

Мн-о-о-о-о-о-о-о-о-гая л-е-е-е-е-е-та...—

разнесли хрустальные дисканты.

Многая... Многая... Многая...—

рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор.

— Бачь! Бачь! Сам Петлюра...

— Бачь, Иван...

— У, дурень... Петлюра уже на площади...

Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникадилах потрескивали, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В приделе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей, по гранитным истертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилавки, со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, потом вынесло

вверх один рукав ватной рясы, другой. Взмахивали клетчатые платки, свивались в жгуты.

— Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лютый, позвольте, я вам помогу.

Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена, плыли коричневые лики и таинственные золотые слова, хвосты мело по полу.

— Посторонитесь...

— Батюшки, куда ж?

— Манька! Задавят...

— О ком же? (бас, шепот). Украинской Народной Республике?

— А черт ее знает... (шепот).

— Кто ни поп, тот батька...

— Осторожно...

Многая лета!!! —

зазвенел, разнесся по всему собору хор... Толстый, багровый Толмашевский угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор, в коричневых до пят костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысыми, словно лысыми, головенками дискантов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных, мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.

Из придела выплывали стихари, обвязанные, словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящуюся митру, плыл, семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась бороденка.

— Крестный ход будет. Вали, Митька.

— Тише вы! Куда лезете? Попов подавите...

— Туда им и дорога.

— Православные!! Ребенка задавили...

— Ничего не понимаю...

— Як вы не понимаете, то вы б ишлы до дому, бо тут вам робыть нема чого...

— Кошелек вырезали!!!

— Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю? При чем же здесь попы?

— Выбачайте.

— Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат.

— Тут бы сейчас на базар да по жидовским лавкам ударить. Самый раз...

— Я на вашей мови не размовляю.

— Душат женщину, женщину душат...

— Га-а-а-а... Га-а-а-а...

Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащило к дверям, вертело. Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках на стенах. Через все проходы, в шорохе, гуле несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне работали сосредоточенно, тяжело, продвигая в слипшихся комках человеческого давленого мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа.

— Господи боже мой...

— Иисусе Христе... Царица небесная, матушка...

— И не рад, что пошел. Что же это делается?

— Чтоб тебя, сволочь, раздавило...

— Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные. Вчера купил...

— Отлитургисали, можно сказать...

— На каком же языке служили, отцы родные, не пойму я?

— На божественном, тетка.

— От строго заборонють, щоб не було бильш московской мови.

— Что ж это, позвольте, как же? Уж и на православном, родном языке говорить не разрешается?

— С корнями серьги вывернули. Пол-уха оборвали...

— Большевика держите, казаки! Шпиен! Большевицкий шпиен!

— Це вам не Россия, добродию.

— Ох, боже мой, с хвостами... Глянь, в галунах, Маруся.

— Дур...но мне...

— Дурно женщине.

— Всем, матушка, дурно. Всему народу чрезвычайно

плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте. Что вы, взбесились, анафемы?!

— Геть! В Россию! Геть с Украины!

— Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды, помните, бывало, в двунадесятые праздники... Эх, хо, хо.

— Николая вам кровавого давай? Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся.

— Отстаньте от меня, ради Христа. Я вас не трогаю.

— Господи, хоть бы выход скорей... Воздуху живого глотнуть.

— Не дойду. Помру.

Через главный выход напором перло и выпихивало толпу, вертело, бросало, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел, серебряный с золотом, крестный, задавленный и ошалевший, ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камилавки и митры, хоругви наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком.

Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь, без ладу и складу, вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе, и, забавляясь, поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился. Расплавляло, отпускало душу на покаяние, и черным-черно разливался по соборному двору народушко.

Старцы божии, несмотря на лютый мороз, с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в великий пролет старософийской колокольни, и пели гнусавыми голосами.

Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о Страшном суде, и лежали донышком книзу рваные

картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картузов трепаные гривны.

> Ой, когда конец века искончается,
> А тогда Страшный суд приближается...

Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками.

— Братики, сестрички, обратите внимание на убожество мое. Подайте, Христа ради, что милость ваша будет.

— Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем.

— Молебен будет.

— Крестный ход.

— Молебствие о даровании победы и одоления революционному оружию народной украинской армии.

— Помилуйте, какие же победы и одоление? Победили уже.

— Еще побеждать будут!

— Поход буде.

— Куды поход?

— На Москву.

— На какую Москву?

— На самую обыкновенную.

— Руки коротки.

— Як вы казалы? Повторить, як вы казалы? Хлопцы, слухайте, що вин казав!

— Ничего я не говорил!

— Держи, держи его, вора, держи!!

— Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.

— Дура, Петлюра в соборе.

— Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.

— Слава Петлюри! Украинской Народной Республике слава!!!

— Дон... дон... дон... Дон-дон-дон... Тирли-бом-бом. Дон-бом-бом,— бесились колокола.

— Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди... Слепому... Убогому...

Черный, с обшитым кожей задом, как ломаный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез безногий между ног. Калеки, убогие выставляли язвы на

посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры.

Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь...

Косматые, трясущиеся старухи с клюками совали вперед иссохшие пергаментные руки, выли:

— Красавец писаный! Дай тебе бог здоровечка!

— Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную.

— Голубчики, милые, господь бог не оставит вас...

Салопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокард, пожилые женщины с выпяченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего, красного, зеленого, малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба, черным морем разливались по соборному двору, а двери собора все источали и источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, подтянулся, и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченых древках, хоругви Христа-спасителя и Божьей Матери с младенцем, и поплыли разрезные, кованые, золотые, малиновые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища.

То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам — то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад.

Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия.

В синих жупанах, в смушковых, лихо заломанных шапках с синими верхами шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями, и в тазах на головах, и

коричневая заросль штыков колючей тучей лезла на парад.

Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов. Шли курени гайдамаков, пеших, курень за куренем, и, высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах бравые полковые, куренные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке.

За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками.

Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя, и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар, Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового Болботуна, и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока.

Бо старшины з нами,
З нами, як з братами! —

разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайдамаки, и трепались цветные оседедцы.

Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного, остроусого, на громадной лошади, полковника Козыря-Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику — побили Най-Турсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Козырины взводы, и шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй.

За Козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, золотистыми буквами сверкало на голубом шелке.

Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали: ура... ура...

— Слава! Слава! — кричали с тротуаров.

Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах.

Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами.

— Ото казалы, банды... Вот тебе и банды. Ура!

— Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько!

— Ур-ра...

— Маня, глянь, глянь... Сам Петлюра, глянь, на серой. Какой красавец...

— Що вы, мадам, це полковник.

— Ах, неужели? А где же Петлюра?

— Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы.

— Що вы, добродию, сдурели? Яких послов?

— Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шепотом), в Париже, а, видали?

— Вот вам и банды... Меллиен войску.

— Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть.

— Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает парад.

— Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза.

— Якому президенту?! Чего вы, добродию, распространяете провокацию.

— Берлинскому президенту... По случаю республики...

— Видали? Видали? Який важный.... Вин по Рыльскому переулку проехал у кареты. Шесть лошадей...

— Виноват, разве они в архиереев верят?

— Я не кажу, верят — не верят... Кажу — проехал, и больше ничего. Самы истолкуйте факт...

— Факт тот, что попы служат сейчас...

— С попами крепче...

— Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра...

Гремели страшные тяжкие колеса, тарахтели ящики, за десятью конными куренями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры, катились тонкие гаубицы; сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленая, победная, чинно и мирно ехали ездовые.

Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые кони, крепкие, крутокрупые, и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками.

— Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же это наврали нам. Пятнадцать... бандит... разложение... Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...

Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез наконец в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно:

— Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то звалимся.

— Спасибо,— уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике,— я вот за крюк буду.

— Де ж сам Петлюра? — болтала словоохотливая бабенка.— Ой, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин красавец неописуемый.

— Да,— промычал Николка неопределенно в барашковом мехе,— неописуемый.— «Еще батарея... Вот черт... Ну, ну, теперь я понимаю...»

— Вин на автомобиле, кажуть, проехав,— тут... Вы не бачили?

— Он в Виннице,— гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого черта я валенки не надел. Вот мороз».

— Бачь, бачь, Петлюра.

— Та який Петлюра, це начальник Варты.

— Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Теперь Била Церковь буде столицей.

— А в Город они разве не придут, позвольте вас спросить?

— Придут своевременно.

— Так, так, так...

Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями, четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой, неподвижный Страшкевич на Печерске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страш-

кевича была дырочка, другая, запекшаяся, за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядел остеклевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице редко кто показывался, музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно.

Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий и булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с соломенными венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами, пели стройно и слабо...

А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

— Ой, лышечко!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

— Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры... Я их бачив в погонах!

Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко:

— Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я служащий в банке.

Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках...

Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал ошалевший от ужаса народ. Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном — брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника церковного софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и

откинулся лицом в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади, опять попер народ, зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос: «Кроком рушь!» И ряд за рядом, блестя хвостатыми галунами, тронулся конный курень Рады.

*

Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мятущегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно, и по-прежнему булавой он указывал в дали.

И в это время над гудящей растекающейся толпой напротив Богдана, на замерзшую, скользкую чашу фонтана, подняли руки человека. Он был в темном пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа.

— Петька, Петька. Кого это подняли?..

— Кажись, Петлюра.

— Петлюра речь говорит...

— Що вы брешете... Це простый оратор...

— Маруся, оратор. Гляди... Гляди...

— Декларацию объявляют...

— Ни, це Универсал будут читать.

— Хай живе вильна Украина!

Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысяч-

ной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал солнечный диск и золотил густым, красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул:

— Народу слава!

— Петлюра... Петлюра.

— Да який Петлюра. Що вы, сказились?

— Чего на фонтан Петлюра полезет?

— Петлюра в Харькове.

— Петлюра только что проследовал во дворец на банкет...

— Не брешить, никаких банкетов не буде.

— Слава народу! — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб.

— Тише!

Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь отдаленные барабаны.

— Видели Петлюру?

— Как же, господи, только что.

— Ах, счастливица. Какой он? Какой?

— Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите — едет...

— Що вы провокацию робите! Це начальник Городской пожарной команды.

— Сударыня, Петлюра в Бельгии.

— Зачем же в Бельгию он поехал?

— Улаживать союз с союзниками...

— Та ни. Вин сейчас с эскортом поехал в Думу.

— Чого?..

— Присяга...

— Он будет присягать?

— Зачем он? Ему будут присягать.

— Ну, я скорей умру (шепот), а не присягну...

— Та вам и не надо... Женщин не тронут.

— Жидов тронут, это верно...

— И офицеров. Всем им кишки повыпустят.

— И помещиков. Долой!!

— Тише!

Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце.

— Вы чулы, громадяне, браты и товарищи,— заговорил он,— як козаки пели: «Бо старшины з нами, з нами, як с братами». З нами. З нами воны! — Человек

ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадной волной бант: — З нами. Бо тии старшины з народу, з ним родились, з ним и умрут. З нами воны мерзли в снегу при облоге Города и вот доблестно узяли его, и прапор червонный уже висит над теми громадами...

— Ура!

— Який червонный? Що вин каже? Жовто-блакитный.

— У большаков тэ ж червонный.

— Тише! Слава!

— А вин погано размовляе на украинской мови...

— Товарищи! Перед вами теперь новая задача — поднять и укрепить новую незалежну Республику, для счастия усих трудящих элементов — рабочих и хлеборобов, бо тильки воны, полившие своею свежею кровью и потом нашу ридну землю, мають право владеть ею!

— Верно! Слава!

— Ты слышишь, «товарищами» называет? Чудеса-а...

— Ти-ше.

— Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы,— глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирал руки к густому небу, и все меньше в его речи становилось украинских слов,— и дадим клятву, що мы не зложим оружие, доки червонный прапор — символ свободы — не буде развеваться над всем миром трудящихся.

— Ура! Ура! Ура!.. Интер...

— Васька, заткнись. Что ты, сдурел?

— Щур, что вы, тише!

— Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать — вставай... прокл...

Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на четырнадцатое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура...

— Ладно. Ладно, не буду,— бормотал Щур, въедаясь глазами в светлого человека.

А тот, уже овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал:

— Хай живут Советы рабочих, селянских и казачьих депутатов. Да здравствует...

Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла тень; лицо Богдана вырезалось четко, лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его лбом...

— Га-а. Га-а-а,— зашумела толпа...

— ...Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь...

— Как? Как? Что?! Слава!!

В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий запели «Як умру, то...».

— Ур-ра! — победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем.

— Тримай його! Тримай! — закричал мужской надтреснутый и злобный и плаксивый голос.— Тримай! Це провокация. Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали, що вин казав...

Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой.

— Тримай! — кричал в ответ первому второй тонкий тенор.— Це фальшивый оратор. Бери его, хлопцы, берить, громадяне.

— Га, га, га. Стой! Кто? Кого поймали? Кого? Та никого!!!

Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый Щур в дубленом полушубке и треухе завертелся перед ним с воплем: «Тримай!» — и вдруг гаркнул:

— Стой, братцы, часы срезали!

Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом.

— Кого часы? Где? Врешь — не уйдешь!

Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал, в ту минуту большая, холодная ладонь разом и его нос, и губы залепила тяжелой оплеухой фунта в полтора весом.

— Уп! — крикнул тонкий голос, и стал бледный как смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах:

— Вот он, ворюга, марвихер, сукин сын. Бей его!!

— Що вы?! — взвыл тонкий голос.— Що вы меня бьете?! Це не я! Не я! Це большевика держать треба! О-о! — завопил он...

— Ой, боже мой, боже мой, Маруся, бежим скорей, что же это делается?

В толпе, близ самого фонтана, завертелся и взбесился винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-то вынесло из винта, а впрочем, ничего подобного, оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папахе. И через три минуты винт улегся сам собой, как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана и со всех сторон слушать его лезла, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-мало не в две тысячи человек.

*

В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже схлынул вслед за расходящимся войском, смешливый Щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар.

— Ой, не могу,— загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами,— сдохну со смеху, как собака. Как же они его били, господи Иисусе!

— Не очень-то рассаживайтесь, Щур,— сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды похожий на знаменитого покойного прапорщика и председателя «Магнитного Триолета» Шполянского.

— Сейчас, сейчас,— затормошился Щур, приподнимаясь.

— Дайте, Михаил Семенович, папироску,— сказал второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе.

— Что? Натерпелись?— ласково спросил неизвестный, отогнул полу пальто и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмундштучную немецкую папироску; тот закурил, поставив щитком руки, от огонька на спичке и, только выдохнув дым, молвил:

— Ух! Ух!

Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли.

В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные циркулем и шагу чуть не в сажень.

У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне; немудрено — мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы, глянули на труп капитана Плешко и другой, лежащий ничком, уткнувши в стороны разметанные колени, и, ни звука не издав, прошли мимо.

Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и молвил хрипловатым тенором:

— Видал-миндал? Видал, я тебя спрашиваю?

Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб.

— Сколько жив буду, не забуду,— продолжал высокий, идя размашистым шагом,— буду помнить.

Маленький молча шел за ним.

— Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встретится мне эта самая каналья... гетман...— из-под кашне послышалось сипение,— я его,— высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила путь процессия, направляющаяся к Старо-Городскому участку с каланчой. Путь ей с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все.

Открывалась она стаей мальчишек. Они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова:

— Вы не маете права! Я известный украинский поэт. Моя фамилия Горболаз. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Це неописуемо!

— Бей его, стерву, карманщика,— кричали с тротуаров.

— Я,— отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный,— зробив попытку задержать большевика-провокатора...

— Что, что, что,— гремело на тротуарах.

— Кого это?!

— Покушение на Петлюру.

— Ну?!

— Стрелял, сукин сын, в нашего батько.

— Так вин же украинец.

— Сволочь он, не украинец,— бубнил чей-то бас,— кошельки срезал.

— Ф-юх,— презрительно свистали мальчишки.

— Что такое? По какому праву?

— Большевика-провокатора поймали. Убить его, падаль, на месте.

Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на папахе золотогалунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее; тогда злополучный арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать.

Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, высокий подхватил под руку низенького и зашептал злорадным голосом:

— Так его, так его. От сердца отлегло. Ну, одно тебе скажу, Карась, молодцы большевики. Клянусь честью — молодцы. Вот работа так работа! Видал, как ловко оратели сплавили? И смелы. За что люблю — за смелость, мать их за ногу.

Маленький сказал тихо:

— Если теперь не выпить, повеситься можно.

— Это мысль. Мысль,— оживленно подтвердил высокий.— У тебя сколько?

— Двести.

— У меня полтораста. Зайдем к Тамарке, возьмем полторы...

— Заперто.

— Откроет.

Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской: «Бакалейная торговля», а рядом «Погреб — замок Тамары». Нырнув по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную двойную дверь.

## 17

Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни, цели, связанной с загадочными последними словами распростертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа, и падал, и опять поднимался, и все-таки добился.

На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Ная.

Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну просто немыслимо! Тогда около получаса потерял иззябший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке — к Михайловскому монастырю. От него по Костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крещатик, вниз, а оттуда окольными, нижними путями на Мало-Провальную. И это оказалось невозможным! По Костельной вверх, густейшей змеей, шло, так же как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка, среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега залегший напротив на горах Царский сад, а далее, влево, бесконечные черниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром — белым и важным в зимних берегах.

Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан, есть следы, значит, кто-то бродит по Горке и зимой.

По аллее спустился наконец Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет, и устремился к заветному, искомому месту. «Мало-Провальная, 21». Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.

*

Николка волновался и робел... «Кого же и как спросить получше? Ничего не известно...» Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но наконец зашлепали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней:

— Вам что надо?

— Позвольте узнать... Здесь живут Най-Турс?

Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стекла блеснули.

— Никаких Турс тут нету,— сказала женщина низким голосом.

Николка покраснел, смутился и опечалился...

— Это квартира пять...

— Ну да,— неохотно и подозрительно ответила женщина,— да вы скажите, вам что.

— Мне сообщили, что Турс здесь живут...

Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой... Николка разглядел тут полный, двойной подбородок дамы.

— Да вам что?.. Вы скажите мне.

Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал:

— Я насчет Феликс Феликсовича... у меня сведения.

Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила:

— Вы кто?

— Студент.

— Подождите здесь,— захлопнулась дверь, и шаги стихли.

Через полминуты за дверью застучали каблуки, дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая другая невысокая дама, со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснулся — как же он сообщит... Дама на него устремила упрямый, блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку

еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая.

— Ну, говорите же, ну...— упрямо сказала мать...

Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил:

— Я... я...

Сухонькая дама — мать метнула в Николку взор черный и, как показалось ему, ненавистный и вдруг крикнула звонко, так, что отозвалось сзади Николки в стекле двери:

— Феликс убит!

Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала:

— Убили... Ирина, слышишь? Феликса убили!

У Николки в глазах помутилось от страха, и он отчаянно подумал: «Я ж ничего не сказал... Боже мой!» Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро, быстро подбежала к сухонькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала:

— Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь...— Нагнулась к Николке, спросила: — Да может быть, это не так?.. Господи... Вы же скажите... Неужели?..

Николка ничего на это не мог сказать... Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла.

— Тише, Марья Францевна, тише, голубчик... Ради бога... Услышат... Воля божья...— лепетала толстая.

Мать Най-Турса валилась навзничь и кричала:

— Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду... Жду! — Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться.

*

Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством...

Молчание нарушила наконец молодая — эта самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила:

— Как же он умер?

— Он умер,— ответил Николка самым своим лучшим голосом,— он умер, знаете ли, как герой... Настоящий герой... Всех юнкеров вовремя прогнал, в самый последний момент, а сам,— Николка, рассказывая, плакал,— а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь,— Николка и плакал, и рассказывал в одно время,— мы... только двое остались, и он меня гнал и ругал и стрелял из пулемета... Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон.

— А вдруг его только ранили?

— Нет,— твердо ответил Николка и грязным платком стал вытирать глаза и нос и рот,— нет, его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь.

*

Еще больше потемнело, из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Мария Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое: сестра Ная — Ирина, та толстая в пенсне — хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка.

— У меня с собой денег нет,— шептал Николка,— если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем.

— Я денег дам сейчас,— гудела Лидия Павловна,— деньги-то это пустяки, только вы, ради бога, добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что... Я прямо и не знаю, что и делать...

— Я с ним поеду,— шептала Ирина,— и мы добьемся. Вы скажете, что он лежит в казармах и что нужно разрешение, чтобы его видеть.

— Ну, ну... Это хорошо... хорошо...

Толстая тотчас засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий:

— Мария Францевна, ну, лежите, ради Христа... Они сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит.

— На нарах?..— спросил звонкий и, как показалось опять Николке, ненавистный голос.

— Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне...

— Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут.

— Ах, Марья Францевна, ну что вы говорите... Лежите спокойно, умоляю вас...

— Мама стала совсем ненормальной за эти три дня...— зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку,— а впрочем, теперь все вздор.

— Я поеду с ними,— раздалось из соседней комнаты...

Сестра моментально встрепенулась и побежала.

— Мама, мама, ты не поедешь. Ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу...

— Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина,— раздалось из соседней комнаты,— убили, убили его, а ты что ж? Что же?.. Ты, Ирина... Что я буду делать теперь, когда Феликса убили? Убили... И лежит на снегу... Думаешь ли ты...— Опять началось рыдание, и заскрипела кровать, и послышался голос хозяйки:

— Ну, Марья Францевна, ну, бедная, ну, терпите, терпите...

— Ах, господи, господи,— сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении: «А как не найдем, что тогда?»

*

У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал:

— Вы, может быть, посидите здесь... А... А то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет.

Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила:

— Нет, я с вами пойду.

Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно. Потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа.

Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та — ничего — шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николке Най-Турса, впрочем, сходство мимолетное — у Ная было железное лицо, простое и мужественное, а эта — красавица, и не такая, как русская, а,

пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка.

Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падалью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились.

— Вам что? — спросил человек строго...

— Мы пришли,— заговорил Николка,— по делу, нам бы заведующего... Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно?

— Какого убитого? — спросил человек и поглядел исподлобья...

— Тут вот на улице, три дня, как его убили...

— Ага, стало быть, юнкер или офицер... И гайдамаки попадали. Он — кто?

Николка побоялся сказать, что Най-Турс именно офицер, и сказал так:

— Ну да, и его тоже убили...

— Он офицер, мобилизованный гетманом,— сказала Ирина,— Най-Турс,— и пододвинулась к человеку.

Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Най-Турс, он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол:

— Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно...

Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал...

— Спасибо, барышня,— сказал он и оживился,— найти можно. Только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп.

— А где же профессор?..— спросил Николка.

— Они здесь, только они заняты. Я не знаю... доложить?..

— Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же,— попросил Николка,— я его сейчас же узнаю, убитого...

— Доложить можно,— сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел, и посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал:

— Зайдите сюда.

Николка вошел туда, за ним Ирина Най... Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос. Потом, подавленный, оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлея зеркалами и золотом в свете спущенной лампочки, под зеленым тюльпаном, микроскопы.

— Что вам? — спросил профессор.

Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жрец меньше — какой-то помощник.

Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странно изогнутой — блестящей, и на другие вещи — на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором,— человеческую шею и подбородок, состоящие из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц...

— Вы родственники? — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботики.

— Я его сестра,— сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором.

— Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай... Да, может, он еще и не у нас. В чернорабочую ведь возили трупы?

— Возможно,— отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону...

— Федор! — крикнул профессор...

*

— Нет, вы туда... Туда вам нельзя... Я сам...— робко молвил Николка...

— Сомлеете, барышня,— подтвердил сторож.— Здесь,— добавил он,— можно подождать.

Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты.

— Вы не медик, панычу? Медики, те привыкают сразу,— и, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь, должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху, так, что выпирало из них, были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему:

— Понюхайте, панычу.

Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь — запах нашатыря из склянки.

Как в полусне, Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горящей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой стали на платформу.

Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеваными, в синяках.

— Ну, теперь будем ворочать их, а вы глядите,— сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в сторону. Его мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел.

— Не надо. Стойте,—слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман,—вон он. Нашел. Он сверху. Вон, вон.

Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Най-Турса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху, одна рука соскользнула.

Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно, под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к Николке лицом, и сказал:

— Вы смотрите—он? Чтобы не было ошибки...

Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди, животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови.

— Он,—сказал Николка.

Федор так же под мышки втащил Ная на платфор-

му лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх.

*

В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печальна и строга. При анатомическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу.

Най — обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най — чистый, во френче без погон, Най — с венцом на лбу под тремя огнями, и главное, Най — с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему:

— Сын мой. Ну, спасибо тебе.

И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег, и звезды крестами, и белый Млечный Путь.

## 18

Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И наконец, пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами...

Я за сестру...

Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели

Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно.

Мышлаевский шевельнулся.

— Вот,— сиплым шепотом промолвил он,— все хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил...

Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках.

— Э... черт,— добавил еще Мышлаевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены.— Слушайте, ребята, вы посматривайте... А то...

Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты.

— Плачет Никол,— отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:

— Елена Васильевна, а Елена Васильевна...

— Ах, не бойтесь вы,— донесся глуховато Еленин голос из-за двери,— не входите.

Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места — на стулья под печкой Саардама — и затихли.

Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести сразу, как только он появился шестнадцатого декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей,

сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень, очень опытного и всех поэтому жалеющего человека,— «очень мало». Всем хорошо известно, и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама поняла, что значит — нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин.

Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфарном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.

Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:

— Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.

Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.

Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.

— Безнадежен,— очень тихо сказал на ухо бритому профессор,— вы, доктор Бродович, оставайтесь возле него.

— Камфару? — спросил Бродович шепотом.

— Да, да, да.

— По шприцу?

— Нет,— глянул в окно, подумал,— сразу по три грамма. И чаще.— Он подумал, добавил: — Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода,— такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их,— в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.

*

Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и, молча, положила первый земной поклон.

В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам:

— Помирает...— набрал воздуху.

— Вот что,— заговорил Мышлаевский,— не позвать ли священника? А, Никол?.. Что ж ему так-то, без покаяния...

— Лене нужно сказать,— испуганно ответил Николка,— как же без нее. И еще с ней что-нибудь сделается...

— А что доктор говорит?—спросил Карась.

— Да что тут говорить. Говорить более нечего,— просипел Мышлаевский.

Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит.

— Глухую исповедь...

Шептались, шептались, но не решились пока звать, а к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока... я выйду...»

И они ушли.

Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:

— Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?.. Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?.. Как мы будем вдвоем с Николом?.. Посмотри, что делается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?.. Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?

Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:

— На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя. Умоли сына своего, умоли господа бога, чтоб послал чудо...

Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение — стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.

— Мать-заступница,— бормотала в огне Елена,— упроси его. Вон он. Что же тебе сто́ит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи. Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь — отымай, но

этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он...

Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.

*

По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шепот: «Елена... Елена... Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный, скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуху.

— Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди туда... кажется...

*

Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестрижеными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:

— Кризис, Бродович. Что... выживу?.. А-га.

Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках.

Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.

## 19

Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней. Пролетел над Турбиными закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919 года, подлетел февраль и завертелся в метели.

Второго февраля по турбинской квартире прошла черная фигура, с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными.

В гостиной Турбин, как сорок семь дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и, как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всею тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом и валилась, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга.

Мысли текли под шелковой шапочкой суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел...

«Пэтурра... Сегодня ночью, не позже, свершится, не будет больше Пэтурры... А был ли он?.. Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход... А Шервинский? А, черт его знает... Вот наказанье с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется, всенепременно... А что хорошего? Разве что голос? Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли... Впрочем, не важно. А что важно? Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на папахах... Вероятно, жуть будет в Городе? О да... Итак, сегодня ночью... Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам... Тем не менее я пойду, пойду днем... И отнесу... Брынь. Тримай! Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил... С кем она живет? Где ее муж? Брынь.

Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим... Александр Первый?»

Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торопясь кончить всякие дела засветло.

— Если это пациент, прими, Анюта.

— Хорошо, Алексей Васильевич.

Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную.

— Пожалуйте,— сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

— У меня сифилис,— хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо, и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр.

— Как?

— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?..

— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение,— объяснил посетитель, глядя в небо.— Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что,— сказал Турбин, отбрасывая молоток,— вы человек, по-видимому, религиозный.

— Да, я день и ночь думаю о боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.

— Это, конечно, очень хорошо,— отозвался Турбин,

не спуская глаз с его глаз,— и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею-фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь.

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей,— говорил больной, застегивая рубашку,— злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так,— застонал Турбин,— ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков аггелами? Согласен... Но все-таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день...

— Он молод. Но мерзости в нем как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.

— Троцкого?

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит — губитель.

— Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.

— Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

— У вас, может быть, денег мало,— пробурчал Турбин, глядя на потертые колени: «Нет, он не жулик... нет... но свихнется».

— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там,— больной вдохновенно указал в беленький потолок.— А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя,— бормотал больной, напяливая козий мех в передней,— ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слыхал это... Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...

*

— Вы не откажитесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери...

— Не надо... Зачем это... Я не хочу,— ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованый и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо.

Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола.

— Уходите...— шепнула Рейсс,— пора... Пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули.

— Вы мне милы,— прошептал Турбин.— Позвольте мне прийти к вам еще.

— Придите...

— Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка на столе? Черный, с баками.

— Это мой двоюродный брат...— ответила Рейсс и потупила свои глаза.

— Как его фамилия?

— А зачем вам?

— Вы меня спасли... Я хочу знать.

— Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут Шполянский.

— Он здесь?

— Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.

Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на черные баки и черные глаза... Неприятная, сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя «Магнитного Триолета». Но она была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху... Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Аггелы... Ах, все равно... Но лишь бы прийти еще сюда, в странный и тихий домик, где портрет в золотых эполетах.

— Идите. Пора.

*

— Никол? Ты?

Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным.

— А я, Алеша, к Най-Турсам ходил,— пояснил он и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок.

— Что ж, дело доброе. У него мать осталась?

— И еще сестра, видишь ли, Алеша... Вообще.

Турбин покосился на Николку и более расспросам его не подвергал.

Полпути братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание.

— Видно, брат, швырнул нас Пэтурра с тобой на Мало-Провальную улицу. А? Ну, что ж, будем ходить. А что из этого выйдет — неизвестно. А?

Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь:

— А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В Мало-Провальной?

— Угу,— ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.

Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все — и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного — не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы «Маркизы», ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами.

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачно расспрашивал Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные,— рассказывал Шервинский,— на папахах. Тучей, говорят, идут... Словом, в полночь будут здесь...

— Почему такая точность: в полночь...

Но Шервинскому не удалось ответить — почему, так как после звонка в квартире появился Василиса.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли,— подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. «Счел своим долгом. Честь имею кланяться». Василиса, подпрыгивая, попрощался.

Елена ушла с письмом в спальню...

«Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло. Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елене стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой, серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж, вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные.

— С каким бы удовольствием...— процедил он сквозь зубы,— я б ему по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе,— ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин,— за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение,— продолжал Турбин,— убери ты, к чертовой матери, вот эту штуку,— он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну, что ж... не сердись... не сердись, матерь божия»,— подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый орел», и слышался смех.

## 20

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней.

В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сипло:

— Ух... а...

— А, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренной. — К штабелям его, на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу! Что ты робив за штабелем? Шпион!..

Но окровавленный не отвечал яростному пану куренному. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже «ух»... Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих.

Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост, вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо с играющими звездами.

И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила.

Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через Город и навеки вон.

Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень Козыря-Лешко, проплясала какая-то кухня... потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанные хлопья сена, да конский навоз.

И только труп и свидетельствовал, что Пэтурра не миф, что он действительно был... Дзынь... Трень... гитара, турок... кованый на Бронной фонарь... девичьи косы, метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз... Значит, было.

Он, Гриць, до работы...
В Гриця порваны чоботы...

А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.

Никто.

*

С вечера жарко натопили Саардамские изразцы, и до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с Саардамского Плотника, и осталась только одна:

...Лен... я взял билет на Аид...

Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях.

За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс.

В теплых комнатах поселились сны.

Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль, и император Александр I жег в печурке списки дивизи-

она... Юлия прошла и поманила и засмеялась, проскакали тени, кричали: «Тримай! Тримай!»

Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Провальной, и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном, услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Карася и Лариосика из книжной. Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам.

Было на часиках три.

— Наверно, ушли... Пэтурра... Больше не будет никогда.

И вновь уснул.

*

Ночь расцветала. Тянуло уже к утру, и, погребенный под мохнатым снегом, спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все была чепуха и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи. Грядки покрылись веселыми завитками, и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал:

— Так-то оно лучше... А то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя...

Тут Василисе приснились взятые круглые, глобусом, часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные — у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

*

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром, в самую гущу ночи, и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и щурилось в приднепровские леса. С последней площадки в высь, черную и синюю, целилось широченное дуло в глухом наморднике верст на двенадцать и прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски, не по-человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый, обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет наконец морозный час

пытки и он уйдет с озверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелоны, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневого брюха к темной стене первого боевого ящика, до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня — Малые Чугры. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

— Жилин? — говорил беззвучно, без губ, мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

— Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять.

Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шел-

ком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

*

Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.

..................................................................................................

и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

..................................................................................................

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов:

«...слезу с очей их, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

*

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались.

— Я демон,— сказал он, щелкнув каблуками,— а он не вернется, Тальберг,— и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:

— Жить, будем жить!!

— А смерть придет, помирать будем...— пропел Николка и вошел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи:

— Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

*

И, наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте

за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

*1923—1924 г.*
*Москва*

РАССКАЗЫ

# ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

## НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой — он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно — некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.

### I

### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ — ПРОСТО ВОПЛЬ

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне

сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!........................................................

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени................

К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.

..............................................................................................

## II

## ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

*Вечер ... декабря.*

Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...»

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

— Держи его! Держи!

Я оглянулся — кого это?

Оказывается — меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать,— просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать.

Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

— Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 gr.). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой...............

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это — уж не знаю. Безумно йода жаль.

## III

## НОЧЬ СО 2 НА 3

Происходит что-то неописуемое... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я — доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои

заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

## IV

## ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА

*15 февраля.*

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

*17 февраля.*

Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.

Достал бумажки с 18 печатями [о] том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

*21 февр.*

Меня уплотнили...

*22 февр.*

...И мобилизовали.

*...марта.*

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли под утро...

## V

.................................................................................................

.................................................................................................

## VI

## АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА И САПОГИ

.................................................................................................
.................................................................................................

## VII

Кончено. Меня увозят.
.................................................................................................
.................................................................................................
...Из пушек.........................................................................
...и ......................................................................................

## VIII

## ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ

*Сентябрь.*

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням

...мутный вал.
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.

Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптанными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.

Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

*Ночь.*

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственные тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная, ползучая. Шалит, ругает. Ущелье длинное. В ночных бархатах — неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом, и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

— Поручиться нельзя,— философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок,— заскочуть с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу»! Господи боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя»! Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я!!

Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеватых листах, стены кабинета... Все полетело верхним концом

вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки — спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница...

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Склянка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

## IX

## ДЫМ И ПУХ

*Утро.*

Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.

Взяли Чечен-аул...

И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым уличкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон».

Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.

У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир. Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон — объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.

А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками.

Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов.

Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.

Я всегда говорил, что фельдшер Голендрюк — умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Сижу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.

## X

## ДОСТУКАЛСЯ И ДО ЧЕЧЕНЦЕВ

Жаркий сентябрьский день.

...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.

Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное — ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейсса — ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.

Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180°, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:

— Паршиво.

Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть пророком ..........................................................................

Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.

Поехали наобум.

...Ворон взмыл кверху. Другой вниз. А вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа:

— И веревочка пригодится.

Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны вьются невысоко, покрикивают...

Дальше!

...Цейсс галлюцинирует! Холм, а на холме, на самой вершине,— венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?..

...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.

Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.

*Под вечер.*

Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре... Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.

Глупости. Кони у них — смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.

— Э-хе-хе,— только и произнес Шугаев.

Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свидания, солнышко...

...И чудеса в решете!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают, галдят:

— Та-ла-га-га!

Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят — суну в рот. Так оно лучше. Так научили.

А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль.

— А-ля-ма-мя... Болгатоэ-э!

— Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.

Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:

— Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоэ. А наши-то где? Там?

Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.

Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.

— Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их. Говорят, что наши через Болгатоэ на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!

Глянул — внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейсса видит.

У чечен лица любовные. Глаз с Цейсса не сводят.

— Понравился бинок,— хихикнул Шугаев.

— Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорей колонну!

Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.

— Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они наши! Вон они! Но ежели бы версты две подальше,— он только рукой махнул.

А кругом:

— Гыр... гыр!

Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем...

## XI

## У КОСТРА

Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый

главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше...

## XII

.................................................................................................

## XIII

*Декабрь.*

Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18°. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало внизу. Покатились.

Не помню, как я заснул и как я выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд...

Шугаева жалко. Ногу переломил.

До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых...

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом...

Тень фельдшера Голендрюка встала передо мной... Но куда, к черту! Я интеллигент.

## XIV

## ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ

*Февраль.*

Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.

И сюда накатилась волна.............................................................
.................................................................................................

Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендрюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн-Риду на десять томов. Но я не Майн-Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...

Довольно!

Все ближе море! Море! Море!

.................................................................................................

Проклятие войнам отныне и вовеки!

## КРАСНАЯ КОРОНА

*(Historia morbi)*[1]

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора № 27. Никто не может ко мне прийти. Но, чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

---

[1] История болезни *(лат.)*.

— Господин генерал, вы — зверь. Не смеете вешать людей.

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

* * *

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. «Зуботехническая лаборатория». Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

* * *

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу — безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

— Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо:

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

А я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

* * *

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах, у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля, Коля! — я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые, потные солдаты повернули головы.

— А... брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова.— Стой. Стой здесь,— продолжал он,— у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда, и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи,— говорил я,— молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

* * *

Через час я увидел его. Так же, рысью, он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос, и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне,— сидел неподвижно на взмыленной лошади, и, если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... что ж, брат, доктора. Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

* * *

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз, еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне, значит — мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью.

Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит, значит — я сошел с ума.

* * *

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной — портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке, с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой.

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

* * *

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что

послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в № 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

— Безнадежен.

* * *

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна—старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

---

# КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ

*6 картин вместо рассказа*

## I

## РЕКА И ЧАСЫ

Это был замечательный ходя, настоящий шафранный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года.

Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганые штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша.

Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей — ноздреватый гранит, за гранитом, на откосе, лодка с пробитым днищем, за лодкой — эта самая проклятая река, за рекой — опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города.

Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-прегрязное... и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо, жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шап-

ке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погодя все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег, и вообще ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.

— О-о-о! — что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому не понятном языке.

Ходя зажмурил глаза, и тотчас же всплыло перед ним очень жаркое круглое солнце, очень желтая пыльная дорога, в стороне, как золотая стена,— гаолян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы ходя, маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать, и он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода...

Ходю, как бритвой, резнуло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромные пространства. Ехать — как? Есть — что? Как-нибудь. Китай-са... Пусти ваг-о-о-н.

За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками, на серой длинной башне. Часы поиграли, поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тарахтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении.

## II

## ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Вечером ходя оказался далеко, далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине в двухэтажном домике во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнатке по вонючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пла-

менем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят. Лицо у него было как кора, и глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал — печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передергивал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец.

Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залезал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме ходи, не понятном языке.

Из слов старого китаезы выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было бы так: хлеб — нет. Никакой — нет. Сам — голодный. Торговать — нет и нет. Кокаин — мало есть. Опиум — нет. Последнее старый хитрый китай особенно подчеркнул. Нет опиума. Опиума — нет, нет. Горе, но опиума нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину.

— Что есть? — Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами.

— Есть? — Было, конечно, кое-что, но все такое, от чего лучше и отказаться.— Холодно — есть. Чека ловила — есть. Ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца, негодяй — Настькин сволочь.

Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипенье и клокотание.

— Самогон — есть.

Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, косой свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что это след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски:

— Бандит — есть!

Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа.

Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнатенку, и ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаеза, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка скорбно и недоуменно лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему, старому, все равно. Ленин — есть. Самый главный очень есть. Буржуи — нет, о, нет! Зато Красная Армия есть. Много — есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами — сиди, сиди. За башней? За башней — Красная Армия.

— Домой ехать? Нет, о, нет! Пропуск — нет. Хороший китаец смирно сиди.

— Я — хороший! Где жить?

— Жить — нет, нет и нет. Красная Армия — везде жить.

— Карас-ни...— оторопев, прошептал ходя, глядя в огненные дыры.

Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя, в зыбких тенях и красноватом отблеске сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то.

Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в прикрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламеньком колыхалась на полу, а ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, похожем на золотой, наконечнике багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки, на рваном одеяле, лежал старый китайский хрыч, с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке.

Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов — желтый с чернью и белый. Где был старик — никому не известно.

Ходя же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелку-маятник и гнал ее вправо — тогда часы звенели налево, а когда гнал влево — колокола звенели направо. Прогремев в колокола, Ленин водил ходю на балкон — показывать Красную Армию. Жить — в хрустальном зале. Тепло — есть. Настька — есть. Настька, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громоносную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили наконец на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой — круглое жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.

## III

## СНОВ НЕТ — ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие четыре дня. Известно, что на пятый день постаревший лет на пять ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «цейх № 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе:

— Карас-ни...

И зашагал в неизвестном направлении.

## IV

## КИТАЙСКИЙ КАМРАД

И оказался ходя через два дня после этого в гигантском зале с полукруглыми сводами, на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках, как бы в бельэтаже, а в партере громоздились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный пробег от круглого солнца в столицу колокольных часов:

— Хлеб... пусти вагон... карасни... китай-са...— и еще три слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженой голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно: то давали хлеба, то, наоборот, порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой № 2 с несколько заговорщическим оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот:

— Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!

Возле ходи бушевало, потом стихло, потом ходе сразу дали махорки, хлеба и мутного чаю в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока с остервенением съел три ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем ходя предстал пред некиим человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машины, на ходю взглянул благосклонно, голове, просунувшейся в дверь, сказал:

— Товарищи, ничего любопытного. Обыкновенный китаец...

И немедленно после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, в руку взял перо и спросил:

— Имя? Отчество и фамилия?

Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался.

На лице у некоего человека появилась растерянность.

— К-хэм... ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски? А? Как звать? — он пальцем ткнул легонько по направлению ходи,— имя? Из Китая?

— Китаи-са...— пропел ходя.

— Ну! ну! Китаец, это я понимаю. А вот звать как тебя, камрад? А?

Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переваривались в желудке, давая ощущение приятной истомы.

— Ак-казия,— пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.

Потом он подумал, поглядел на ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:

— Военком приедет сейчас. Ужо тогда.

## V

### ВИРТУОЗ! ВИРТУОЗ!

Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что, как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но, действительно, было исключительно 100% попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами в даль, давил ручки гремевшего «максима» и резал рощу, как баба — жнет хлеб.

— Действительно, черт знает что такое! В первый раз вижу,— говорил пушистоусый, после того как стих раска-

ленный «максим». И, обратившись к ходе, добавил со смеющимися глазами: — Виртуоз!

— Вирту-зи...— ответил ходя и стал похож на китайского ангела.

Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:

— Сукин сын какой-то! — И, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По: — Ему премиальные надо платить.

— Пре-ми-али... палати, палати,— ответил ходя, испуская желтоватое сияние.

Командир громыхнул как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до:

— А фи не хо? — и при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами: «Как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка гордость и виртуоз...»

## VI

## БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатывался дробно и сухо. Ходя, заваленный грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносым пулеметом. Ходино лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди выглядывали из-за кустиков шагах в сорока. Покосившись на пулеметчика, ходя вновь глядел, прищурившись, на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клокочущие события.

Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки и, то принижаясь до самой

земли, то вырастая, ширясь и густея, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево ходи загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за ходей над холмом:

— А-гонь!

И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подыматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, стал... прогремел опять и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади:

— Ходя! Строчи! Огонь! А-гонь!

Сквозь марево и пыль ходя непрерывным ливнем посылал пули во вторую цепь. И тут справа, вдали, из земли выросли темные полосы и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос, осипши, срываясь, прокричал:

— По наступающей ка-ва-лерии...

Гул закачал землю до самого ходи, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент, как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадило бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки, и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода.

Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем, на глазах пораженного ходи, сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновенье. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

— Бро-сай пулемет... чертова китаеза!! — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах,— сдавайся...

— Сдавайся!! — выло и справа, и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. А-р-ра-па-ха! — в последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновенья чудесным образом перед ним, под жарким солнцем, успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарные венчики и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу:

— Премиали... карасни виртузи... палати! Палати!

И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжко размахнувшись штыком, в горло, так, что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

## НАЛЕТ

*(В волшебном фонаре)*

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптанный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами, столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и жар этот уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь,— сказал сверху голос, и Абрам понял, что это — голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене — зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам пугливо и настороженно, стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груду щиты. Совсем близко показался темный, бесфор-

менный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

— Якого полку?—сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался в высь—неба там не было никакого.

— Ну, ты мне заговоришь!—сказало тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услыхал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы; и показалось, что в огне треснула вся голова.

— А... а-га-а,—судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

— Якого?!—визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, вздохнувши, ответил:

— Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

— Тю! Жида взялы!—резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидал кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.

— Жид, жид!—радостно пробурчал ураган за спиной.

— И другой?—жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертва щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал, слабо в шорохе метели:

— У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

* * *

Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высоченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешивались люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папахе, то бренчащий зажеванный, в беловатой пенке, мундштук.

Светились два огня — белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу, на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже и не гудело и не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской,— его били долго и тяжко за дерзость, размолотив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим зрячим багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют,— всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и била рукоятью Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорийше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же, скорей! — сипло вскрикивал Стрельцов,— нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носа так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.

— Он мне посмеется,— ответил бас.

У Абрама сами собой не щекотно и не больно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось,— думал он,— как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится, нечего ждать — конец».

— А ну,— предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал оползать — ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

* * *

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко, над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный, коварный отсвет и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции слабел, а желтоватый, низенький был неизменен. Его первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работал локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

* * *

— Кто же это? Господи, кто? — женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери.— Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен,— настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь.— Ранен я, слышите,— повторил он.

— Ой, лишечко,— ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

* * *

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупо, с шипеньем.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слыхал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел губительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что

было внутри горевшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом, наоборот, холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, в перебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

* * *

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются — загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как ораторствовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

— Теперь Абрам,— сказала Броня,— сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. Ваша очередь, Абрам,— она говорила с запинкой, потому что Абрам единственный, недавний, приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны, коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и

покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамового чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому, на лице всегда сохраняя вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

— Ваша очередь, Абрам,— распорядилась Броня громко, как все говорили с ним,— вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо, все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

— Вот как...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине. А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил стыдливо:

— Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

— Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели не отрываясь на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

# БОГЕМА

## I

## КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС

Как перед истинным богом, скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «грозный призрак»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю — грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:

— Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)

— Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня

посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить — значит, я подозрительный.)

— За насмешки.

— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в $7\,^1/_2$ дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем... вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921—1924 годов и начинаю сомневаться...), ну, не первую,— вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственно, на что я надеюсь,— это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я

гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

---

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

1) В Тифлисе открыты все магазины.

2) —»— есть вино.

3) —»— очень жарко и дешевы фрукты.

4) —»— много газет, и т. д., и т. д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал, черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

— Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал, куда следует, заявление и в графе, в которой спрашивается:

— А зачем едешь?

Написал с гордостью:

— В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый, у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

— Зачем едете?

— Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

— В особый отдел.

— А зачем? — спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

— Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

— Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю,— ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.

1) В 1907 году, получив 1 руб. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф.

2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери.

3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я,— поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно,— задумчиво отозвался симпатичный.

— Да, но вы всмотритесь,— заговорил я,— этот черный как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин, и мне двадцать восемь.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

— Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

— Вы бухгалтер?

— Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь,— скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы,— скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

— Пьесы сочиняете?

— Да. Приходится.

— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

— Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:

— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой:

— Проводи литератора наружу.

---

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но забудь!!!

## II

## ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое

слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».

— Возьмите меня с собой,— попросил я.

— Не возьму,— ответил бородатый.

— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы,— сказал я.

— Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

— А какая пьеса? — спросила она.

— Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец теплушки.

— Еще Гензулаев.

— Не знаю такого.

— Мне необходимо уехать.

— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.

— Я не буду выкомаривать,— сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное,— на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

— У вас провизии нету?

— Денег немного есть.

Бородатый подумал.

— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

— Все что угодно,— уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

— Фельетон — моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын,— басом сказали ноги,— я пущу товарища фельетониста.

— Ну, пусти,— растерянно сказал Федор с бородой.— А какой фельетон вы напишете?

— Вечные странники.

— Как будет начинаться?— спросили нары.— Да вы полезайте к нам чай пить.

— Очень хорошо — вечные странники,— отозвался Федор, снимая сапоги,— вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

---

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!

## ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

### Часть первая

### I

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой: «Фью-ю!»

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель:

— Тэкс. Тэкс!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. Finita la comedia!

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

— Стойте! — завопил я, опомнившись, — стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолка? Нет, не то... Ах да.

Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

— Мишуня, поставьте термометр!

— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?!. А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

— Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

— С ума сошли!..

Пышет жаром утес и море и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустяшная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе

некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы... А потом — голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной воеводе победительная!..

Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

— Ла-рисса Леонтьевна, где мо-наш-ки?!

— ...Бредит... бредит, бедный!..

— Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...

— Мишуня, нельзя читать!..

— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

— Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки, канашки мои!..

— Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я дол-жен был быть у него... Пой-мите!

— Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно

доползти. А там напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

— Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!

— Сейчас, сейчас!..

— А-ах, теплая, дрянная!

— ...ужасно. Опять сорок и пять!

— ...пузырь со льдом...

— Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ларочк-а-а! Достаньте!..

— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна ..........................................................
..........................................................................................

## II

## ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызанный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.

— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!

— Ка-кая разница?

— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши когда грабят, то... они грабят. А осетины — грабят и убивают...

— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

— Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

— Я не вол-нуюсь...

— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!

— Что? Пустяки?

— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать!

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

— Подотдел искусств откроем!

— Это... что такое?

— Что?

— Да вот... подудел?

— Ах нет. Под-от-дел!

— Под?

— Угу!

— Почему под?

— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаробраз, или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

Взметнулась хозяйка.

— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...

— Вздор! — строго сказал Юра, — вздор! И все эти мингрельцы, имери... Как их? Просто дураки!

— Ка-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...

— А что с нами? Бу-дет?

— Пустяки. Мы откроем...

— Искусств?

— Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

— Не по-ни-маю.

— Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

— Потом объясню! Все будет! Я уж заведывал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!

— А жить?

— Деньги за ковер будем бросать!

— За какой ковер?..

— Ах, это у меня в том городишке, где я заведывал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

— А я?

— Ты завлито будешь. Да.

— Какой?

— Мишуня! Я вас прошу!..

## III

## ЛАМПАДКА

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

— О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

— Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

— Ма-а-ма. Ма-а-ма!

## IV

## ВОТ ОН — ПОДОТДЕЛ

Солнце. За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами; колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на машинках громко стучат, то курят.

Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

— Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням — страх не свойственен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

— Завлито?

— Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута, и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.  
В сердце бьется динамо-снаряд.  
Та, та, там.

Стишки — ничего. Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

## V

## КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так было дело:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках; да, с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк, в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень...

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

— Выступайте оппонентом?

— Не хочется!

— У вас нет гражданского мужества.

— Вот как? Хорошо, я выступлю!

И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил он:

Клевету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

— Дожми его! Дожми!

.................................................................................................

О, пыльные дни! О, душные ночи!..

И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке — его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду, как червяк.

## VI

## БРОНЗОВЫЙ ВОРОТНИК

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!.. ..................................................

## VII

## МАЛЬЧИКИ В КОРОБКЕ

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет

огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечной тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-me Marie. Modes et Robes».

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок!

Не ребенок. Мы бедные!

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайные равнины... На юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе — море. Над ним светит Золотой Рог...

...Мух на tangle-foot'e[1] видели?!

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и — легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся .................................

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

## VIII

## СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется; уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом во-

---

[1] липучка *(англ.)*.

ротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездился до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве — и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...Но денег не пла...— начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in corpore под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

## IX

## ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

— Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол, за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу:

— Этот болван не умеет рисовать,— бушевал Слезкин,— отдадим Марье Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого N. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... Э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень... Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что ж, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я на вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! что было... Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло crescendo... Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал!.. на столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!.

## X

## ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ

.................................................................................................

Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

— Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta rosa. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди...

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

## XI

## НЕ ХУЖЕ КНУТА ГАМСУНА

.................................................................................................

## XII

## БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ!

— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчи-

ной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того вечера мы стали писать. У него была круглая, жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

— Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленой комнате, ночью, я не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной, чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «автора»!

За кулисами пожимали руки.

— Пирикрасная пыеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море и Францию — сушу — в Париж!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз — домой...

...Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

XIII

..................................................................................................

Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят... Цихидзири, Махинджаури, Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения.

Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!

На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса — трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог ..................................

..................................................................................................

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

— По иному пути пойдем! Не надо нам больше этой порнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

## XIV

## ДОМОЙ

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..

..........................................................................................

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый Мыс!

# Часть вторая

## МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:

C'est la lu-u-tte fina-a-le!
...L'Internationa-a-ale!!

И здесь — так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

— Три пуда... Утаптывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец на путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть как?..

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

---

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан-Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Иваныча Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

---

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.

## ДОМ № 4, 6-й ПОДЪЕЗД, 3-й ЭТАЖ, КВ. 50, КОМНАТА 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояли. Мелькнула комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. «Ли». А, слава богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: «Ду-ду-ду...»

Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В

кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? «Ду-ду-ду...» Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. «Ду-ду-ду» прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять «ду-ду-ду». Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли...

Вправо, влево, мягко подалась и...

## ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами — был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лицо, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout. Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Зола.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

— Так вы?..

Я ответил:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом:

— Ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала «крак!» и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: «Мейерхольд. Октябрь театра...»

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал.

— Назначил? Прекрасно. Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

---

«Назн. секр.». Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

---

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. $^1/_4$ пайка.

## Я ВКЛЮЧАЮ ЛИТО

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Зола, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 г.».

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент,— говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

---

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изо».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом «секретарь».

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь верно, Лито...— сказала первая.

Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали?— спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

---

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте машину. Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

— Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидал машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

## ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн».

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение.

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «Пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул зачем-то в шкаф. Вздохнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

## МЫ РАЗВИВАЕМ ЭНЕРГИЮ

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса без четверти девять со словами:

— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только, предполагалось, — есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е.

печальная жена разбойника) составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым; никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла к 1 ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но —

У старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

a) Лозунги в срочном порядке писать всем находящимся налицо.

b) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо.

c) За лозунги уплатить по 15 т. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 ч. 50 м., а в 3 ч. лозунги были готовы. Каждый успел выдавить из себя по 5—6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

У старика — 3 лозунга.

У молодого — 3 лозунга.

У меня — 3 лозунга

и т. д. и т. д.

Словом, каждому 45 тысяч.

---

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

...Клянусь, это сон!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидал: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера? Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную, комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

«1836

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...»

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

---

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

### 2-й ПОДЪЕЗД, 1-й ЭТАЖ, КВ. 23, КОМ. 40

Огненная надпись:

«ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВОВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...»

---

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось, немного яснее в голове.

Логически: все же было оно? Ну было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом=36. 36 раз по 2 квартиры=72. 72 раза по 6 комнат=432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.

---

У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-ой подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

— Зачем?

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

— Да мы думали — вам скажут...

Я скрипнул зубами:

— Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

— Это верно.

## ПОЛНЫМ ХОДОМ

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.».

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов».

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

12 таблеток сахарину, и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте нашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается — уму непостижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

---

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридор. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито, старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

---

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и

барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок.

---

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

---

Денег не будет раньше чем через две недели.

---

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

---

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

---

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

---

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

---

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

## О ТОМ, КАК НУЖНО ЕСТЬ

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйте обедать.

А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович!

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора.

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

---

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и $^1/_4$ фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит:

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

## ГРОЗА. СНЕГ

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5—6 дней.

---

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу,— сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.



# ПРИЛОЖЕНИЯ

## В НОЧЬ НА 3-е ЧИСЛО

*(Из романа «Алый мах»)*

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным:

— В бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело,— трах-тах-ах-тах-дах — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крякнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах), и наконец — твердая, обледеневшая покатость.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах. К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я — дурак. Я — жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я — монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Мащенко. Оба они падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию! — вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я — монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так...— зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, т-товарищи, я сам застрелю их.

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгинули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда,— говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзкую тряпку.

«Убьет... убьет...— гудело в голове,— ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего же он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О мир! О благостный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жида порют,— негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно

напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя, и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?!

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг, и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сыняя дывызья! Покажи себе! — как колотушка, стукнул голос полковника Мащенки. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

— Кро-ком рушь!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног, и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

* * *

О, звездные родные украинские ночи. О, мир и благостный покой!.. ..........................................................................

* * *

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова, был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара

Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за нею по пятам.

— Да брось, Варя! Ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но, я думаю, догадается же он удрать!

— Ей-богу, ничего не случится,— утверждал Юрий Леонидович, и намасленные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

— Ну что ты, ей-богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!!!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой, что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

— Ничего подобного,— залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович вправо, и тот вправо, влево — и влево... Наконец разминулись.

— Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письмена, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик, и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свэтр с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович

размочил сооружение Жана из «Голярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... боже!

— Уберите это! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папуас!

— Команч. Вождь — Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь. Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!
Моря царица, Веденец славный!..
Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-род ди-и-вный!

Звенящая лава залила до краев комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над покоренными аккордами, вывел изумительным меццо:

Месяц сия-а-а-е-т с неба ночного!..—

и Колька, и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело до, оборвался и голос, и Колька вскочил, как ужаленный.

— Голову даю на отрез, что это Василиса! Он, он, проклятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь.

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заметался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг, Коля, прошу тебя...

— Да не бойся ты, господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во

дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной:

— Дон... Дон... Дон...

Колька угадал. Василиса — домовладелец и буржуй, инженер и трус — был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома и каждое утро, вставая, ждал, бедняга, какого-то еще нового, чрезвычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать: «Вас. Лис.» и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью.

Нечего и говорить, что, лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис.», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе — Авдотьей Семеновной, женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число: от 8 до 10» — Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису. Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васил...ис... Иванович,— уныло-озабоченно бросил Колька на прощание.— В случае чего... того... на мушку...— и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запушенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло и вот он — Василиса лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, закоченел с палкой в руках.

Месяц сия...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно загля-

нули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьин кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

— О, что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго-долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10—12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка. Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет.

— Да, если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно,—подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино, уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

Соль... до!..
Проклятьем заклеймен...

А Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура»:

— У-а-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

* * *

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидал секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь, у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто, с лицом, синим и черным, в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренный.— К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже «ух». Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и игра-

ющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилии человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

* * *

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Мащенко. Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

* * *

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше — сеть переулков, кривых и черных. Прощайте!

* * *

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку сыней дывызии»,— на случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

* * *

Около 3 ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок.

— Ну, я ж говорил! — заорал Колька,— перестань реветь! Перестань.

— Варвара Афанасьевна, это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки, стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька, открыв рты, глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

— Да,— наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Колька, услыхав это первое слово, решился спросить:

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал.

— Вы знаете,— медленно ответил Бакалейников,— они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий

Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

— Бандиты!.. Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

* * *

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгинула черная лента, пересекшая город, в мраке на другой стороне. Небо висело: бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.

## РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (1925)

### 19

— Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя,— научила Елена, наклоняясь.

— Драсту, дядя,— недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.

— Здравствуй,— мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: — Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

— Ну балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

— Чиво дразнишь? — выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

— Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие,— говорила Елена, извлекая Петьку из складок,— гляди на елку, смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

— Дать ему апельсин,— растрогался Мышлаевский,— дать.

— Потом апельсин,— распорядилась Елена,— а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во

время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра — каналья. Пусть хоть десять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая, и последняя, сегодня — в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело — неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин,—

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

— Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо раскраснелся.

— Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

— Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

— На Мало-Провальную слишком часто ходишь,— продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами,— это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинские традиции.

— Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь,— забормотал Николка,— на какую такую Провальную?..

— Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостиной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены.

— Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомить. Все белогвардейцы.

— У вас так нагадно, я не знала. Пгамо смутишься...

— Что вы. Не обращайте внимания. Только свои. Смокинги — это они принципиально. По поводу Петлюры.

— Социальной революции,— вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая, блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студенческом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого молодого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластрона у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная оборка на окороке, в полулунии жилета вставлено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая — карат. Значит, $^1/_2$ карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И,

наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re... la... fa... re! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

— Голос действительно поразительный.

— Как же, я слышала. Мне говогили пго вас. Это вы пели на гетманском вечеге в купеческом.

— Он самый.

— Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Демона.

— Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

— Говогят, что у вас гоос как у Баттистини.

— И даже немного хуже.

— Не плачь, дитя... (С галерки.)

— Он не гордый. Споет.

— Ирина Феликсовна, близко не садитесь. Абсолютно невозможно слушать.

— Его лучше слушать из другой комнаты.

— А еще лучше с другой улицы.

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогубой клавиатурой и вытеснил Валентина в сторону, под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешиб его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли,— подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. И я, в сущности, симпатичен. Но горе в том, что я некрасив. Эх... эх...»

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. И елочка... Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене

Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. «Ишь тоже смотрит,— сурово подумал Николка,— в сущности, и ловелас этот Василиса. Жалко, Ванды нет, небось не посмотрел бы».

Елена просит извинения.

— Пожа-пожа-пожалуйста,— пели разные голоса.

— Никол, играй марш пока.

Одну секунду.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Var... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV-ым. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом

сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные. В общем это бывало с доктором Турбиным редко, в общем он был человек мягкий, совершенно излишне мягкий.

— С каким бы удовольствием...— процедил он сквозь зубы,— я б по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе,— ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин,— за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение,— продолжал Турбин,— убери ты, к чертовой матери, вот эту штуку.— Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, матерь божия»,— подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый орел», и слышался топот ног. Потом долетел взрыв смеха.

— Я на службу поступлю,— растерянно бормотала Елена, давясь слезами.

— А ну тебя со службой,— сипло шептал Турбин.

* * *

Елена, напудренная, с подмазанными поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселы-

ми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

— Папа мажет...

— Йодом... (Шепот суфлера.)

— Йодом бок, мама пляшет кек-вок.

— Господа!!

* * *

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему — неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсинными корками.

— Приходите, приходите к нам еще,— говорила Елена,— мы все так рады были познакомиться с вами.

— Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны,— говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Николку,— кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка побледнел и засопел. «Какая свинья...— подумал он слезливо,— чего он на меня взъелся и портит мне жизнь».

— Или, может быть, Никол Васильевич? — сжалился Мышлаевский.— Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

— Нет, я могу, конечно. Я...— не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

— Да, я могу... сию минуту...— встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, господи... вот несчастье»,— подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

— Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся,— оторвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най,— ты, пожалуйста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

— Я?.. Ага?.. Да...— в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

— Господа, напгасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

— Нет уж, это нельзя,— скрепил Мышлаевский,— так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?.. Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подумает. И, может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

— Какой мороз,— сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне на скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

— Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На́ тебе. На,— подумал тяжко Николка,— не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак нельзя истолковать такой намек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

— Позвольте вас под руку...

— А где ваши пегчатки?.. Вы замегзнете... Не хочу.

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Кончено. Позор».

— Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

— Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я неловок. И университета еще даже не

начинал... Красавица...» — думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии, что он, «о, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в никуда не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь, оказывается, без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спал.

— Идите,— сказала Ирина Най очень негромко,— идите, а то вас петлюговцы агестуют.

— Ну и пусть,— искренне ответил Николка,— пусть.

— Нет, не пусть. Не пусть.— Она помолчала.— Мне будет жалко...

— Жал-ко?.. А?..— И он сжал руку в муфте сильней.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так, с муфтой, и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

— Может быть, вы хгабгый, но такой неповоготливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закинула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

— Завтга пгиходите,— зашептала Най,— вечегом. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой

посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гудела веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать по именам. Кажется, сидела среди них одна пастушеская вечерняя Венера да еще мерцал безумно далекий, зловещий и красный Марс.

* * *

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали источать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестал носить разрезанные рубахи, уменьшилась повязка, а 24 января Николка спустился по лестнице, все двери прошел и снял заклейку с таблицы. Таблица выглянула на свет божий. Ясным ровным молочным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохматым пламенем примус; Турбин возился в белом кабинетике, звеня инструментами, пересматривая и перекладывая какие-то склянки. Вечер 24 января прошел мирно и тихо, и никто не появился из пациентов. Турбин походил по гостиной, очень часто поглядывая на карманные часы, в восемь часов вечера оделся и ушел из квартиры, неопределенно сказав:

— Вернусь в половине десятого или в одиннадцать.

И вечер пошел своим порядком. Понятное дело, появился и Шервинский, и Мышлаевский. Карась бывал редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись студенческим документом, а офицерские запрятав куда-то, так что сам черт бы их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу. Изредка Карась появлялся в турбинском убежище и рассказывал, какой нехороший украинский язык.

— Какой он украинский?..— сипел Мышлаевский.— Никогда на таком языке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот, как его, Винниченко выдумал...

— Почему он мой?..— протестовал Карась[1].— Я ничего общего с ним не желаю иметь.

— И не имей,— говорил Мышлаевский, выставляя

---

[1] В корректуре — Лариосик.

ноги на средину комнаты,— подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен.

— Выбачайте, панове,— говорил по-украински Николка и делал при этом маленькие глаза.

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил:

— Я тебя покорнейше прошу не говорить на этом языке.

— Выбачаюсь,— отвечал Николка.

Потом с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить, становился серьезным и выбирался к себе в комнату; там дольше, чем обыкновенно, делал туалет, там же надевал пальто и уходил, стараясь сделать это незаметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Николка. Да и знать это было нетрудно. Николка приобрел страсть к крахмальным воротничкам. Щеткой чистил локти, которые у него вечно были в мелу, и один раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, необходимыми для бритья, но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая:

— Ты, Николка, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего не заметно. А щеку ты подпирай языком...

Николка, косясь в зеркало, подпер густо намыленную щеку языком, и тотчас по щеке, смешиваясь с белым мылом, потекла вишневая кровь.

Итак, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мышлаевский же и Шервинский прочно обосновались в убежище и ночевали почти всякую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, как дневные, так и вечерние, превратились в закусывания, при которых горячие блюда были второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом, огурцы и лук, и в столовой в конце концов утвердился прочный запах небольшого и уютного ресторана.

— Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз сделается,— говорила золотая Елена, плавая в струях синего табачного дыма.

— Шампанского для нас еще Петлюра не припас,— хрипел Мышлаевский, исчезая в облаках ядовитого дыма,— вся надежда на большевиков; теперь, может, они напоят.

* * *

Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходились и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым светом, у себя в спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-переливы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декламирует ему свои стихи.

И падает время,
И падает время...—

глухим голосом читал Лариосик, выкатывая глаза,—

Как капли в пещере...

— Очень хорошо, Ларион, очень,— одобрял Николка.

Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере. Пролетали белые дни то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона:

К тебе я стану прилетать...

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из далекого Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как будто бы даже с каждым днем.

«В сущности, дрянь малый, беспринципный,— думала Елена в тихой печали, глядя в окно на оперные огни,— но голос изумительный, бог его знает, приспособленный. Нет, этот не пропадет, будьте покойны».

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить, что все хорошо и спокойно в Городе, что Петлюра — это так, вздор,— Петурра, а соль вся здесь, в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, нет там, в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую эту минутку, что падает, как капля, в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не заворчит опять даль.

— Оставьте руку, Шервинский,— вяло говорила Елена полушепотом,— оставьте.

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к плечу. Изредка он

наклонялся к плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо.

— Ах, наглец, наглец,— шепотом говорила Елена. Гитара... трэнь... трэнь... Неопределенно... глухо... потому что, видите ли, ничего еще не известно...

«Не было печали,— думал под зеленым абажуром Турбин,— от одной дряни избавились, и обязательно будет другая. Вот чертовы бабы... Никогда их к хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, но ведь какой же он, к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки никакой в голове. Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не выходя замуж. Да... А, черт...»

Турбин вставал, ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет, откидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо женщины с черными бровями и светлыми волосами. Вздыхал, рот кривил. Говорил — «не пойду...». Стискивал зубы и немедленно уезжал.

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со старинным запахом комнате и бормотал, глядя то на эполеты сороковых годов, то в глаза Юлии Марковны:

— Скажи мне, кого ты любишь?

— Никого,— отвечала Юлия Марковна и глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет.

— Выходи за меня... выходи,— говорил Турбин, стискивая руку.

Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.

Турбин хватал ее за горло, душил, шипел:

— Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Черные баки...

Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко — пальцы разжимаются.

— Это мой двою... троюродный брат.

— Где он?

— Уехал в Москву.

— Большевик?

— Нет, он инженер.

— Зачем в Москву поехал?

— Дело у него.

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочитать в хрустале? Ничего нельзя.

— Почему тебя муж оставил?

— Я его оставила.

— Почему?

— Он — дрянь.

— Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю, гадину.

Юлия Марковна улыбалась.

Так вечера и так ночи. Турбин уходил около полуночи через многоярусный сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый закостеневший переплет деревьев, что-то шептал.

— Деньги нужны...

И однажды напоролся на Николку. Николка, блестя воротничком и пуговицами шинели, шел, заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки, ведущей к мшистой калитке. Произошла пауза.

— Ты, Никол? Ты где был? Гм...

— Я к Най-Турсам ходил,— сообщил Николка, убирая глаза куда-то в сторону,— расписание поездов носил.

— Разве они уезжают?

— Нет, они нет,— ответил неожиданно навравший про расписание Николка и сам же испугался. Как это так — уезжают? Кто уезжает? Даже жутко.— Нет, это, видишь ли, Алеша, старушка-хозяйка.

— Ну, ладно. Не важно... Так они тут во флигеле?

— Ей-богу,— сказал Николка.

— Ну, идем вместе.

Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку.

— А ты, Алеша, здесь тоже был?

— М-да,— послышалось в воротнике.

— По делам или к больному?

— К... угу,— ответил воротник.

— Оригинальный сад,— начал занимать Николка брата разговором,— все ярусы, ярусы, флигеля...

— Угу.

* * *

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома, смутно слышал о том, что творится в Городе; за вечерним чаем, лишь только начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том, что это, конечно, миф и что продолжаться это долго не может.

— А что же будет? — спросила Елена.

— А будут, кажется, большевики,— ответил Турбин.

— Господи боже мой,— сказала Елена.

— Пожалуй, лучше будет,— неожиданно вставил Мышлаевский,— по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке. Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выведут в расход.

— Что ты гадости какие-то говоришь?

— Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло.

— Да, будьте любезны,— присоединился к разговору и Демон-Шервинский и выложил на стол газету — «Вести».

— Вот сволочь,— ответил Турбин,— как же она уцелела?

Действительно, эта бессмертная газета была единственной уцелевшей на русском языке. Полмесяца жила газета тем, что поносила покойного гетмана и говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры на двух языках — ломаном украинском и параллельно ломаном русском, а третьи — передовые о том, что большевики негодяи и покушаются на здоровую украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то чепуха вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то идет драка с большевиками, причем...

— Позвольте... позвольте...

Р-раз... и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету...

«...врачам и фельдшерам явиться на регистрацию... под угрозой тягчайшей ответственности...»

— Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор Курицкий...

— Ты смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся,— насторожился Мышлаевский,— а то влипнешь как пить дать. Ты на комиссию подай.

— Покорнейше благодарю.— Турбин указал на плечо,— а они меня разденут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырки-то свежие. И влипнешь еще

хуже. Вот что придется сделать. Ты, Никол, снеси за меня эту идиотскую анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет.

— А они тебя катанут в полк,— сказал Мышлаевский,— раз ты здоровым себя покажешь.

Турбин сложил кукиш и показал его туда, где можно было предполагать мифического и безликого Петлюру.

— В ту же минуту на нелегальное положение, и буду сидеть, пока этого проходимца не вышибут из Города.

— Уберут,— сказал уверенно Карась.

— Кто?

— Об этом товарищ Троцкий позаботится, можешь быть уверен,— пояснил мрачный Мышлаевский.

* * *

Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол. Открывай.

Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал принимать.

— Пожалуйте,— сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

— У меня сифилис,— хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр.

— Как?

— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?

— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение,— объяснил посети-

тель, глядя в небо.— Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом впился в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что,— сказал Турбин, отбрасывая молоток,— вы человек, по-видимому, религиозный?

— Да, я день и ночь думаю о боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю...

— Это, конечно, очень хорошо,— осторожно перебил Турбин, не спуская глаз с его глаз,— и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею-фикс. А в вашем состоянии это будет, безусловно, вредно. Вам нужен воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь.

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин вы не нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вот видите, дермографизм у вас есть. Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей,— говорил больной, застегивая рубашку,— злой ге-

ний моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так,— застонал Турбин,— ведь вы же в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками.

— Как вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он живет?

— Он уехал в царство антихриста, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя...— «Баки...» — Вот что...

Ammon. bromat.
Kal. bromat.
Natr. bromat.

Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день... Какой он из себя... этот ваш предтеча?

— Он черный...

— Молодой?

— Да, он молодой. Но мерзости в нем как в тысячелетнем диаволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны...

— Троцкого?

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит — губитель.

— Ну, батюшка, серьезно вам говорю: если вы не прекратите это, вы смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Вы не думайте. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я 400 за первый курс, который продолжается около полутора месяцев. Если будете лечиться у меня, оставьте часть в задаток.

— Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

— У вас, может быть, денег мало,— пробурчал Тур-

бин, глядя на потертые колени («Нет, он не жулик... нет... но свихнется»),— тогда можете меньше оставить.

— Нет, доктор, зачем же. Вы облегчаете по-своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там.— Больной вдохновенно указал в беленький потолок.— А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя,— бормотал больной, напяливая козий мех в передней,— ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слыхал это?.. Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно... Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Никол, будь добр, выпусти.

* * *

Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:

— Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папахах у них красные звезды...

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачнейшим образом спросил Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные. На всех папахах. А в середине серп и молоточек. Прут, как саранча, так и лезут. Первую дивизию Петлюрину побили, к чертям.

— Да откуда это известно? — подозрительно спросил Мышлаевский.

— Очень хорошо известно, если они уже есть раненые в госпиталях в Городе.

— Алеша,— вскричал Николка,— ты знаешь, красные идут! Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.

Турбин первоначально перекосил злобно лицо и сказал с шипением:

— Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо.— Потом остановился и тоже рот открыл.— Позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...

— Утки? — радостно спросил Шервинский. Он развернул «Весть» и маникюренным ногтем отметил:

«На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных».

— Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщено, значит, красные Бобровицы взяли.

— Определенно,— подтвердил Мышлаевский.

* * *

Эполеты на черном полотне. Старая кушетка.

— Ну-с, Юленька,— молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер Мышлаевского, взятый напрокат на один вечер,— скажи, будь добра, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем Шполянским?

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул... дзинь... В первый раз лицо Юлии стало неподдельно бледным.

— Алексей... Алексей... что ты делаешь?

— Скажи, Юлия, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем? — повторил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его гнилой зуб.

— Что ты хочешь знать? — спросила Юлия, глаза ее шевелились, она руками закрылась от дула.

— Только одно: он твой любовник или нет?

Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. Глаза ее блеснули странно, как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. Голос ее ожил.

— Ты не имеешь права мучить меня... ты,— заговорила она,— ну хорошо... в последний раз говорю тебе — он моим любовником не был. Не был. Не был.

— Поклянись.

— Клянусь.

Глаза у Юлии Марковны были насквозь светлы, как хрусталь.

Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, уткнувшись головой в колени, и бормотал:

— Ты замучила меня. Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не живу. Я тебя люблю, люблю...— страстно, облизывая губы, он бормотал...

Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы.

— Скажи мне, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или же нет?

— Люблю,— ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман стоящего на коленях.

* * *

Когда в полночь Турбин возвращался домой, был хрустальный мороз. Небо висело твердое, громадное, и звезды на нем были натисканы красные, пятиконечные. Громаднее всех и всех живее — Марс. Но доктор не смотрел на звезды.

Шел и бормотал:

— Не хочу испытаний. Довольно. Только эта комната. Эполеты. Шандал.

В три дня все повернулось наново, и испытание — последнее перед началом новой, неслыханной и невиданной жизни — упало сразу на всех. И вестником его был Лариосик. Это произошло ровно в четыре часа дня, когда в столовой собрались все к обеду. Был даже Карась. Лариосик появился в столовой в виде несколько более парадном, чем обычно (твердые манжеты торчали), и вежливо и глухо попросил:

— Не можете ли вы, Елена Васильевна, уделить мне две минуты времени?

— По секрету? — спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла в спальню.

Лариосик приплелся за ней.

— Придумал Ларион что-то интересненькое,— задумчиво сказал Николка.

Мышлаевский, с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то (он разбавлял на буфете спирт).

— Что такое? — спросила Елена.

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно, поморгал и произнес такую речь:

— Я прошу у вас, Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил довести об этом до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня.

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла большая пауза.

— Ларион,— наконец заговорила Елена,— решительно не знаю, что вам на это и сказать. Во-первых, простите, ведь так недавно еще пережили вашу драму... Вы сами говорили, что это неизгладимо...

Лариосик побагровел.

— Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего <сердца>. И даже карточку ее разорвал. Кончено.— Лариосик ладонью горизонтально отрезал кусок воздуха.

— Потом... Да вы серьезно говорите?

Лариосик обиделся.

— Елена Васильевна... Я...

— Ну простите, простите... Ну если серьезно, то вот что. Все-таки, Ларион Ларионыч, вы не забывайте, что вы по происхождению вовсе не пара Анюте...

— Елена Васильевна, от вас, с вашим сердцем, я никак не ожидал такого возражения.

Елена покраснела, запуталась.

— Я говорю это только вот к чему — возможен ли счастливый брак при таких условиях? Да и притом, может быть, она вас не любит?

— Это другое дело,— твердо вымолвил Лариосик,— тогда, конечно... Тогда... Во всяком случае, я вас прошу передать ей мое предложение...

— Почему вы ей сами не хотите сказать?

Лариосик потупился.

— Я смущаюсь... я застенчив...

— Хорошо,— сказала Елена, вставая,— но только хочу вас предупредить... мне кажется, что она любит кого-то другого...

Лариосик изменился в лице и затопал вслед за Еленой в столовую. На столе уже дымился суп.

— Начинайте без меня, господа,— сказала Елена,— я сейчас...

В комнате за кухней Анюта, сильно изменившаяся за последнее время, похудевшая и похорошевшая какою-то наивной зрелой красотой, попятилась от Елены, взмахнула руками и сказала:

— Да что вы, Елена Васильевна. Да не хочу я его.

— Ну что же...— ответила Елена с облегченным сердцем,— ты не волнуйся, откажи, и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще.

В ответ на это Анюта взмахнула руками и, прислонившись к косяку, вдруг зарыдала.

— Что с тобой? — беспокойно спросила Елена.— Анюточка, что ты? Что ты? Из-за таких пустяков?

— Нет,— ответила, всхлипывая, Анюта,— нет, не пустяки... Я, Елена Васильевна,— она фартуком размазывала по лицу слезы и в фартук сказала,— беременна.

— Что-о? Как? — спросила ошалевшая Елена таким тоном, словно Анюта сообщила ей совершенно невероятную вещь.— Как же ты это? Анюта?

* * *

В спальне под соколом поручик Мышлаевский впервые в жизни нарушил правило, преподанное некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного дивизиона,— артиллерийский офицер никогда не должен теряться. Если он теряется, он не годится в артиллерию.

Поручик Мышлаевский растерялся.

— Знаешь, Виктор, ты все-таки свинья,— сказала Елена, качая головой.

— Ну уж и свинья?..— робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой.

* * *

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таинственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной ругани с Турбиным в белом кабинетике Еленой), а Николка, сообразивший, в чем дело, утешал убитого Лариосика, в спальне у себя Елена в сумерках у притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рук:

— Какие вы все прохвосты...

— Ничего подобного,— ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и, притянув Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).

— Больше не появляйтесь в доме,— неубедительно шепнула Елена.

— Я не могу без вас жить,— зашептал Демон, и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок.



# КОММЕНТАРИИ

## ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

Впервые напечатаны:

«Полотенце с петухом» — журн. «Медицинский работник», 1926, № 33 и 34, 12 и 18 сентября, с подстрочным примечанием: «Из книги «Записки юного врача»;

«Крещение поворотом» — журн. «Медицинский работник», 1925, № 41 и 42, 25 октября и 2 ноября, с подзаголовком: «Записки юного врача»;

«Стальное горло» — журн. «Красная панорама», 1925, № 33, 15 августа, с подзаголовком: «Рассказ юного врача»;

«Вьюга» — журн. «Медицинский работник», 1926, № 2 и 3, 18 и 25 января, с подзаголовком «Записки юного врача»;

«Тьма египетская» — журн. «Медицинский работник», 1926, № 26 и 27, 20 и 27 июля, с подстрочным примечанием: «Из готовящейся к изданию книги «Записки юного врача»;

«Пропавший глаз» — журн. «Медицинский работник», 1926, № 36 и 37, 2 и 12 октября, с подстрочным примечанием: «Записки юного врача»;

«Звездная сыпь» — журн. «Медицинский работник», 1926, № 29 и 30, 12 и 19 августа.

Рукописи не сохранились. При жизни автора рассказы не перепечатывались.

Печатаются по текстам первых публикаций.

1

Цикл «Записки юного врача» восходит к одному из самых ранних замыслов Булгакова. Работа над ним стала, видимо, переходной от «трудов и дней» земского врача к труду литературному.

«Записки» были начаты или, во всяком случае, задуманы еще в 1916—1917 годах в Никольском и Вязьме,—скорее всего, не без влияния небывалого успеха «Записок врача» В. В. Вересаева (1901), реминисценцией из которых стало и само название булгаковского цикла. Работа над ними продолжалась, видимо, и в Киеве (1918—1919)—до того момента, как Булгаков осенью 1919 года выехал в качестве военврача Добровольческой армии на Северный Кавказ. В 1921 году он упоминает в одном из владикавказских писем родным, что в Киеве «в письменном столе остались две важных для меня рукописи: наброски земского врача и «Недуг» (Вопросы литературы, 1973, № 7, с. 236).

Следующее упоминание о возвращении к замыслу—в письме к матери от 17 ноября 1921 года, через полтора месяца после приезда в Москву: «По ночам урывками пишу «Записки земск<ого> вр<ача> ». Может выйти солидная вещь. Обрабатываю «Недуг» (там же, с. 252). «Недуг»—роман о наркомане, каким-то из вариантов которого стал рассказ «Морфий», печатающийся в данном томе.

Только в августе 1925 года, однако, первый рассказ из давно задуманного цикла—«Стальное горло»—появился в печати, а за ним—остальные шесть рассказов. Книга—«Записки юного врача»,—не раз упомянутая в журнальных публикациях, так и не вышла.

В 1963 году, спустя 23 года после смерти автора, рассказы, собранные Е. С. Булгаковой по сохранившимся в архиве писателя первым публикациям, вышли отдельным изданием: Записки юного врача. Рассказы. М., Правда, 1963 (Библиотека «Огонек», № 23). Однако в состав книги не вошел рассказ «Звездная сыпь», первой публикацией которого вдова писателя, по-видимому, не располагала; на русском языке он был перепечатан только спустя восемнадцать лет Л. Яновской (Нева, 1981, № 5)[1]. В издании 1963 года рассказ «Стальное горло» был озаглавлен «Серебряное горло». В рассказе «Полотенце с петухом» год действия—1917-й—был изменен на 1916-й из цензурных соображений: отнесение действия к 1917 году вызывало в те годы упреки в «аполитичности» их содержания, что могло тормозить издание. Соглашаясь с изменением авторского текста, Е. С. Булгакова, возможно, оправдывала свое решение соображениями об «автобиографичности» новой даты.

---

[1] Немецкий и английский переводы рассказа появились в 1975 г. (Bulgakov M. Morphium. Erzählungen. Zürich, 1975; Bulgakow M. A country Doktor's Notebook. N. J., 1975).

Издание 1963 года представляло собой опыт реконструкции неосуществленного авторского замысла книги. Во-первых, оно было озаглавлено издателями в соответствии с предполагаемым авторским названием (сохранявшимся, как мы видели, от рукописей до публикаций 1925—1926 годов); во-вторых, рассказы были расположены в нем не по хронологии первопубликаций, а в соответствии с внутренней хронологией событий. Так, цикл открывался рассказом «Полотенце с петухом», где описывался сентябрьский день приезда молодого врача в Мурьевскую больницу, вторым шел рассказ «Крещение поворотом», первые фразы которого могут быть прочитаны как подхватывающие нить повествования: «Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими...» — то есть действие отнесено к осени. Далее — рассказ «Стальное горло» (в издании 1963 года — «Серебряное горло»), в котором основное фабульное событие датировано 29 ноября. В рассказе «Вьюга» действие начинается в дни, когда уже две недели как установился санный путь. Действие рассказа «Тьма египетская» датировано 17 декабря 1917 года. Наконец, рассказ «Пропавший глаз» начинается словами: «Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому».

Второй раз цикл «Записки юного врача» был напечатан в составе однотомника: Булгаков М. Избранная проза. М., Художественная литература, 1966. Там была в основном сохранена последовательность, принятая в 1963 году, но рассказ «Крещение поворотом» и «Стальное горло» (с восстановленным по первопубликации заглавием) поменялись местами.

В настоящем издании мы считаем возможным повторить реконструкцию цикла, предпринятую в 1963 году. Необходимо подчеркнуть, что это — лишь одна из возможных гипотез относительно того, каким видел сам автор художественное целое «Записок».

В пределах плана реконструкции цикла, выбранного для данного издания, наибольшую сложность представляют поиски места для рассказа «Звездная сыпь»: время действия помещает этот рассказ примерно после «Тьмы египетской», однако время рассказчика («Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем») дает основание для того, чтобы заключить им цикл (ретроспективный взгляд рассказчика присутствует, впрочем, и в рассказе «Полотенце с петухом», поставленном в начале цикла).

## 2

«Записки юного врача» (как и «Записки на манжетах», входящие в данный том, и — в меньшей степени — многие другие произведения писателя) имели своим материалом реальные жизненные обстоятельства — службу Булгакова в качестве земского врача в Смоленской губернии.

Летом 1916 года, по условиям военного времени досрочно (как и весь его выпуск) закончив медицинский факультет Киевского университета[1], Булгаков поступил добровольно в распоряжение Красного Креста и, по свидетельству сестры, Н. А. Земской, получил возможность все лето 1916 года проработать в прифронтовых госпиталях на Юго-Западном фронте. В госпитале в Черновицах он, как рассказывала нам в 1977 году Т. Н. Кисельгоф, первая жена писателя, «все время делал ампутации» (ср. описание полной неопытности молодого врача в рассказе «Полотенце с петухом»).

Командирование в Смоленскую губернскую земскую управу датировано 3 сентября 1916 года (Бурмистров А. Поездка в прошлое.— Звезда, 1981, № 5, с. 192). 29 сентября 1916 года молодой врач прибыл к месту своего окончательного назначения — в 3-й Никольский врачебный пункт (иными словами — в Никольскую земскую больницу), в сельцо Никольское Караваевской волости Сычевского уезда. Он принял дела от своей непосредственной предшественницы, врача Иды Григорьевны Генценберг, работавшей в Никольском с 28 июня 1915 года до 30 сентября 1916-го, когда она, сдав больницу Булгакову, уехала «для поправления здоровья» (см.: Стеклов М. М. А. Булгаков на Смоленщине.— Политическая информация, Смоленск, 1981, № 10, с. 25). Обстановку в больнице рисует письменное заявление И. Г. Генценберг в Сычевскую земскую управу, посланное за двадцать дней до приезда Булгакова: «Прошу нам прислать хоть одного военнопленного, так как остался один сторож на всю больницу. Прошу прислать техника, чтоб он хоть раз исправил бы как следует водопровод. Телефон уж недели две не работает» (там же, с. 26). Судя по денежной ведомости на октябрь 1916 года (там же, с. 25), штат больницы составляли шесть сиделок и сторожей (они были неграмотны, и за них расписывался в ведомости Булгаков) и пять или шесть фельдшеров и фельдшериц-акушерок. А. Бурмистров называет фельдше-

---

[1] Выпускные испытания завершились 6 апреля 1916 г. (см.: Хинкулов Л. Михаил Булгаков и Алексей Турбин.— Радуга, 1981, № 5, с. 175).

ров Владимира Петровича Коблянского, Емельяна Фомича Трошкова, выпускника Московского университета, и А. И. Иванова; «Акушерками на пункте работали Агния Николаевна Лобачевская и Степанида Андреевна Лебедева — жена фельдшера Иванова, исполнявшая одновременно и функции экономки» (Бурмистров А. Указ. соч., с. 194). Имена персонажей «Записок юного врача» сохраняют связь со звучанием и лексической окраской имен практиков — Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Целиком сохранил Булгаков имя врача Леопольда Леопольдовича Смрчека, выпускника Московского университета, проработавшего в Никольской больнице около 12 лет и оставившего в ней больший след, чем непосредственная предшественница Булгакова. «В мае 1913 года среди крестьян разнеслась весть, что Л. Л. Смрчек покидает свою работу»; крестьяне волости направляли в уездное земство свои «приговоры», где заявляли, что «в нашем захолустье такой врач, как Леопольд Леопольдович, он же и хирург, являет особое благодеяние <...> для страждущего бедного и темного народа». Однако в начале 1914 года у Смрчека «обострились отношения со вторым врачом, Софьей Шварц. (При Булгакове второго врача на пункт так и не прислали.— *М.Ч.*) <...> 1 марта он навсегда уезжает из Никольского. Умер Л. Л. Смрчек в годы гражданской войны от тифа» (Стеклов М. Народный труженик.— Рабочий путь, 1981, 31 октября). Легенда о докторе «Липонтии», предшественнике «юного врача»,— важная часть художественного целого «Записок».

Многим реалиям жизни в Никольском суждено было вскоре войти в переоформленном виде в сюжетно-повествовательную ткань «Записок».

«...Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день,— вспоминала Татьяна Николаевна путешествие из Сычевки в Никольское на пролетке.— И в первую же ночь привезли роженицу! Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной; конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. Я видела роженицу, она теряла сознание. Я сидела в отдалении, искала в учебнике медицинском нужные места, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне: «Открой такую-то страницу!» А муж ее сказал, когда привез: «Если умрет, и тебе не жить — убью!» И все время потом ему там грозили» (записано нами в 1977 году.— *М.Ч.*).

Отношения с крестьянами не были идиллическими. Год, проведенный в тесном общении с ними, много дал Булгакову для формирования живого, не умозрительного, представления о своем народе.

18 сентября 1917 года Булгаков добился (по-видимому, после упорных его хлопот) перевода в Вяземскую городскую больницу. В удостоверении, выданном Сычевской уездной земской управой, перечислялись проделанные им за год операции, среди которых — одна ампутация бедра, поворот на ножку, трахеотомия,— вспомним фабульные события рассказов «Полотенце с петухом», «Крещение поворотом», «Стальное горло».

Именно в Вязьме, по устным воспоминаниям Т. Н. Кисельгоф (1977, 1978, 1981), Булгаков начал писать. «В Никольском времени не было»,— говорила она. Первые подступы к циклу были, возможно, сделаны как раз в Никольском, в конце 1916 — начале 1917 года. Об этом свидетельствует письмо к двоюродному брату Константину Петровичу Булгакову, написанное уже во Владикавказе, 1 февраля 1921 года: «Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать,— писать» (Вопросы литературы, 1973, № 7, с. 236).

Насколько существенно менялся замысел цикла от «Набросков земского врача» (1917—1919) до «Записок юного врача» (1925—1927)? Ни ранних, ни поздних рукописей этого сочинения не осталось. Неизвестно, сколько рассказов входило в цикл первоначально, не были ли какие-то из них написаны только в 1925—1926 годах.

Приурочение действия к осени «17-го незабываемого года» («Полотенце с петухом») никак не отразилось в сюжетике цикла. В «Записках» нет никаких признаков революционных событий в деревне (кроме обращения «гражданин доктор»), в них — атмосфера российской глубинки предреволюционных лет с подчеркнутой неподвижностью, бессобытийностью, с характерными фигурами (агроном, конторщик). Это не могло не выглядеть демонстративным на фоне литературы середины 1920-х годов.

## 3

Автор «Записок» воспринял повествовательную форму, которую, приступая к литературным опытам в 1910-е годы, застал уже сложившейся. Образованный человек — житель Петербурга, Москвы, большого губернского города, попавший в глухую российскую провинцию,— этот персонаж нередко оказывался в центре новеллы и определял композиционную рамку. Врач, землемер, судебный исполнитель был удобным для авторов «рассказчиком». Заведомо владевший нормами письменной речи, он выступал как бы в неназванной роли литератора. Представление о потенциальном писательстве российского земс-

кого врача (пример Чехова, Вересаева) участвовало в замысле автора и читательском восприятии. Центральный персонаж «Записок» не *рассказывает* (как герои Н. Лескова), а *описывает* события — с умением новеллиста. Это — ретроспективный рассказ *писателя* о своем прошлом *врача.*

Типовые черты земского врача, его манеру обращения с пациентами-крестьянами Булгаков нашел готовыми прежде всего в многочисленных «медицинских» рассказах Чехова (примечательна прямая отсылка к «Хирургии» — «всем известный рассказ Чехова» — в рассказе «Пропавший глаз»). Разговор с родными девочки в рассказе «Стальное горло», с матерью Ваньки в рассказе «Звездная сыпь» заставляет читателя вспомнить реплики врача (почти дословно повторенные), строй диалога в хрестоматийном чеховском «Беглеце».

В массовой беллетристике конца XIX — начала XX века, усвоившей схему «интеллигент в российской глубинке», преобладал мотив гибели надежд, идеалов молодости героя в провинциальной трясине, среди чуждого ему, нередко лубочно изображаемого «народа». Героем Булгакова стал «юный врач», сомневающийся в своем знании и умении, но полный энергии, уверенный в своем социальном статусе. Перед читателем — не одиночка-интеллигент, тонущий в российской «тьме египетской», а герой, включенный в стабильную социальную жизнь. В ней фельдшер и акушерки являют собой вполне дееспособную культурную среду — «рать», готовую двигаться за своим предводителем «все вперед, вперед». В ней народная масса — темна (и в этом — укор автора прежней России), но надежда на ее просвещение не потеряна, пока сохранен авторитет людей образованных[1]. Они же, в свою очередь, находят в этой среде тех (хотя и весьма немногих — женщина в рассказе «Звездная сыпь», которая *боялась* сифилиса), кто готов и способен просвещаться. Традиция предреволюционного интеллигентского народолюбия, спор с которой Булгаков начал, видимо, еще в литературных опытах 1910-х годов, в середине 1920-х им решительно отвергнута. Реплика чуть не погубившего себя мельника (из «Тьмы египетской» — «сразу принял — и делу

---

[1] В этом — возможная полемика с «Записками врача» Вересаева, где автор, отрицая успешность деятельности «отряда» врачей, видел «единственный выход — в сознании, что мы — лишь небольшая часть одного громадного, неразъединимого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех» (Вересаев В. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., 1961, с. 423),—то есть подспудно указывал врачу-интеллигенту путь в революцию.

конец»)—прообраз речей Шарикова из повести «Собачье сердце» («Взять все да и поделить»). Гибельные последствия самоуверенного невежества, выпущенного из-под контроля разума, показаны и в судьбе Рокка («Роковые яйца»).

Трагедии, смерти, невежество крестьян не разрушают в «Записках» картину прочно устроенного мира. На рассказах лежит отпечаток ностальгического, родственного поздней бунинской прозе авторского чувства.

Одновременно с тем, как в последней редакции романа «Белая гвардия» отслаивалось все, что говорило не в пользу героев, и оставались лишь самые светлые тона в изображении «интеллигентско-дворянской семьи» (письмо к правительству),— это же, видимо, происходило и в «Записках юного врача». К середине 1920-х годов в них сформировалось, в полемике с новым общественным бытом, разжигавшим агрессивное недоверие к интеллигенции, «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране» (здесь и далее — письмо Правительству СССР от 28 марта 1930 года). Автор, переживший гражданскую войну и увидевший последствия грандиозной ломки, демонстрировал не исчерпанные, по его мнению, к моменту революции, но необратимо ею разрушенные возможности «Великой Эволюции». Неосуществившийся эволюционный путь России сквозь «тьму египетскую» виделся автору «Записок юного врача» тяжким и очень долгим, но на этом пути сохраняются незыблемыми фундаментальные ценности, а необходимость борьбы за спасение каждой человеческой жизни — вне сомнений. Потому именно автор «Записок» через несколько лет выразит без обиняков свой «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране».

## 4

Излюбленными персонажами прозы Булгакова — от «Красной короны» до «Мастера и Маргариты» — станут действующие лица его ранних литературных опытов — врач и больной, повторяющимся местом действия — больница, а одним из двух главных сюжетно-фабульных ходов (наряду со сном) — *болезнъ* («Записки на манжетах»; «Белая гвардия» — где болезнь настигает врача, «Морфий» — где это же соединение, «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита» — где *болезнъ* связана уже с новым героем, преобразованным из «старого»: лекарь заменен творцом, «мастером»).

Фигура Врача претерпит в едином тексте булгаковского творчества глубоко содержательную эволюцию, предстанет в нескольких вариантах. В последнем романе — не менее трех трансформаций персонажа, сложившегося когда-то в цикле «Записок». Читателю встретится и ставший маститым «юный врач», как бы реализовавший неосуществленные возможности своей дореволюционной карьеры, раздвинувший пределы маленькой земской больницы до превосходно устроенной клиники (Стравинский). И тот же самый по своей сюжетной функции первоначальный персонаж появится в последнем романе в ином варианте. Его положительная, в «нормальном» мире на спасение либо облегчение жизни человеческой направленная воля и дееспособность, делавшая всесильным борцом со смертью «юного врача», уже являлась булгаковскому читателю деформированной и искаженной в новых условиях (судьба открытий — плодов работы могущественного разума — профессоров Персикова и Преображенского). Теперь это всесилие разума и воли предстанет в обличье лжецелителя, ловца душ человеческих с его дьявольским всемогуществом (Воланд). Но в этом же романе возрождалась и подлинная суть главного булгаковского персонажа. Восстанавливалась та должная связь врача и врачуемого, которая в 1925—1926 годах настойчиво, вновь и вновь в каждом рассказе «юного врача» утверждалась Булгаковым: Мастер выступил в роли духовного врача Ивана Бездомного, исцеляя его, среди прочего, от привитой ему ненависти к «образованным», «интеллигентам».

Стр. 71. *Мурьинская больница.*—Далее в тексте рассказов из «Записок юного врача» встречается: Мурьевская, Муравьевская, а также: Мурьево, Мурьино, что отражает колебания автора в выборе названия деревни.

Стр. 93. *...фельдшер Демьян Лукич... и две... акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна.*—В тексте журн. «Медицинский работник» — Андрей Лукич, Мария Николаевна и Прасковья Михайловна. Это — единственный случай в «Записках юного врача», в котором использованы имена фельдшера и акушерок, отличные от других рассказов цикла; здесь отразился, по-видимому, процесс поиска имен для «сквозных» персонажей рассказов.

Стр. 97. *Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу.*—Здесь и далее в описании трахеотомии — прямая реминисценция из «Записок врача» В. Вересаева; трагическому исходу операции, описанной Вересаевым, Булгаков противопо-

ставляет, в духе всей художественной концепции «Записок юного врача», ее оптимистический финал (ср. у Вересаева: «С первым уже разрезом, который я провел по белому пухлому горлу девочки... Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро ватным шариком...» и т. д.— т. 1, с. 299—300).

Стр. 112. *«Тьма египетская»*— широко распространенное в странах христианского мира речение, имеет своим истоком определенное место в Ветхом завете: «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их» (Исход, 10, 21—23).

Стр. 122. *...об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров.*— Далее пересказывается фабула рассказа А. Грина «Жизнь Гнора». Эта реминисценция подтверждает интерес М. Булгакова к Грину и укрепляет, видимо, предположение о воздействии рассказа Грина «Фанданго» на формирование некоторых сюжетных ходов и сцен «Мастера и Маргариты» (см.: Сельская жизнь, 1976, № 12).

Стр. 124. *...книга в желтом переплете с надписью «Сахалин».*— Возможно, отсылка к известной в те годы книге В. Дорошевича «Сахалин» (М., 1903).

Стр. 128. *Ренглот* (ренклод)— сорт сливы.

## МОРФИЙ

Впервые— журн. «Медицинский работник», 1927, № 45, 46, 47, 9, 17, 23 декабря, с авторской датой «1927 г. Осень» и редакционным пояснением: «Михаил Булгаков известен нашим читателям как автор рассказов участкового врача, печатавшихся в «Медицинском работнике».

Рукопись не сохранилась.

Печатается по тексту указанной публикации.

По-видимому, еще в Вязьме, во второй половине 1917 года, Булгаков начал работу над сочинением, получившим название «Недуг». Замысел прямо был связан с биографическими обстоятельствами— с возникшей еще в Никольском, в 1916— 1917 годах, привычкой к морфию, разрушительно действовав-

шей на Булгакова вплоть до 1918—1919 года, когда удалось избавиться от нее окончательно.

Впервые об этом важном биографическом эпизоде было рассказано в кн.: Неизданный Булгаков. Тексты и материалы. Под ред. Э. Проффер. Ann Arbor, 1977, с. 18. Эта публикация, озаглавленная «Беседа с Татьяной Николаевной Лаппа, первой женой М. А. Булгакова», была осуществлена без ведома Т. Н. Кисельгоф (урожд. Лаппа; 1889—1982) и представляла собой не беседу, а, как поясняла в нашем разговоре летом 1978 года Т. Н. Кисельгоф, изложение сведений, которыми располагала давно знавшая ее семья Крешковых. Опубликование этих сведений вызвало крайнее огорчение Т. Н. Кисельгоф, поскольку, помимо истории с морфием, были обнародованы интимные подробности ее собственной жизни. Однако только после публикации Т. Н. Кисельгоф стала подробно освещать важную коллизию биографии Булгакова, ранее тщательно ею скрываемую (подробнее об этом см.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. Изд. 2-е. М., 1988, с. 62—67, 74—76). Тогда же, летом 1978 года, рассказывая о проявлениях тяжелой болезни, на вопрос о содержании оставшегося неизвестным сочинения она ответила: «Недуг» — это, по-моему, про морфий...»

Предположение о «Недуге» как первой редакции «Морфия», подтвержденное свидетельством Н. А. Земской, высказано в книге Л. Яновской (Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 82—83).

20 сентября 1917 года Смоленская губернская земская управа командировала Булгакова в распоряжение Вяземской уездной земской управы. В Вязьме они с женой поселились на Московской улице, в трех комнатах рядом с больницей. Условия работы были совсем иными, чем ранее в с. Никольском,— здесь на меньшее количество населения приходилось три врача; эти обстоятельства отражены в словах рассказчика «Морфия» об испытанном им облегчении.

В Вязьме Булгакова застали сообщения об Октябрьском перевороте в Петрограде и боях в Москве. 30 октября его жена письмом просила Н. А. Земскую сообщить, «что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся, и состояние ужасное». Настроение, владевшее в эти дни доктором Булгаковым, всплывет и отразится впоследствии в герое «Белой гвардии» докторе Турбине: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года...»

Отождествление «Недуга» с будущим «Морфием» повлекло за собой и предположение о том, что сначала это сочинение мыслилось автором в жанре романа. «Пишу роман по канве «Недуга»,— сообщал Булгаков брату Константину 1 февраля 1921 года из Владикавказа. В феврале 1932 года Ю. Слезкин вспоминал о первых московских годах Булгакова: «Читал свой роман о каком-то наркомане» (Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова, с. 88).

Как широко описывались в романе те московские события, о которых вспоминает доктор Поляков в своем дневнике от 14 ноября 1917 года, вернувшись в Вязьму: «Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице»? Возможно, это были подробные картины. Работая над романом в первой половине 1921 года, Булгаков обдумывал, как видно из его писем родным, планы отъезда за границу и в расчете на неподцензурное печатание мог писать более свободно. Это был, скорей всего, жгучий документ тогдашнего самоощущения доктора Булгакова, потрясенного роковыми событиями и личной катастрофой. Он не мог существовать на страницах отечественной печати 1927 года. В последней редакции осталась главным образом трагедия морфиниста, прослеженная с медицинской тщательностью.

События, переворачивающие российскую жизнь, совпали с тяжелейшей личной коллизией, и это, возможно, помогло выбрать нужный автору сюжетный ход — отстраняющий героя от событий. Примечательно, что первую инъекцию наркотика герой рассказа делает за неделю до начала революционных событий (в феврале 1917 года) — будто заранее готовя себе анестезию. События февраля — марта, а затем октября — ноября 1917 года восприняты сквозь дымку помрачающей сознание героя болезни. Раннее заглавие «Недуг» позволяет думать, что уже в литературных опытах 1917—1918 годов был найден этот, оказавшийся столь художественно значимым для автора, угол зрения на революцию — герои Булгакова переживают ее, болея, и сама она предстает как феномен болезни («Морфий», «Записки на манжетах»).

В комментируемом рассказе — еще одна из версий судьбы устойчивого персонажа прозы Булгакова — Врача. Изображен врач, который *пишет* — ведет дневник. Он не помышляет о литературе, но в рассказе она все время присутствует, как бы находясь поодаль: «Надежда блеснет...» — в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!..» — с раздражением оценивает доктор Бомгард полученную от Полякова записку. Характерна и собственная оценка Поляковым своих записей:

«Они отрывочны, но ведь я же не писатель!»[1] Герой рассказа прерывает свою жизнь в момент, когда врачебная его карьера разрушена, а иная — не осознана и не обозначена. Читателю, однако, оставлена возможность увидеть, что это — тот самый момент, когда у героя, как у Макара Девушкина в «Бедных людях», «и слог теперь формируется».

Бомгард печатает эти записки тогда, когда «тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла». Страх безвестности, гибели прежде самоосуществления — глубоко личный мотив, рано явившийся в творчестве писателя,— станет постоянным. Если поставить рассказ в контекст биографии Булгакова, можно различить в «Морфии» взгляд автора со стороны на свою собственную судьбу в 1918—1919 годах, на близкую, но миновавшую его возможность ее трагического варианта. В контексте же творчества Булгакова в рассказе очевиден взгляд на мимолетность человеческой жизни «под знаком вечности», уже проявившийся в финале повести «Роковые яйца» («...но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло...»), готовый вскоре обозначиться в финале «Белой гвардии» («...когда и тени наших тел и дел не останется на земле»).

Спустя десятилетие Булгаков вновь разыграет мотив «Морфия» — и в той же сюжетной разработке: друг самоубийцы Максудова печатает завещанные ему записки — «плод его фантазии, и фантазии, увы, больной».

Стр. 152. *...д-р Бомгард.*— В книге И. Л. Галинской «Загадки известных книг» (М., 1986), богатой убедительными предположениями относительно книжных источников романа «Мастер и Маргарита», сказано, среди прочего: «О том, что с «Песней об альбигойском крестовом походе» Булгаков был знаком, свидетельства имеются несомненные. Одно из них, как это ни парадоксально, автор оставил в «Театральном романе», в числе героев которого —...Петр Бомбардов; фамилия для русского уха необычная: кроме «Театрального романа», у нас нигде ее больше не встретишь». На этом утверждении автор книги основывает уверенность в знакомстве Булгакова с первым томом «Песни» («имевшимся с начала 30-х годов в Ленинской библиотеке») — «там сообщается, что почетный советник и коллекционер Пьер Бомбард был владельцем рукописи поэмы в

---

[1] Спустя много лет, 13 апреля 1933 г., сообщая П. С. Попову о том, что роман о Мольере отвергнут редакцией серии ЖЗЛ (к тому времени Булгаков уже шесть лет не видит своего имени в печати), он заметит с немалой долей самоиронии: «По сути дела, я — актер, а не писатель».

XVIII в.»,— это имя, по мысли автора, и породило Бомбардова (с. 101).

Однако, как видим, еще в 1927 году у Булгакова появляется «доктор Бомгард» — по-видимому, вполне независимо от указанных источников (что, конечно, не исключает знакомства с ними Булгакова в 30-е годы).

Стр. 170. *...летит, не касаясь земли...*—Весь эпизод является реминисценцией из рассказа А. Чехова «Черный монах»: «Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо... Босые ноги его не касались земли» (Чехов А. П. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1977, с. 234).

## БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Впервые — журн. «Россия», 1925, № 4, 5 (первые 13 глав); полностью: Булгаков Мих. Дни Турбиных (Белая гвардия). Париж, Concorde, т. 1 — 1927, т. 2 — 1929. Печатается по этому тексту.

В очерке «Киев-город», напечатанном в 1923 году, М. А. Булгаков, вспоминая события гражданской войны в своем родном городе, писал: «Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве».

Предсказание это в какой-то степени сбылось. Однако в книге, которую Булгаков мечтал написать всю жизнь и написал через несколько десятков лет после смерти Льва Толстого,— в «Мастере и Маргарите», одном из величайших романов XX века,— действие развивается не в Киеве и с гражданской войной оно непосредственно не связано. «Книга о великих боях в Киеве» была написана автором «Мастера и Маргариты» всего через год-два после публикации очерка «Киев-город».

Роман «Белая гвардия» был задуман М. А. Булгаковым, по его словам, в 1922 году, то есть тогда же, когда писался очерк «Киев-город», а написан в 1923—1924 годах, в течение года или полутора лет[1].

Между событиями 1918—1919 годов, описанными в романе, и написанием романа прошло всего пять лет, но годы эти

---

[1] Ср.: записи П. С. Попова со слов Булгакова (ГБЛ, ф. 218, к. 1269, ед. хр. 6); автобиография М. А. Булгакова (Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под ред. Вл. Лидина. М., 1926, с. 55).

оказали глубочайшее влияние на мировоззрение автора и во многом изменили его взгляд на пережитое.

В 1918—1919 годах Булгаков был, по всей видимости, близок по убеждениям к своим героям — семье Турбиных и их друзьям, и в особенности к доктору Алексею Турбину, персонажу в значительной степени автобиографическому. В конце 1918 и в 1919 году он жил в Киеве, в конце 1919 года был врачом в Добровольческой армии, затем сотрудничал в газетах, выходивших при Деникине на Северном Кавказе. В то время Булгаков, безусловно, сочувствовал белому движению. Но в начале 20-х годов игнорировать ход событий гражданской войны, окончившейся решительной победой красных, Булгаков не мог. Необходимо было осмыслить причины этой победы.

Именно в этом на помощь Булгакову приходил один из любимейших его писателей, тот самый, которого он упоминал в очерке «Киев-город»,— Лев Николаевич Толстой. Вслед за Толстым Булгаков понял, что перипетии войны не определялись личными свойствами тех государственных и военных деятелей, которые в них участвовали,— деятели эти воспринимались им теперь, употребляя выражение Толстого, лишь как «ярлыки» происходивших событий. Такими «ярлыками» оказались и гетман Скоропадский, и атаман Петлюра, и наиболее ненавистный в те годы Булгакову и его героям наркомвоенмор Троцкий, которого один из персонажей пьесы «Белая гвардия» (написанной на основе романа и переработанной затем в «Дни Турбиных») готов был потом признать «великолепной личностью» и соглашался назначить «корпусным командиром». В романе «Белая гвардия» Булгаков склонялся к мысли, что Петлюра и остальные деятели были «мифом»,— что в действительности события определялись не ими, а «четыреста сорок раз четырестами тысяч мужиков с сердцами, наполненными неутоленной злобой» к «офицерне» и помещикам. В 1923—1924 годах Булгаков по-новому взглянул на «великие бои» в Городе, как он, в подражание Риму («urbis» — Город, сопоставляемый с понятием «orbis» — мир), именовал свой родной Киев, и во всей стране. Из опыта этих лет он вынес одно глубокое убеждение: о первостепенном значении «мужичонкова гнева», порожденного главным следствием крепостного права — нуждой в земле, так и не полученной крестьянами от «сволочной панской реформы». Именно эта тема проходит через написанный Булгаковым в 1936 году полуконспективный текст учебника истории для средней школы, не завершенного писателем. «Рабовладельческая Россия», Емельян Пугачев, страх царя и

помещиков перед «пугачевщиной» в 1812 году, речь Александра III через два десятка лет после реформы 1861 года против «нелепых слухов» о переделах земли, даровых нарезках и т. п.— вот основные темы этого конспекта[1].

Теснейшая связь революции с борьбой против не до конца преодоленного крепостничества — идея, занимавшая важнейшее место в мировоззрении Булгакова. Сохраняя, судя по письму к Советскому правительству 1930 года, «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», Булгаков осознал, однако, неизбежность происшедшего. Свою позицию в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» он определил как стремление «стать бесстрастно над красными и белыми»[2].

Данные, которыми мы располагаем об истории текста «Белой гвардии», чрезвычайно скудны. Не сохранилось не только ни одной рукописной страницы романа — нет даже его машинописного текста. Все материалы, на которые мы можем опираться,— упоминания самого Булгакова и его современников, а также печатные тексты романа и связанных с ним фрагментов.

О каком-то романе, который пишет автор, упоминается в рассказе «Самогонное озеро» (1923), где герой говорил жене после бессонной ночи в пьяной квартире: «А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, от которого небу станет жарко...»

Глухие упоминания о будущем романе встречаются у Булгакова и до 1923 года, но идет ли речь о «Белой гвардии» или о каком-либо ином сочинении — мы сказать не можем[3].

---

[1] Ср.: Лурье Я. С., Панеях В. М. Работа М. А. Булгакова над курсом истории СССР.— Русская литература, 1988, № 3, с. 184—186.

[2] ГБЛ, ф. 562, к. 19, ед. хр. 30. Ср.: Октябрь, 1987, № 6, с. 179.

[3] См.: Петрова Н. В. Когда и как был написан роман М. Булгакова «Белая гвардия».— Труды Иркутского гос. университета, т. 71, вып. 7. 1969, с. 60; Чудакова М. О.: 1) К творческой биографии М. Булгакова. 1916—1923.— Вопросы литературы, 1973, № 7, с. 236—237, 242; 2) Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя.— Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 37. М., 1976, с. 48, 147; 3) Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 143—144; Чеботарева В. А. К истории создания «Белой гвардии».— Русская литература, 1974, № 4, с. 148—149; Яновская Л.: 1) Когда была написана «Белая гвардия»? — Вопросы литературы, 1977, № 6, с. 302—303; 2) Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 57—58, 82—88. (Л. М. Яновская полагает, что первый роман Булгакова — «Недуг», близкий по сюжету к рассказу «Морфий».)

В 1923 году в журнале «Россия» появляется первое конкретное свидетельство о будущем романе Булгакова о гражданской войне: «Мих. Булгаков заканчивает роман «Белая гвардия», охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919—1920 гг.)» [1]. Но еще ранее вышли в свет рассказы, сюжетно явно связанные с «Белой гвардией»: это — «Красная корона»; «В ночь на 3-е число» (с подзаголовком «Из романа «Алый мах»), опубликованные в 1922 году. В 1923 году был напечатан рассказ «Налет», а в 1926-м, уже после начала публикации романа,— рассказ «Я убил».

Роман «Белая гвардия» печатался в журнале «Россия», в № 4 и 5, вышедших в первой половине 1925 г.; окончание романа в журнале опубликовано не было, так как № 6 «России» за 1925 год не вышел в свет; в архиве сохранилась корректура текста из № 6 (гл. 14—19). В 1927—1929 годах роман был опубликован Булгаковым полностью двумя томами в парижском издательстве «Concorde»; второй его том, «Конец белой гвардии»,— в рижском издательстве «Книга для всех» [2].

Но отдельные отрывки из последней части романа «Белая гвардия» (со ссылкой именно на это название) Булгаков трижды печатал уже в 1924 году. Два из них («Вечерок у Василисы» и «Петлюра идет на парад») уже давно были отмечены в библиографии; [3] третий («Конец Петлюры») привлек внимание исследователей сравнительно недавно. Последний отрывок (где упоминается главный герой романа, доктор Алексей Турбин) [4], корректурный текст из «России» и окончательный текст отдельного издания 1929 года дают представление о большой работе над окончанием романа, проделанной автором.

Каковы были изменения, внесенные М. А. Булгаковым в предшествующие финалу части романа, мы, к сожалению, не знаем. В дошедшем до нас тексте главный герой романа Алексей Турбин — врач. Существовала ли иная версия этого образа? И. С. Раабен, печатавшая в начале 1924 года роман на

---

[1] Россия, 1923, № 7, с. 31.

[2] С рижским изданием 1929 г. «Конца белой гвардии» не следует смешивать вышедшее там же в 1927 г. «пиратское издание» обеих частей: «Белая гвардия (Дни Турбиных)», с сокращением первой части и поддельным окончанием, смонтированным из текста пьесы и собственных вставок издателей.

[3] Накануне, 1924, 31 мая, 3 июня; Красный журнал для всех, 1924, № 6, с. 429—434.

[4] Булгаков М. Конец Петлюры (из романа «Белая гвардия»).— Шквал, 1924, № 5 (перепечатка: Аврора, 1986, № 12, с. 95—99). Ср.: Зленко Г. Публикации Михаила Булгакова.— Вечерняя Одесса, 1986, 14 февраля.

машинке, вспоминала о том, что в первой редакции романа Алексей был военным, а не врачом и погибал в гимназии (как в пьесе «Дни Турбиных»)[1]. Точны ли эти воспоминания? Во всяком случае, в отрывке из окончания романа, опубликованном в журнале «Шквал» в том же, 1924 году, Алексей, как и в других текстах,— «квалифицированный доктор», насильно мобилизованный петлюровцами и проклинающий себя за то, что «не удрал» от мобилизации.

Текст этого окончания в значительной степени совпадает (иногда дословно) с фрагментом «В ночь на 3-е число», где тот же персонаж выступает под именем доктора Бакалейникова,— видимо, редакция романа «Белая гвардия», отрывок из которой автор опубликовал в 1924 году, была близка к той версии, которая в 1922 году именовалась «Алый мах». Очевидно также, что редакция, окончание которой было опубликовано в «Шквале», не была идентична редакции, опубликованной в 1925 году в «России». История с уходом доктора Турбина из магазина мадам Анжу и его столкновением с петлюровцами не гармонировала с окончанием романа в «Шквале», где Алексей Турбин — явно необстрелянный и жалкий своей беспомощностью человек.

Но и текст заключительной, 19-й, главы романа (возможно, без последних страниц) в корректуре «России» (№ 6) далеко не идентичен тому, который был издан Булгаковым в 1929 году в Париже и Риге. Некоторые мотивы в журнальном окончании перекликались с последним актом будущей пьесы. Вместе с тем в редакции 1925 года встречался ряд мотивов, которых не было и в пьесе: любовь Лариосика к горничной Анюте, последствия ее романа с Мышлаевским и т. д. (см. примеч. к ранней редакции последней главы «Белой гвардии» — с. 618).

Как был воспринят роман сразу после его написания и первых журнальных публикаций? Сведения об этом, к сожалению, так же бедны, как и материалы по истории романа. В журнале «Россия» публикация романа в начале и середине 1925 года была прервана; отзывы на неоконченное произведение, естественно, оказались весьма скудными.

В июле 1925 года известный критик Н. Осинский (Оболенский) упомянул о том, что Булгаков печатает в «России» роман «Белая гвардия». «Он пишет легко и интересно. Можно даже «взасос» прочитать его описание киевских событий 1918 г.— с другой, белогвардейской, юнкерской стороны. Но — боюсь ска-

---

[1] Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова, с. 51—52.

зать, а пожалуй — ведь это так, это, собственно, «вагонная литература» (у немцев Reiseliteratüre — «дорожная литература») высшего качества... Рассказано очень живо, выпукло, «объективно». Претензий автору за то, что он белых юнкеров показал не злодеями, а обыкновенными юнцами из определенной классовой среды, терпящими крушение со своими дворянско-офицерскими «идеалами», предъявлять не приходится. Но чего-то, изюминки какой-то не хватает. А не хватает автору, печатающемуся в «России»,— писательского миросозерцания, тесно связанного с общественной позицией, без которой, увы, художественное творчество остается кастрированным» [1].

В обзоре вышедших номеров «России» А. Лежнев (Горелик), решительный оппонент своего собрата по псевдониму — редактора «России» И. Лежнева, также не стал давать окончательную оценку роману Булгакова, который «еще не окончен». Он упрекнул автора лишь в «опоэтизировании» своих героев и «слишком мягких тонах», заметив, однако, что роман «задуман достаточно широко, что в нем тщательно разработана сюжетная сторона», что «в трактовке действующих лиц автор старается следовать Льву Толстому, изображая своих офицеров ни негодяями, ни героями... (есть сходство и между отдельными действующими лицами «Белой гвардии» и персонажами Толстого: так, Николка Турбин напоминает Петю Ростова)...». Он высказал предположение, что, «быть может, окончание изменит идеологическую перспективу» [2].

Однако еще до публикации окончания романа (так и не состоявшейся на родине писателя при его жизни) Булгакову пришлось встретиться и с другими, весьма зловещими для него, высказываниями.

Одно из них исходило от человека, от которого Булгаков меньше всего мог ждать враждебного к себе отношения.

Это был приятель Булгакова в 1920—1924 годах Ю. Л. Слезкин, с которым писатель встретился в 1920 году во Владикавказе, где оба они пережили перипетии гражданской войны — переход власти от белых к красным. В 1922 году Слезкин и Булгаков оказались в Москве и участвовали в одних и тех же литературных кружках — где, по воспоминаниям свидетелей, читались тексты из сочинений Слезкина, в частно-

---

[1] Правда, 1925, 28 июля.

[2] Лежнев А. Литературные заметки.— Красная новь, 1925, № 7, с. 269—270. Ср.: Лежнев А. Заметки о журналах.— Печать и революция, 1924, кн. 6, с. 123—126.

сти — три главы из его романа «Столовая гора», и какие-то фрагменты «романа (или повести)» Булгакова о Турбиных[1]. Слезкин упоминал в берлинской газете «Накануне» о романе «Белая гвардия» как о «манускрипте», пока еще не напечатанном, но высоко оцененном «всеми слушателями»[2]. Заметка была благожелательной. Но так было лишь до напечатания романа. С начала 1925 года роман стал печататься в «России» уже не в отрывках, а как единое произведение; вскоре две студии Художественного театра предложили автору инсценировать роман. А в 1925 году вышел в свет роман Слезкина «Девушка с гор (Столовая гора)», где описывался Владикавказ 1920 года. Один из основных персонажей именовался Алексеем Васильевичем — так именно, как назвал Булгаков персонажа своей несохранившейся пьесы 1920 года «Братья Турбины» и главного героя «Белой гвардии». В том, что под именем Алексея Васильевича в романе Слезкина был выведен Булгаков, не может быть сомнения — подарив в 1925 году «Девушку с гор» Булгакову, Слезкин надписал: «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову»[3].

Что же рассказывалось о «любимом герое» романа? Алексей Васильевич замкнут, осторожен, даже труслив. Однако главное, в чем он изобличается,— это ненависть к революции. «Вы хотите смутить меня? Вы хотите сказать, что страна, где невинные люди месяцами сидят по тюрьмам, не может быть свободной?.. Только грязь, разорения, убийства видите вы в революции, как и на войне видели только искалеченные тела, разорванные члены и кровь... Значит, я должна ненавидеть Россию и революцию и отвернуться от всего, что мне кажется необычайным? Но вам это не удастся...» — заявляет героиня романа «Девушка с гор» Алексею Васильевичу и решает стать на сторону победившей революции «без колебаний»: «Пусть Алексей Васильевич и ему подобные подмигивают, сколько хотят, и сидят между двух стульев...»[4].

---

[1] Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 220; Соболев Ю. Слушая.— Эхо, 1922, № 3, с. 28. Ср.: Файман Г. На полях исследований о Булгакове.— Вопросы литературы, 1981, № 12, с. 196—197.

[2] Отзывы о книгах. Манускрипты (подписано «Ю. Л. С.»).— Накануне. Литературная неделя, 1924, 9 марта, № 58 (575), с. 7. За указание на эту публикацию я благодарен Г. С. Файману.

[3] Ср.: Чудакова М. К творческой биографии М. Булгакова..., с. 244.

[4] Слезкин Ю. Девушка с гор. М., 1925, с. 45, 156, 191. Ср.: Слезкин Ю. Шахматный ход. М., 1982, с. 49—50, 117, 139.

В 1925 году, когда была напечатана «Девушка с гор», пассаж этот приобретал однозначный и достаточно зловещий смысл. Выпад Слезкина был, очевидно, неожиданным для Булгакова[1]. С 1925 года связи между обоими писателями обрываются (свидетельством отношения Слезкина к Булгакову, резко недоброжелательного, остаются только записи в дневниках Слезкина, к сожалению, в сколько-нибудь полном виде не опубликованных)[2]. А в 1936 году в «Театральном романе» (первый, незаконченный, вариант которого был начат еще в 1929 году) Булгаков, в свою очередь, вывел Слезкина под именем Ликоспастова; Ликоспастов оказывается «при близком знакомстве ужасной сволочью». Он явно поражен тем, что роман «Черный снег» (в котором без труда узнается «Белая гвардия») попал в журнал Рудольфи (Лежнева), хотя печатать его было «просто невозможно». Для героя «Театрального романа» сюрпризом оказывается прочитанное им сочинение Ликоспастова, в котором герой изображен «хитрым», «лукавым», «лживым», то есть именно таким, каким изображен Алексей Васильевич в романе Слезкина[3].

Прямое осуждение «Белой гвардии» в критике мы встречаем уже в марте 1926 года. Отвечая А. Воронскому, причислявшему «Роковые яйца» и незаконченную «Белую гвардию» к числу «произведений выдающегося литературного качества, появившихся... за истекший сезон», Л. Авербах характеризовал Булгакова как «буржуазного писателя», «наиболее яркого представителя «правого фланга», которого недопустимо даже сопоставлять с пролетарским писателем Ф. Гладковым[4].

Эта характеристика Булгакова явилась как бы прологом к той критической вакханалии, которая началась полгода спустя, когда на сцене МХАТа были поставлены «Дни Турбиных». Любопытно, однако, что в кампании против пьесы, развернувшейся с ноября 1926 года, роман уже отходил на задний план.

---

[1] В отрывках из «Столовой горы», напечатанных в «Накануне» (Литературное приложение, 1922, № 12, 18, 25; 1923, № 37, 41), никаких отрицательных характеристик Алексея Васильевича нет.

[2] Ср. дневники Ю. Слезкина, цитируемые в публикациях: Слезкин Ю. Пока жив — буду верить и добиваться.— Вопросы литературы, 1979, № 9, с. 205—227; Файман Г. На полях исследований о Булгакове, с. 200.

[3] Булгаков М. Избранная проза. М., 1966, с. 512—515, 519, 529, 537—538.

[4] Авербах Л. Опять о Воронском.— На литературном посту, 1926, № 1, с. 15—18.

«Как бы ни относиться к «Белой гвардии» М. Булгакова, печатавшейся в журнале «Россия», все же надо признать, что перед нами были интересно сработанные страницы романа, широко охватывающие эпизоды гражданской войны на Украине эпохи гетманщины и петлюровщины...— писал критик М. Загорский.— В этом воздухе эпохи пропадали или делались не особенно заметными некоторые затаенные тенденции автора и почти пропадали поступки и разговорчики маленькой группы глупых людей, отдававших свою жизнь за победу «белой идеи»...» [1]

Буря против «булгаковщины» отодвинула «Белую гвардию» на задний план и сделала почти невозможным серьезный разбор романа в те годы. А между тем такой разбор был бы очень важен при рассмотрении основных путей развития русской прозы в 20-х годах.

Уже А. Лежнев обратил внимание на связь «Белой гвардии» с толстовской традицией, отметив сходство Николки Турбина с Петей Ростовым из «Войны и мира». Связь с традицией «Войны и мира» отмечал, как мы знаем, и сам Булгаков.

Событийность «Белой гвардии», тема столкновения личного существования с «исторической судьбой», столь важная для «Войны и мира», отличала это и последующие сочинения Булгакова от большинства произведений литературы того времени.

Утрата сюжетности была довольно характерна для русской литературы начала XX века. Своеобразной читательской реакцией на такую утрату был отмечаемый многими критиками 20-х годов усиленный читательский спрос на переводную литературу — часто не очень высокого уровня [2]. Ответом на этот спрос были романы в переводном стиле о «разлагающейся» Европе. Один из таких романов — «Кто смеется последним» — написал в 1925 году Ю. Слезкин, избравший иностранный псевдоним «Жорж Деларм» (перевод собственного имени и фамилии на французский язык); в этом же стиле писали И. Эренбург, М. Шагинян («Месс-Менд») и другие.

И. Лежнева, издавшего «Белую гвардию», не привлекала ни эта псевдопереводная сюжетика, ни еще более характерный для прозы того времени «художественный беспорядок», смеще-

---

[1] Загорский М. Неудачная инсценировка.— Новый зритель, 1926, № 42 (145), 19 октября, с. 6.

[2] Тынянов Ю. Литературное сегодня.— Русский современник, 1924, № 1, с. 291.

ние масштаба событий в сюжетном повествовании, «мастерство, в одно и то же время растрепанное и вычурное», идущие в значительной степени от Андрея Белого[1]. Ориентируясь на русскую классику XIX века, и в первую очередь — на Л. Н. Толстого, Булгаков возвращался к реальным масштабам событий. Восстанавливалось значение истории как грандиозного процесса, решающего судьбы огромного числа людей и требующего от рядового человека каких-то действий.

В своих представлениях об этих действиях Булгаков отнюдь не был последователем Толстого. Не разделял он, в частности, толстовской идеализации крестьянина — Платона Каратаева. Не принимал он и толстовскую идею «непротивления злу насилием». Напротив, реакция его героев в какой-то степени противостояла толстовскому непротивлению. Видя зверства петлюровцев, доктор Турбин (в первоначальном финале романа) сладострастно мечтает о том, чтобы в руках у него оказался «матросский револьвер»: «Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому...», а потом, вернувшись домой, рыдает и укоряет себя именно за неспособность к такому действию: «Но я-то... Интеллигентская мразь...»[2]

Однако возможности отдельной личности, попавшей в водоворот исторических событий, Булгаков отнюдь не переоценивал: Най-Турс или Малышев могут отправить юнкеров по домам; демонический Шполянский может на несколько часов ускорить гибель гетманского режима, но основной ход событий зависит не от них, а от «мужичонкова» гнева.

Традиции «Войны и мира» проявлялись в «Белой гвардии» не в подражании стилистике Толстого, а в восприятии его отношения к истории. Это обстоятельство было почти не замечено современниками, обратившими мало внимания на «Белую гвардию». Шумная кампания против «булгаковщины», начавшаяся после «Дней Турбиных», мешала серьезному осмыслению его первого романа.

В какой-то степени молчание критики о «Белой гвардии» и скандал вокруг «Дней Турбиных» дезориентировали и самого писателя, затрудняли для него неизбежно трудный процесс оценки собственного первого крупного произведения. В автобиографии 1926 года он написал, что любит «Белую гвардию» «больше всех своих вещей», но в беседе с П. С. Поповым, его первым (и тогда — единственным) биографом, сказал, что счита-

---

[1] Лежнев И. О романе и о Всевобуче.— Россия, 1923, № 7, с. 10. Ср.: Чудакова М. Архив М. Булгакова, с. 53.

[2] Булгаков М. Конец Петлюры.— Аврора, 1986, № 12, с. 97—99.

ет «свой роман неудавшимся», хотя выделяет «его из всех своих вещей, т. к. к замыслу относился очень серьезно»[1].

Однако среди современников Булгакова нашлись и такие, которые сумели оценить факт появления в русской литературе «Белой гвардии». «Как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого»,— писал Максимилиан Волошин в марте 1925 года[2]. Время доказало прозорливость поэта.

Статья-послесловие к роману «Белая гвардия» написана Я. С. Лурье, комментарии — Я. С. Лурье и А. Б. Рогинским.

Стр. 179. *Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской.*— Л. Е. Белозерская (1895—1987) — в 1924—1932 гг. жена М. А. Булгакова.

*И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...*— цитата из Апокалипсиса (Откровение Иоанна Богослова, **20**, 12). По-видимому, указание на источник этого эпиграфа было снято И. Лежневым при подготовке рукописи к печати. См. незаконченное сочинение Булгакова «Тайному другу» (Новый мир, 1987, № 8, с. 178), а также «Театральный роман» (Булгаков М. Белая гвардия. Мастер и Маргарита. Театральный роман. М., 1973, с. 287).

*Велик был год... от начала же революции второй.*— За неполных полтора года в Киеве несколько раз сменились власти; все эти перемены в той или иной степени упоминаются в романе:

— 31 октября (13 ноября) 1917 г. после нескольких дней боев за установление советской власти власть переходит к Центральной Раде (см. примеч. к с. 196—197), которая 7(20) ноября провозглашает Украинскую Народную Республику (ниже — УНР) в составе федеративной Российской республики, а 11(24) января 1918 г. объявляет УНР независимым от России государством;

— 26 января (8 февраля) 1918 г. Киев взят советскими войсками;

— 1 марта 1918 г. в город вступает германская оккупационная армия; восстанавливается власть Центральной Рады;

[1] В сб.: Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков, с. 75; ГБЛ, ф. 218, к. 1269, ед. хр. 6, л. 1, 3—4.

[2] Альбом Булгакова.— ГБЛ, ф. 562, к. 27, ед. хр. 2, с. 54 (письмо Волошина было, очевидно, подарено Булгакову Ангарским). Ср.: Чеботарева В. А. К истории создания «Белой гвардии», с. 152.

— 29 апреля 1918 г.—правительство Центральной Рады разогнано немецкой военной администрацией. К власти приходит П. П. Скоропадский—«гетман всея Украины», глава провозглашенной им «Украинской державы»;

— 14 ноября 1918 г.—начало антигетманского восстания, поднятого Директорией (см. примеч. к с. 183); 14 декабря 1918 г. войска Директории занимают Киев, провозглашено восстановление УНР;

— 5 февраля 1919 г.—Киев занят Красной Армией.

Действие романа начинается за два дня до взятия Киева силами Директории, то есть 12 декабря 1918 г., и завершается в начале февраля 1919 г.—в канун вторичного занятия города большевиками.

*...в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин... вернулся на Украину в Город... белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол...*—Прообразом семьи Турбиных по многим признакам может считаться семья Булгаковых, которая к 1918 г. состояла из матери—Варвары Михайловны (отец умер в 1907 г.) и детей—Михаила, Веры, Надежды, Варвары, Николая, Ивана, Елены. М. Булгаков вернулся в Киев в начале марта 1918 г., после освобождения от врачебной службы в земстве в Смоленской губернии. Его мать умерла не в 1918 г., а спустя четыре года, в феврале 1922 г.; летом 1918 г. она, после одиннадцати лет вдовства, вышла замуж за доктора И. П. Воскресенского. Очевидно неслучайное происхождение фамилии героев в романе—девичья фамилия бабки писателя по линии матери—Турбина.

*Отец Александр...*—Прообразом отца Александра был духовник М. Булгакова А. А. Глаголев, священник киевской церкви Николы Доброго.

Стр. 180. *...в доме № 13 по Алексеевскому спуску...*—Дом этот довольно точно описан в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»; в действительности он имеет адрес—Андреевский спуск, № 13 (впервые указано в рассказе В. Некрасова «Дом Турбиных».—Новый мир, 1967, № 8, с. 132—142). Здесь семья Булгаковых жила с 1906 г. Многие киевские реалии даны в романе с небольшой трансформацией в названии. Так, известный цветочный магазин «Flora» (получавший, судя по его рекламе, цветы из Ниццы—см.: Весь Киев на 1914 г., ст. 1265) в романе—«Ниццкая флора», улица Мало-Подвальная—Мало-Провальная, и т. п.

*«Саардамский плотник»*—роман П. Р. Фурмана (1849) о юности Петра I. До 1914 г. многократно переиздавался (см.:

Яновская Л. «Саардамский плотник».— В мире книг, 1977, № 1, с. 92).

Стр. 182. *«Третий ангел... и сделалась кровь».*— Откровение Иоанна Богослова, **16, 4.**

Стр. 183. *Василий Иванович Лисович.*—Прототипом Василия Ивановича Лисовича был, очевидно, Василий Павлович Листовничий — владелец дома № 13 по Андреевскому спуску.

*Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку,— не верь. Союзники — сволочи.*— После поражения осенью 1918 г. «центральных держав» (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) страны Антанты («союзники») приняли на Ясском совещании (16—23 ноября 1918 г.) решение об оккупации очищаемой германскими и австро-венгерскими войсками территории Украины, чтобы не допустить ее занятия Красной Армией. Немедленно началась высадка десантов в Севастополе и Одессе, планировалась оккупация Киева и Харькова, однако в действительности оккупационный корпус союзников (его численность не превышала 60 тыс. человек) сумел поставить под свой контроль лишь Крым и юг Украины (район Одессы). Союзники не имели перед прогерманским правительством Скоропадского обязательств и не «спешили на выручку», однако оптимистические сообщения о движении на Киев 100-тысячной союзной армии появлялись в киевских газетах вплоть до последних дней гетманской власти (см., напр.: Киевская мысль, 1918, 10 декабря). Герои романа, чувствуя неизбежность скорой катастрофы (для них это — захват Киева или войсками Директории, или Красной Армией), обвиняют в ней и побежденную Германию, считая, что если немцы «оставят нас на произвол судьбы», то будут «мерзавцами» (с. 187), и заодно победителей-союзников, возмущаясь их медлительностью (см. далее реплику Елены: «И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...» — с. 188).

*Рисунок: рожа Момуса.*— Мом — в греческой мифологии божество злословия.

*«Бей Петлюру!»*— Хотя восстание против гетмана было поднято Директорией — коллективным органом, созданным из ведущих деятелей оппозиционных к режиму Скоропадского левых украинских партий (Винниченко, Петлюра — от социал-демократов, Швед и Макаренко — от социалистов-революционеров, Андриевский — от социалистов-самостийников), но в глазах как сторонников Директории, так и ее противников оно связывалось, в первую очередь, с именем С. В. Петлюры, единолично подписавшего 14 ноября 1918 г. в Белой Церкви первое воззвание о восстании и ставшего «головным атаманом»

республиканских войск. Уже через несколько дней начались столкновения офицерских дружин, защищавших Киев, с петлюровцами и стала ощущаться угроза падения города. Ср.: «Освобожденный недавно из тюрьмы по приказу гетмана Петлюра <...> поднял на Украине восстание против законной власти. С этой целью он занял города Белая Церковь и Бердичев и двинулся с приставшими к его отрядам бандами большевистской черни на Фастов и Киев» (От штаба главнокомандующего. Официально.— Киевская мысль, 1918, 20 ноября).

Стр. 184. *...я взял билет на Аиду.*—«Аида» — опера Дж. Верди (1870). В романе упоминаются также другие популярные оперы классического репертуара: «Фауст» Ш. Гуно, «Пиковая дама» и «Ночь под Рождество» («Черевички») П. И. Чайковского, «Гугеноты» Дж. Мейербера, «Кармен» Ж. Бизе, «Нерон» А. Рубинштейна. Страстная любовь М. Булгакова к опере (по воспоминаниям его первой жены Т. Лаппа, больше всего он любил «Фауста» и «Аиду» — см.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 50) отразилась и в других его произведениях — в повести «Собачье сердце», в романе «Мастер и Маргарита», в «Театральном романе».

*1918 года, 30-го января.*— 30 января, через четыре дня после взятия города большевиками, в Киев въехало правительство Советской Украины.

*Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.*— С октября 1918 г. в Киеве начали формироваться русские воинские соединения: Особый корпус под командованием генерала А. Н. Эристова, добровольческие дружины под командованием генерала Л. Н. Кирпичева (в романе — генерала Картузова), офицерские добровольческие дружины под командованием полковника Святополка-Мирского, Рубанова и др. В конце ноября — декабре стали комплектоваться также «летучие студенческие боевые отряды», дружины бойскаутов, Орденская дружина и т. д. Все зачислявшиеся в эти части носили форму старой русской армии. В русских соединениях, призванных защищать Киев и формально подчиненных гетману (хотя и не входивших в состав его регулярной армии), были широко распространены не только антибольшевистские и антипетлюровские, но и антигетманские настроения; симпатии здесь, как правило, склонялись в пользу Добровольческой армии Деникина.

Стр. 185. *Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор.*— Речь идет о вооруженном восстании в Киеве в октябре 1917 г. Среди юнкеров, принимавших участие

в боях на стороне Временного правительства, был и младший брат М. Булгакова Николай — прообраз Николки Турбина.

Стр. 187. *«Господин из Сан-Франциско»* — рассказ И. А. Бунина (1915). *«...мрак, океан, вьюгу»* — последние слова этого рассказа. Как вспоминал В. П. Катаев, М. Булгаков знал конец «Господина из Сан-Франциско» наизусть (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 304).

*Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра.*— Положение в побежденной на Западе, но еще остававшейся на Украине германской армии очень бегло отражено в романе. 11 ноября 1918 г. Главное германское командование отдало приказ об отводе своих войск с Восточного фронта. Хотя эвакуация с Украины растянулась почти на два месяца, немецкая армия, единственной целью которой было скорейшее организованное возвращение на родину, не вмешивалась в разгоравшуюся на Украине гражданскую войну. И германские штабы, и возникавшие в частях советы солдатских депутатов, начинающие играть все большую роль (ср. реплику Елены на с. 187: «Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами»), заключали с антигетманскими повстанцами всех направлений соглашения о нейтралитете, ставя единственным условием беспрепятственный проезд в Германию. Так, первое соглашение немцев с Петлюрой было заключено еще 17 ноября 1918 г. (см. киевскую газету «Русский голос» от 20 ноября 1918 г.; см. также: Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918—1920). М., 1966, с. 102). В тот же самый день, когда начинается действие «Белой гвардии», в Киеве собрался Всеукраинский съезд советов германских солдат, заключивший 13 декабря 1918 г. договор о мире с Директорией и окончательно лишивший Скоропадского немецкой поддержки (см.: Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. М.—Л., 1932, т. 3, с. 94).

Стр. 189. *...голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского.*— Друг и биограф М. Булгакова П. С. Попов прототипом Мышлаевского называл друга дома Булгаковых Н. Н. Сынгаевского (ОР ГБЛ, ф. 218, к. 1269, ед. хр. 6).

Стр. 192. *...богоносцы достоевские...*— Имеются в виду слова Шатова в «Бесах», что «единый народ — «богоносец» — это русский народ» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 10. Л., 1974, с. 200). Сарказм Мышлаевского перекликается здесь с оценками самого Булгакова. Ср. воспоми-

нания И. С. Овчинникова: «Деревня еще бурлила. Крестьяне то подожгут помещичью усадьбу, то учинят расправу над самим помещиком. Булгаков шутит: «Ликуйте и радуйтесь! Это же ваш народ-богоносец! Это же ваши Платоны Каратаевы)» (цит. по изд.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 300). Не только в «Белой гвардии», но и позднее Булгаков в вопросе о «народе и интеллигенции» отстаивал иную, чем у Достоевского, точку зрения. Например, в письме Правительству СССР от 28 марта 1930 г. одной из главных черт своего творчества он называл «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране».

Стр. 193. *«Уси побиглы до Петлюры».*— В период антигетманского восстания Директория опиралась на широкое крестьянское националистическое движение (см.: Киевщина в годы гражданской войны и военной интервенции. Киев, 1962, с. 135; Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине. Киев, 1922, с. 94—96). Ср. рассуждение Тальберга на с. 196: «В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса».

*Пост*— Пост-Волынский — станция под Киевом.

Стр. 194. *Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга.*— Для многих русских, особенно бывших офицеров, оказавшихся в 1918 г. в Киеве, служба у гетмана, целиком зависевшего от немцев, а кроме того, усиленно проводившего украинизацию, была нравственно неприемлема. Особое их раздражение вызывали внешние атрибуты армии «Украинской державы» — мундиры, погоны, звания и т. д. Прототипом Тальберга в романе и пьесе «Дни Турбиных» ряд авторов считает мужа сестры Булгакова Варвары — Леонида Сергеевича Карума (Белозерская-Булгакова Л. Е. О, мед воспоминаний. Ardis, Ann Arbor, 1979; Proffer E. Bulgakov. Ann Arbor, 1984, p. 22—23), офицера, вошедшего сразу после Февральской революции в исполнительный комитет городской думы. О службе Карума у Скоропадского сообщала племянница Булгакова И. И. Булгакова (там же, с. 590). Однако этот факт не подтверждается другими родственниками писателя.

Стр. 195. *Сердюки.*— Сердюцкая (гвардейская) дивизия была сформирована правительством гетмана Скоропадского летом 1918 г. В основном дивизию составили добровольцы из среды украинского крестьянства. К концу года многие из сердюков дезертировали, часть перешла на сторону Директории.

Стр. 196. *...арестовал знаменитого генерала Петрова.*— В действительности в середине марта 1917 г. в Киеве был

арестован генерал Н. И. Иванов, в дни Февральской революции назначенный Николаем II командовать войсками, направленными на подавление восстания в Петрограде.

Стр. 196—197. *...люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шароварꙑ... люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами.*— Речь идет о времени правления Центральной Рады — верховного органа УНР, созданного в основном из представителей украинских социалистических партий (лидеры — историк М. С. Грушевский и писатель В. К. Винниченко). После взятия Киева 26 января 1918 г. советскими войсками Центральная Рада перебралась в Житомир. Однако еще 19 января она добилась в Брест-Литовске признания УНР со стороны Германии и ее союзников и 27 января заключила с ними мирный договор (советское правительство Украины центральными державами признано не было). 18 февраля германские войска развернули наступление на Украине, 1 марта вошли в Киев. Следом за ними, 7 марта, в Киев вернулось правительство УНР.

Стр. 197. *...тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка: «Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».*— По-видимому, здесь обыгрывается реальная книга: Терпіло П. і П. Українська граматика. Київ, 1918. Булгакову, несомненно, был известен также другой труд тех же авторов — «Словнік російсько-український», вышедший в Киеве в одном только 1918 г. пятью изданиями.

*В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке...*— 29 апреля 1918 г. на «съезде хлеборобов», происходившем в помещении киевского цирка, было провозглашено создание «Украинской державы»; ее главой — «гетманом всея Украины и войск козацких» — был избран П. П. Скоропадский (1873—1945), помещик из старинного украинского рода, офицер русской гвардии (ср. реплику Мышлаевского на с. 191: «Кавалергард? Во дворце?»), в 1917 г.— генерал-лейтенант, командир армейского (вначале 34-го, затем 1-го Украинского) корпуса. К власти пришел при помощи германских оккупационных властей, разогнавших в день его избрания Центральную Раду, не устраивавшую немцев из-за ее лево-националистической ориентации.

Стр. 198. *Настоящая сила идет с Дона.*— Созданная на Дону в конце 1917 — начале 1918 г. Добровольческая армия (с апреля 1918 г. ею командовал А. И. Деникин) в этот момент контролировала сравнительно небольшую территорию на Северном Кавказе. Однако в конце 1918 г. в связи с поражением Германии политическое и военное влияние Добровольческой

армии, всегда декларировавшей верность союзническим обязательствам России по отношению к Антанте, резко возросло, она стала восприниматься как единственная реальная сила, способная вести эффективную борьбу с «анархией», как ядро будущей единой России.

Стр. 203—204. *Знак державноï скарбницi... На крапе — селянин с обвисшими усами... Фальшування, фальшування...*— Державна скарбница (укр.) — государственное казначейство. Бумажные деньги «Украинской державы» были украшены рисунком известного художника Г. И. Нарбута, изображавшим крестьянина и крестьянку. В последние месяцы гетманщины Украина была наводнена поддельными ассигнациями. Ср. заметку в «Киевской мысли» от 9 ноября 1918 г.: «Украинское правительство выпускает в обращение главным образом ассигнации в 50 и отчасти в 25 карбованцев. Население неохотно пользуется этими кредитками, потому что в обращении имеется много фальшивых кредиток, распознаваемость их весьма трудна, каждый толкует отличительные знаки по-своему, отпечатаны они на скверной бумаге, быстро приходят в негодность».

Стр. 203. *...15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев I-ых»...*—дореволюционные бумажные деньги достоинством соответственно в 100, 500 и 50 рублей.

Стр. 205. *«Чертова кукла»*.— Булгаков имеет в виду реальное издание — юмористическую газету «Чертова перечница», в состав редакции которой входили А. Аверченко, А. И. Куприн, И. Василевский (Не-Буква), А. Бухов, Л. Никулин, П. Пильский и др. Основанная в Петрограде, газета с середины 1918 г. стала выходить в Киеве. См. о ней специальную статью М. Петровского в киевской газете «Культура i життя» от 4 сентября 1988 г.

*Голым профилем на ежа не сядешь!*— Эпиграф к газете «Чертова перечница» № 6 (29 ноября 1918 г.). См. также примеч. к с. 217.

*Арбуз не стоит печь на мыле...*— первые строки «Азбуки Чертовой перечницы», помещенной в № 6 (с. 3) газеты. Азбука эта (как и «Советская азбука» Маяковского, написанная в том же году) восходила к «Семинарской азбуке», популярной (в гимназическом, семинарском и юнкерском фольклоре) по крайней мере с XIX в., но до сих пор не опубликованной. Первая строка «Семинарской азбуки» имела «нейтральный» характер, вторая (начинаясь с той же буквы) — непристойный. В «Азбуке Чертовой перечницы» иногда прямо цитируются строки «Семинарской азбуки» (например: «Давид играл на лире звучно...»),

иногда в измененном виде целые строфы: «Хамить в гостиной некрасиво, // Но <явный эвфемизм.— *Я. Л., А. Р.*> Троцкий в бой идет спесиво» (ср.: «Войска на бой идут спесиво, // Вонять в гостиной некрасиво»).

*...Американцы победили.*— В 1917 г. в войну на стороне Антанты вступили США; в летне-осеннем наступлении 1918 г. на Западном фронте свежие американские войска явились важным фактором победы.

*Игривы Брейтмана остроты...*— Брейтман Г. Н.— писатель-юморист, живший в Киеве.

*...Родзянко будет президентом.*—Родзянко М. В. (1859—1924) — председатель III и IV Государственной думы в 1911—1917 гг., во время Февральской революции — председатель Временного комитета Государственной думы. В монархических кругах относились к Родзянко неодобрительно, считая его одним из главных виновников краха империи и приписывая ему честолюбивые устремления стать главой государства.

Стр. 206. *...Леонид Юрьевич Шервинский... адъютант в штабе князя Белорукова...*— Прототипом Л. Ю. Шервинского был, по-видимому, друг дома Булгаковых Ю. Л. Гладыревский (см.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 73). В пьесе «Белая гвардия (Дни Турбиных)» Шервинский изображен как адъютант самого гетмана, фигурирующий в сценах в гетманском дворце. Под фамилией Белорукова в романе изображен князь Долгоруков, назначенный гетманом в конце ноября 1918 г. главнокомандующим всеми военными силами на Украине.

Стр. 207. *...когда он пел эпиталаму...*— Речь идет об «Эпиталаме» (свадебной песне) из оперы А. Рубинштейна «Нерон».

*— И где же сенегальцев роты... придут два сербских полка... пришли греки и две дивизии сенегалов.*— В составе экспедиционного корпуса Антанты, высадившегося на Черноморском побережье в ноябре 1918 г. (см. примеч. к с. 183), были английские, французские, греческие, румынские, сербские и польские части. Часть французских дивизий была сформирована из жителей африканских колоний Франции, главным образом — сенегальцев. Никакого отношения к «сингалезам» (см. с. 208), то есть жителям Цейлона, сенегальские стрелки не имели.

Стр. 208. *Вся Александровская императорская гимназия.*— В романе несколько раз указывается, что Алексей Турбин и его друзья закончили Александровскую гимназию. В этой гимназии (до 1911 г. называвшейся Первой Киевской) в 1901—1909 гг. учился сам М. Булгаков.

*— Сволочь он,— с ненавистью продолжал Турбин,— ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке!* —У русских интеллигентов, оказавшихся в Киеве в 1918 г., украинизация, которую проводило правительство Скоропадского, вызывала единодушное недоверие. «Сплошь искусственной» считал ее Д. С. Пасманик (в его кн.: Революционные годы в Крыму. Париж, 1926, с. 108), сходную оценку давал и киевский адвокат А. А. Гольденвейзер: «Политика эта <гетмана.— *Я. Л., А. Р.*> с самого начала была совершенно беспринципной. Единственным постоянным элементом в правительственной программе было угождение немцам. Немцы, по-видимому, хотели образования независимой Украины; поэтому гвардейский офицер Скоропадский стал украинским националистом и самостийником. <...> Это был лицемерный, притворный национализм. Когда Грушевский и Винниченко производили украинизацию и боролись против русского языка, это могло казаться некультурным и вредным, но, во всяком случае, это было осуществление мечты всей их жизни. Но когда нас стали украинизировать Скоропадский и Игорь Кистяковский <министр внутренних дел.— *Я. Л., А. Р.*>, то это сугубо оскорбляло и коробило своим напускным, деланным характером. <...> Потому-то весь исторический церемониал, которым окружал себя гетман,— все эти хорунжие, бунчуковые, атаманы и старшины,— производили впечатление дурного маскарада» (Из киевских воспоминаний.— Архив русской революции, вып. 6. Берлин, 1922, с. 229).

Стр. 209. *Мобилизация... признак грозный.*—В течение октября — ноября правительство гетмана неоднократно объявляло призыв в армию «Украинской державы», но каждый раз мобилизация проваливалась. Последняя мобилизация, объявленная законом от 5 декабря, началась 9 декабря. Русские офицеры, прежде уклонявшиеся от призыва, теперь стали записываться в различные военные формирования. Это было вызвано не только близостью петлюровских войск, но и новой ориентацией последнего кабинета гетмана, который, в отчаянной попытке удержаться у власти, объявил о «работе над воссозданием единой России на федеративных началах» (Киевская мысль, 1918, 16 ноября), пытался получить признание от командования Добровольческой армии, перестал преследовать русскую национальную эмблематику (ср. на с. 210: «На Владимирской уже развеваются трехцветные флаги») и т. п. Однако в целом и эта мобилизация не удалась. По сообщению Дм. Дорошенко (в его кн.: Історія України, т. 2. Ужгород, 1932, с. 419), из 15 тысяч зарегистрированных в Киеве русских офицеров в дружины в общей сложности записалась едва ли половина. Другие ис-

точники (напр., А. И. Деникин) дают еще меньшие цифры (Революция на Украине по мемуарам белых. М.—Л., 1930, с. 176).

*...немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.*— Германские власти действительно старались не допускать существования на Украине воинских частей, в которых могли подозревать недовольство оккупационным режимом. Так, еще в процессе гетманского переворота, в апреле 1918 г., они распустили курень сечевых стрельцов Коновальца, затем дивизию «синежупанников», сформированную незадолго до того в немецких лагерях из военнопленных украинцев, и т. д. И даже когда они в октябре 1918 г. дали согласие на формирование русского «Особого корпуса», то важнейшая цель, которая при этом преследовалась, была удаление из Киева русского офицерства, недовольного немцами и гетманом,— по замыслу последних, корпус должен был быть использован для борьбы с «анархией» в прифронтовой полосе, на границе с РСФСР. Уверенность, что немцы «никогда бы не потерпели значительной военной силы на Украине», высказывал в своих мемуарах и опиравшийся на мнение близких к Скоропадскому кругов Н. М. Могилянский (Революция на Украине по мемуарам белых, с. 133).

Стр. 211. *...во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?*— Скоропадский ездил с визитом в Германию в первой половине сентября 1918 г.

*Несколько преувеличено...*— Мышлаевский цитирует известную шутку Марка Твена (ср.: Твен Марк. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12. М., 1961, с. 242).

*Государю удалось спастись...*— Слухи о чудесном спасении царской семьи (расстрелянной 17 июля 1918 г. по приказу Уральского совета) были очень упорными; при этом часто называлось имя Пьера Жильяра, воспитателя наследника, действительно сопровождавшего царскую семью вплоть до Екатеринбурга, но успевшего выехать оттуда до расстрела.

Стр. 212. *...Вильгельма же тоже выкинули?.. Они оба в гостях в Дании...*— За месяц до событий, описываемых в романе, Вильгельм II отрекся от престола и выехал из страны, но не в Данию, а в Голландию.

Стр. 213. *...вера православная, власть самодержавная!*— слова генерала Талызина из пьесы Д. С. Мережковского «Павел I», шедшей в то время в Киеве в театре Соловцова.

Стр. 217. *Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.*— Глумящийся «кошмар в брюках в крупную клетку» соединяет в своей тираде циничный

афоризм из современного юмористического листка (см. примеч. к с. 205) с рассуждениями персонажа «Бесов», крайнего западника писателя Кармазинова (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 10, с. 287—288). В первой редакции пьесы «Белая гвардия» слова Кармазинова о России цитировались Алексеем как пророчество Достоевского, который «видел» будущее (ср.: Лурье Я. С. М. Булгаков в работе над текстом «Дней Турбиных».— Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Л., 1987, с. 24). «Недочитанный Достоевский» и «Бесы», глумящиеся «отчаянными словами», упоминаются в романе и далее. Любопытно, что о Кармазинове Достоевского Булгаков вспоминал и в своем критическом очерке о писателе Ю. Слезкине: «От людей, любезно приподымающих котелки, Слезкин — плоть и кровь. Когда их стихия взмывает в нем особенно высоко, он доходит до кармазиновского — дворянского присюсюкивания... Все атрибуты кармазиновщины по временам у Слезкина налицо... Кармазинов человек определенного круга, отмеченного фуражкой с красным околышем. Ю. Слезкин также...» (Сполохи, 1922, № 12. Цит. по кн.: Слезкин Ю. Роман балерины. Рига, 1928, с. 16—17; на этот текст обратил наше внимание А. Ю. Арьев).

Стр. 220. *...знаменитый театр «Лиловый негр» и... клуб «Прах» (поэты — режиссеры — артисты — художники)...*— О «маленьком театре, известном петербуржцам», приехавшим в то время в Киев (очевидно, «Кривой Джимми»), писал в своих воспоминаниях о Киеве 1918 г. И. Эренбург. Тогда же в Киеве гастролировал и известный театр Н. Балиева «Летучая мышь». Эренбург упоминал также «о «Литературно-артистическом клубе»; помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно «Клак» («Киевский литературно-артистический клуб»). В месяцы Советской власти его переименовали в «Хлам»... «Хлам» означал: «Художники, литераторы, актеры, музыканты» (Эренбург И. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8. М., 1966, с. 286, 289). Название у Булгакова «Прах» пародирует, очевидно, именно эту последнюю аббревиатуру.

Стр. 221. *...что это за такая новая страна — Польша...*— 7 ноября 1918 г. в Люблине после почти 150-летнего перерыва было провозглашено независимое Польское государство.

Стр. 225. *Однажды, в мае месяце... страшный и зловещий звук.*—24 мая 1918 г. утром в предместье Киева начали взрываться склады артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. Около 200 человек погибли и 10 000 остались без крова. Причина взрыва — пожар на одном из складов. Следствие по этому делу (в организации диверсии подозревали разведку Антанты) не дало результатов.

Стр. 225—226. *...убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна...*— Г. Эйхгорн был убит 30 июля 1918 г. левым эсером Борисом Донским.

Стр. 228 *...из камеры № 666...*— 666 — это число упоминается в Апокалипсисе как связанное с Антихристом (Откровение Иоанна Богослова, **13**, 18).

Стр. 228—229. *Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер... типичный земгусар... Он был в Таращe народным учителем...*— Петлюра С. В. (1879—1926) — один из руководителей украинского сепаратистского движения 1917—1920 гг. После Февральской революции — председатель Украинского фронтового комитета, затем секретарь (министр) по военным делам Генерального секретариата Центральной Рады. При гетмане — в оппозиции, председатель Киевского губернского земства и Всеукраинского союза земств. Летом 1918 г. был арестован по подозрению в заговоре, сидел в Лукьяновской тюрьме, в начале ноября освобожден (в романе дата освобождения отнесена к сентябрю). Слухи, переданные в романе, отражают некоторые элементы биографии Петлюры. Он учился в духовной семинарии, участвовал в начале века в украинском националистическом движении, эмигрировал в австрийский Львов; по возвращении в Россию был учителем и бухгалтером; уезжал в Петербург и Москву; во время мировой войны был председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту.

Стр. 229. *...едет черношлычная конница на горячих лошадях.*— Шлык — распространенный в украинских национальных частях суконный цветной верх шапки (папахи) в форме свешивающегося набок мешка. Шлык иногда обшивался галуном (ср.: «зеленые галунные хвосты гайдамаков»), мог иметь на конце кисточку (ср.: «мятые, заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыка́ми с золотыми кисточками» — с. 387).

Стр. 232. *Галльские петухи в красных штанах... заклевали толстых кованых немцев до полусмерти... и немцы! немцы!— попросили пощады.*— После серии военных поражений летом — осенью 1918 г. на Западном фронте правительство Германии в октябре 1918 г. обратилось к союзникам с просьбой о заключении перемирия и мира. «Галльский петух», «фригийский колпак» — укоренившиеся в массовом сознании элементы эмблематики республиканской Франции — главного противника кайзеровской Германии, а «красные штаны» — характерный признак формы французских солдат.

Стр. 233. *...вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным*

*огнем вместе с эскадроном белградских гусар...*— Белградского гусарского полка (в котором, по «Белой гвардии», служили также Алексей Турбин и Най-Турс) в русской армии не существовало. Название, по-видимому, было навеяно Булгакову одним из старейших армейских полков — Белгородским уланским, входившим в состав Киевского военного округа.

Стр. 235. ...*облака красные, в цвет наших чакчир отливают...*— Чакчиры — рейтузы красно-коричневого цвета, которые носили армейские гусары с 1908 г.

Стр. 237. *В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси.*— Это место — несомненный отголосок образа «дубины народной войны» из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

Стр. 238. *Миф Петлюра... столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне...*— Для Булгакова, как и для Толстого, и Наполеон, и Петлюра — миф не в том смысле, что они никогда не существовали, а в том, что, говоря словами Толстого, «влияние Наполеонов на этих людей есть только внешнее и фиктивное» — они «суть ярлыки, дающие наименование событию» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 11, с. 7, 219).

*Полковник Торопец.*— Прототипом Торопца был полковник Е. М. Коновалец (1891—1938). В начале мировой войны он был хорунжим австро-венгерской армии, попал в плен к русским, осенью 1918 г. командовал сформированным им полком сечевых стрельцов, в декабре 1918 г. командир корпуса облоги (осады) Киева.

*Винниченко*— В. К. Винниченко (1880—1951) — украинский писатель и политический деятель. Литературную деятельность начал в 1902 г.; к 1917 г. был широко известен как автор рассказов, повестей, романов — «На весах жизни», «Заветы отцов» и др. В марте 1917 г.— один из организаторов Центральной Рады, в конце 1917 — начале 1918 г.— председатель Генерального секретариата (правительства УНР), при гетмане — в оппозиции, председатель (с августа 1918 г.) Украинского национального союза, в ноябре 1918 — феврале 1919 г.— номинальный глава Директории. В 1920 г. эмигрировал, вскоре вернулся на Украину, был назначен заместителем председателя Совнаркома УССР, но почти сразу вновь эмигрировал.

Стр. 239. *Энно*— французский консул в Одессе; несмотря на свою штатскую должность, Энно пользовался большим влиянием на Украине — именно по его настоянию немцы затягивали окончательное соглашение с Петлюрой. Возможный приезд Энно в Киев — постоянная тема городских газет в ноябре —

декабре 1918 г. (см. «Киевскую мысль» 22, 23, 26 ноября 1918 г. и далее).

Стр. 248. *...сечевых стрельцов.*— «Січови стрільці» — так назывались (в подражание Запорожской Сечи XVI—XVII вв.) военные части, сформированные в Западной Украине (Галиции) в ходе мировой войны правительством Австро-Венгрии из военнопленных русской армии, украинцев по национальности. Так же называлась воинская часть, сформированная на Украине в конце 1917 г., а затем вновь в сентябре 1918 г. в основном из украинцев-галичан, сражавшихся ранее в составе австро-венгерской армии и оказавшихся в русском плену. 14 ноября 1918 г. полк сечевиков, под командованием Е. М. Коновальца, входивший в состав армии «Украинской державы» и дислоцировавшийся в Белой Церкви, первым поддержал восстание против гетмана. Вскоре полк разросся до дивизии, а затем до корпуса и стал ядром петлюровской армии, бравшей Киев.

Стр. 260. *...обкатим этого милого президента шестью дюймами...*— Поста «президента» С. В. Петлюра никогда не занимал. Для монархиста полковника Малышева это слово — элемент ненавистного ему революционного республиканизма. Ср. реплику Алексея Турбина: «...будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента — сволочь такую».

Стр. 268. *Полный мизерабль, как у Гюго.*— «Les misèrables» — «Отверженные», роман В. Гюго.

Стр. 269—270. *Человека облекли в форму германского майора... откинув стенку специальной машины, заложили в нее.*—Эвакуация гетмана под видом раненого германского офицера подтверждается рядом источников: об этом рассказывает и близкий к Скоропадскому Н. М. Могилянский, сообщающий, что отрекшийся от власти гетман, «брошенный всеми, увезен был в Берлин... благодаря заботам о нем одного германского врача», и глава Директории В. К. Винниченко, писавший, что «Скоропадский, переодетый немецким офицером, удрал в немецком эшелоне в Германию» (Революция на Украине..., с. 135, 291).

Стр. 274. *...бежал туда же... командующий нашей армией... Белоруков.*—По воспоминаниям Деникина, князь Долгоруков 1(14) декабря «сдал войска на капитуляцию без всяких условий и отбыл в Одессу» (Революция на Украине..., с. 176).

Стр. 283. *Полковник Болботун.*— Прототипом его был полковник П. Болбочан. Командуя 2-м Запорожским полком — одной из самых мощных частей армии Скоропадского, он перешел в ноябре 1918 г. на сторону Директории, захватил власть в Харькове и двигался через Полтаву на Киев. Болбочан

был назначен командующим войсками Директории на левом (восточном) берегу Днепра. Спустя полгода он выступил против Петлюры и был расстрелян (см.: Революция на Украине..., с. 321).

Стр. 285. *Усы у них вниз, червячками, как на картинке Лебидя-Юрчика.*—Х. Лебидь-Юрчик — государственный казначей «Украинской державы». См. также с. 203 и примеч. к ней.

Стр. 287. *...Фельдман умер легкой смертью.*—Этот эпизод, возможно, был навеян сообщением киевской газеты «Последние новости» (5 (18) декабря 1918 г.) о «трагической гибели» Овсея Мордуховича Фельдмана в день входа петлюровских войск. *«Шма-исроэлъ»* — «Слушай, Израиль» — первые слова традиционной еврейской молитвы.

Стр. 288. *Михаил Семенович Шполянский.*—Прототипом Шполянского был Виктор Борисович Шкловский (1893—1984). Литературовед, писатель и сценарист, он был участником германской и гражданской войн, служил еще до революции в бронеавтомобильных частях. В 1923 г. Шкловский опубликовал книгу «Сентиментальное путешествие», где упоминал, как в декабре 1918 г., служа в броневом дивизионе, «засахаривал гетманские машины». В 1919 г. он напечатал в Киеве литературоведческую статью (хотя отнюдь не об «интуитивном» в литературе, а о вопросах художественной формы) (см.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 337—342). Может быть отмечена также близость фамилий «Шполянский» и «Шкловский»: Шпола и Шклов — маленькие города (местечки) в тогдашней «черте оседлости».

Стр. 320. *Клопен Трульефу* (в совр. транскрипции — Труйльфу) — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», предводитель нищих.

Стр. 329. *Суржанский... Ларион...*—Прототипом Лариосика был, по воспоминаниям Т. Н. Кисельгоф и И. Л. Карум, Н. Н. Судзиловский, двоюродный брат Л. С. Карума (см. примеч. к с. 194) и Ю. Л. Гладыревского (см. примеч. к с. 205).

Стр. 358. *...в музее сидит тысяча человек наших, голодные, с пулеметами...*—О судьбе юнкеров и офицеров, спасавшихся в здании Педагогического музея (откуда часть из них благодаря вмешательству консулов стран Антанты и представителей немецкого командования была выпущена и отправлена в Германию) сообщает ряд источников. См., напр.: «Все вооруженные части сдались Петлюре. Я в числе многих сотен других офицеров попал в заключение в Педагогический музей на Владимирской улице. <...> Многие офицеры освобождались за деньги и благодаря украинским связям. Я был в числе тех, у

кого ни того, ни другого не было. И 30 декабря 1918 года всех нас, оставшихся в заключении, человек пятьсот — шестьсот, погрузили в вагоны и под охраной немецкого и украинского конвоя повезли в Германию» (Гуль Р. Моя биография.— Новый журнал, кн. 164. Нью-Йорк, 1986, с. 17—18).

Стр. 380—381. *Крепость Ивангород... И Ардаган и Карс...*— города, принадлежавшие до первой мировой войны Российской империи, утраченные ею и вошедшие в состав созданных осенью 1918 г. новых государственных образований — Польши и Армении (после армяно-турецкой войны 1920 г. Ардаган и Карс отошли к Турции).

Стр. 386. *...то сила Петлюры... идет на парад.*— Парад по случаю въезда Директории в Киев состоялся 19 декабря. О нем см. отчет в газете «Ставка» (31 грудня 1918 р.); см. также в кн.: Винниченко В. Відродження нації. Киев-Видень, 1920, ч. III, с. 162—167. Как и в случаях с русскими военными формированиями, так и при описании петлюровской армии, Булгаков зачастую дает неточные названия полков. Так, например, Черноморский курень действительно существовал, но имя гетмана Мазепы носил не он, а один из полков Запорожской дивизии, и т. п. Ср.: Прохода В. Вождь та війська.— Збірник памяти Симона Петлюри (1879—1926). Прага, 1930; Крипякевич И., Гнатевич Б. Істория українського війська. Львів, 1936.

Стр. 391. *...пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита.*— Надпись на памятнике (по проекту М. О. Микешина, открыт в 1888 г.), которую пытаются сбить петлюровцы,— «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия».

*Универсал будут читать.*— Универсалами, в подражание гетманским грамотам XVIII в., назывались манифесты Центральной Рады.

Стр. 413. *Было его жития в Городе сорок семь дней. ...подлетел февраль и завертелся в метели.*—3—5 февраля 1919 г. петлюровцы оставили Киев, и в город вступили части украинской Красной Армии.

Стр. 416. *А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит — губитель.*—Аваддон в иудаистической мифологии фигура, близкая в ангелу смерти. Демон смерти Абадонна появляется также в романе «Мастер и Маргарита» (Булгаков М. <Романы>. М., 1973, с. 675, 690). Аполлион — дословный греческий перевод имени Аваддон; в христианской демонологии — «ангел бездны», предводитель полчищ чудовищной саранчи, идущей покарать человечество в конце времен (см.: Откровение Иоанна Богослова, **9**, 3—11).

Стр. 426. *«И увидал я мертвых и великих... ибо прежнее прошло».*—Откровение Иоанна Богослова, **20**, 12—15; **21**, 1—4.

Стр. 427. ...*на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар... Шар обдал Петьку сверкающими брызгами.*—Этот мотив перекликается с аналогичным мотивом в «Войне и мире» — сном Пьера Безухова: «Живой, колеблющийся шар... Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой, и капли эти двигались, перемещались...— Вот жизнь...» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 12, с. 158). Сон Пьера Безухова упоминается в инсценировке «Войны и мира», сделанной Булгаковым,— сцена XXVII (Булгаков М. Пьесы. М., 1986, с. 598).

Стр. 428. *Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле.*— Тема звезд как воплощения вечности, противостоящей мелочности человеческой жизни, также постоянно встречается в «Войне и мире» (ср.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 10, с. 372; т. 11, с. 374; т. 12, с. 105—106, 194—196—последней сценой завершается инсценировка «Войны и мира» у Булгакова).

## РАССКАЗЫ

«Необыкновенные приключения доктора».— Впервые — журн. «Рупор», 1922, № 2. Рукопись не сохранилась.

«Красная корона (Historia morbi)».— Впервые — «Литературное приложение» к газете «Накануне», 22 октября 1922 г. Рукопись не сохранилась.

«Китайская история».— Впервые — журн. «Иллюстрации Петроградской правды», 1923, № 7 (6 мая); затем — сб. «Дьяволиада», М., 1925.

В архиве сотрудника издательства «Недра» М. И. Чуванова сохранилась наборная рукопись с авторской правкой. Печатается по тексту сб. «Дьяволиада».

«Налет (В волшебном фонаре)».— Впервые — газ. «Гудок», 1923, 25 декабря, под инициалами «М. Б.». Рукопись не сохранилась. Атрибутируется по постоянно используемой автором подписи инициалами, по содержанию и сюжетно-повествовательным особенностям.

«Богема».— Впервые — журн. «Красная нива», 1925, № 1. Рукопись не сохранилась.

Все рассказы (кроме рассказа «Китайская история») печатаются по тексту первой публикации.

Начало своей литературной деятельности Булгаков датировал ноябрем 1919 года. «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью <...> написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов» (автобиография, октябрь 1924 г.— Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков, с. 55). Этим городом мог бы стать и Ростов (там выходило в ту осень множество газет и журналов), где Булгаков побывал, следуя военврачом на

Северный Кавказ, и Грозный, где 13 (26) ноября в газете «Грозный» была опубликована недавно разысканная статья «Грядущие перспективы» с резкими характеристиками Февральской и Октябрьской революций.

П. С. Попов написал в 1940 году, следуя за словами самого Булгакова: «Его литературный дебют относится к 19 ноября 1919 года». Т. Н. Кисельгоф, приехавшая к мужу, по-видимому, поздней осенью 1919 года, вспоминала: «Когда я приехала во Владикавказ, он мне сказал: «Я печатаюсь». В письме двоюродному брату К. П. Булгакову от 2 февраля 1921 года Булгаков напоминает: «Около года назад я писал тебе, что я начал печататься. Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах». Речь идет, таким образом, о печатании зимой 1919/20 годов на территории, контролируемой Добровольческой армией. Об этом же — запись в дневнике Ю. Слезкина (от 21 февраля 1932 г.), так вспоминающего о знакомстве с Булгаковым: «Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента».

В первые месяцы после дебюта Булгаков печатает в газетах статьи, корреспонденции и рассказы. Они не разысканы; один из них — «Дань восхищения» — был опубликован в первую неделю февраля 1920 года в какой-то из северокавказских газет.

Сохранились лишь вырезанные из нее фрагменты, посланные автором год спустя родным в Киев — с прозрачным для них намеком на биографическую основу рассказа.

Этот первоначальный пласт был перечеркнут в марте 1920 года. Литературную работу пришлось начинать заново — и в ином идеологическом ключе. Во Владикавказе советского времени Булгаков выступал в печати как театральный рецензент; в его публикациях 1920—1921 годов уже не слышен убежденный голос недавнего газетного публициста. Старание примениться к новым общественно-литературным обстоятельствам приводит его к сочинению пьес, большинство из которых идет на сцене местного театра. «Не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится,— пишет он сестре Вере 6 апреля 1921 года.— Думаю, что это Вы поймете сами... Творчество мое резко разделяется на две части: подлинное и вымученное» (Булгаков М. А. Письма к родным (1921—1922 гг.). Публ. Е. А. Земской.— Известия АН СССР, серия литературы и языка. Т. 35, № 5. 1976, с. 458).

В сентябре 1921 года Булгаков приезжает «без денег, без вещей в Москву с тем, чтобы остаться в ней навсегда» (автобиография 1924 г.). Он снова — в третий раз — оказался в положении дебютанта, перечеркнув — уже по собственной

воле — недавние драматургические опыты («перечитав их, торопливо уничтожил» — там же). Вхождение в литературную жизнь Москвы совершалось с мучительными трудностями. Булгакову пришлось вести хронику в газетах — «Торгово-промышленный вестник» (декабрь 1921 — январь 1922 г.), «Рабочий» (с 1 марта 1922 г., под псевдонимом «Михаил Булл», «М. Булл», «Булл», под инициалами). В письме к сестре Наде от 24 марта 1922 года он сетует: «Работой я буквально задавлен. Не имею времени писать» (Вопросы литературы, 1984, № 11, с. 213).

Рассказ «Необыкновенные приключения доктора» — один из самых первых напечатанных в Москве. Очевидна биографическая основа рассказа; в нем — кратчайшая летопись злоключений доктора Булгакова зимой 1918/19 годов (хотя в рассказе годы не названы). Особенно близка к фактам биографии автора главка 3 «Ночь со 2 на 3» (см. коммент. к рассказу «В ночь на 3-е число»). Дата записи «...И мобилизовали» — 22 февраля — относит событие к моменту пребывания в Киеве красных; никаких данных о хотя бы кратковременной службе Булгакова у красных у его биографов нет. Главка 7, состоящая из двух фраз: «Кончено. Меня увозят»,— не датирована; этим оставлена принципиальная неясность относительно того, кто же именно увозит доктора N. Поскольку в последующей, 8-й главке он оказывается в белой армии, автор оставляет читателю возможность толковать мобилизацию его белыми как насильственную. Фиксируя и подчеркивая в рассказе безобидный облик мобилизованного доктора, мечтающего о дезертирстве, Булгаков решал не только литературные, но, возможно, и биографические задачи — он стремился окончательно затушевать опасный силуэт канувшего в прошлое жесткого публициста добровольческих газет.

Сочинение очевидным образом связано с «Записками на манжетах» — повествовательно-композиционным принципом (форма подневных записок от первого лица, членение на главки) и прямым хронологически-фабульным стыком. Название последней главки «Необыкновенных приключений» — «Великий провал» — уясняется в первой главе «Записок на манжетах», где идет речь о «катастрофе», то есть о поражении белой армии. «Все ближе море! Море!» — восклицания, завершающие рассказ, также расшифровываются в «Записках на манжетах» — как надежда героя на отъезд за границу. Вместе с рассказом «Богема» и «Записками на манжетах» «Необыкновенные приключения доктора» составляли в первый московский год некий общий контекст интенсивной переработки недавних впечатле-

ний. Специфичность ситуации была в том, что часть впечатлений была получена автором в одной исторической ситуации, а перерабатывалась — в другой: военврач белой армии становился московским литератором.

В центре рассказа — фигура Врача, ставшего устойчивым персонажем творчества Булгакова (см. коммент. к «Запискам юного врача»). Дается еще одна сюжетная версия: как и герой «Морфия», «доктор N» ведет дневниковые записи, но, также не успев вступить на стезю литераторства, исчезает — он то ли убит, то ли утонул в момент эвакуации, то ли все же эвакуировался и оказался за границей. Все три варианта отражали биографические возможности самого Булгакова в 1920 году.

Композиционный прием, впервые печатно продемонстрированный Булгаковым в этом рассказе,— «бессвязные записки» оставшегося безвестным автора печатает его друг — станет постоянным («Морфий», «Записки покойника»). Мотив *безымянности* автора некоего сочинения («доктор N») также укрепится в творчестве Булгакова, получив особое и самостоятельное значение в последнем романе, героем которого станет безымянный Мастер.

Рассказ «Красная корона» — самое значительное из произведений, напечатанных в 1922 году. В нем — ядро художественного мироощущения Булгакова, та завязь, из которой вышли впоследствии самые разные замыслы. В рассказе впервые разработана тема *вины*, только обозначенная три года назад в статье «Грядущие перспективы»,— как тема вины общенациональной. Участие — хотя бы и бездействием — в убийстве соотечественников, ложащееся неискупимым бременем на всю дальнейшую судьбу каждого в отдельности и всех вместе,— этот биографический мотив будет положен в основание художественного мира Булгакова.

Совпадение имени младшего брата героя рассказа с именем брата самого Булгакова показывает, что для автора было важно зафиксировать связь рассказа с биографической основой — с судьбой младших братьев, воевавших в рядах Добровольческой армии; известие о том, что Николай и Иван Булгаковы живы и находятся за границей, дошло до родных только в январе 1922 года.

Сознание своей вины приводит героя «Красной короны» к *безумию*. Это — один из вариантов *болезни*, повторяющейся в разных произведениях реакции героев на роковые исторические события. Сами же эти события выступают в виде «истории болезни» (подзаголовок рассказа). В «Красной короне» есте-

ственным образом впитан опыт Чехова; особенно очевидно воздействие рассказа «Черный монах» (оно отразилось также в «Морфии» и в ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита» — Воланд, сидящий в кресле у постели «скорбного главой» Иванушки; внимание Булгакова к рассказу очевидно и в его письмах к П. С. Попову — см. «Театр», 1981, № 5, с. 92: «...засел у меня в голове этот рассказ»). Конец булгаковского рассказа («Да, я безнадежен. Он замучит меня») соотносителен с трагическим финалом рассказа Чехова. Отметим характерную параллель — в одном из писем, которое не могло быть известно Булгакову, Чехов дает «Черному монаху» такое определение: «Это рассказ медицинский, historia morbi» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., 1977, с. 262).

Сюжетный ход душевной болезни, сплетенный с мотивами *искупления* и *покоя,* войдет впоследствии в пьесу «Бег», черты главного героя которой Хлудова уже намечены в «господине генерале» «Красной короны» («...не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске?»). Этот же ход станет важной частью в сюжетике романа «Мастер и Маргарита».

В рассказе 1922 года впервые возникнет и сюжетная ситуация *навязчивого сна,* в котором «переигрывается» то, что уже состоялось. Болезненным стремлением заново пережить протекшие трагические события прошлого и изменить их ход, сняв с себя груз вины, будут наделены многие булгаковские герои. Мотив возвращения прошлого *во сне* будет многократно повторен — в ранней редакции пьесы «Дни Турбиных» («Белая гвардия»),— где проснувшийся Алексей Турбин кричит: «Скорей! Скорей! Надо помочь. Вот он, может быть, еще жив...», в неоконченной повести 1929 года и в «Мастере и Маргарите» (сон Пилата об «отмененной» казни Иешуа). Сон может заменяться забытьем — так, в пьесе «Александр Пушкин (Последние дни)» Наталья Николаевна Пушкина после смерти поэта повторяет: «Рана неопасна... Он будет жить... <...> И тотчас, тотчас вся семья на Полотняный завод...»

Ставшее устойчивым противопоставление необратимости прошлого — мучительному желанию героя вернуть его и «исправить» будет снято только однажды, в рассказе «Я убил». В нем автор сделает предметом изображения ситуацию реального, а не воображаемого вмешательства героя в ход событий: доктор Яшвин стреляет в убийцу-полковника и убивает его. В этом смысле рассказ «Я убил» выходит за пределы сюжетной структуры, ставшей одной из опорных в художественном мире Булгакова.

В рассказах о гражданской войне, в пьесе «Бег» Булгаков варьирует одну и ту же этико-психологическую ситуацию — возможности и последствия столкновения личности с гибельной силой. Ее неразрешимость привела к помрачению рассудка героя «Красной короны», который, скованный смертельным страхом, не мог сказать тогда того, что он повторяет теперь, в уединении больничной палаты («Господин генерал, вы — зверь...»). Доктор Бакалейников, не сдержавшись, выкрикивает протестующие слова в лицо убийцам — и лишь по случайности остается жив («В ночь на 3-е число»). Стрельцов в рассказе «Налет» бросает проклятия в лицо врагам, уже твердо зная, что жизнь кончена.

В пьесе «Бег» вновь воспроизводится та же ситуация — ценой за слова протеста является жизнь. Но, по законам уже сложившейся к тому времени булгаковской поэтики (которая еще в «сыром» виде представлена во фрагменте «В ночь на 3-е число»), ставит на карту свою жизнь больная, находящаяся в полубреду Серафима Корзухина[1] и вестовой Крапилин, пребывающий в этот момент в «забытьи» — то есть в иной, управляемой не здешними законами действительности. Так ситуация колеблется между явью и сном, реальностью и ирреальностью. Напомним к тому же, что все картины «Бега» названы *снами.*

Особенность художественной работы Булгакова — не только устойчивость зародившихся в 1919—1922 годах мотивов, но повторяемость сюжетно-фабульных ходов, наличие предметно-повествовательных «блоков», сформировавшихся в те же ранние годы. Так, обязательным набором для мотива возвращения прошлого и снятия вины стали *сон, свет* и *смех* («...все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся» — «Красная корона»; «Смеялся, поманил меня пальцем. <...> сверкали электрические лампы в люстре» — «Тайному другу»; «...немедленно тронулся по светящейся дороге <...> Он даже засмеялся во сне от счастья» — «Мастер и Маргарита»). С этим мотивом соединены также лучи света из глаз покойного, снящегося герою, и слезы спящего («Красная корона», «Тайному другу», «Мастер и Маргарита» — «...стонал и всхлипывал во сне Пилат»). Весь блок деталей воспроизведен и в «Белой гвардии» («Вахмистр рассмеялся возбужденно»; «Глаза Жилина испустили лучи»; «Доктор

---

[1] Ее появление в «Беге» предварено появлением «растрепанной женщины» в рассказе «Я убил» (Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова, с. 186). Это — тот же вариант демонстрации столкновения индивидуума с вооруженной силой.

отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах»), где отсутствует мотив вины, а «вещий» сон Турбина обращен не в прошлое, а в будущее. И это подтверждает предположение о том, что в ранних, не дошедших до нас редакциях романа мотив вины — присутствовал (см. коммент. к рассказу «В ночь на 3-е число»).

«Китайская история» (1923), один из лучших рассказов Булгакова, возможно, был вызван к жизни полемическим импульсом по отношению к повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» (см. примеч. Э. Проффер к публикации рассказа: Булгаков М. Собрание сочинений, т. 2. Ann Arbor, 1985, с. 531). Своеобразный персонаж Вс. Иванова — китаец, не говорящий по-русски, но воюющий в рядах Красной Армии,— не менее чем за год до выхода рассказа привлек внимание читателей и критики. Романтизированная версия участия китайца в чужой для него, но понятной на основании классового инстинкта войне Булгаковым резко оспорена. Почти одновременно с первой публикацией «Китайской истории» еще одна версия той же социальной ситуации — более жесткая, чем у Вс. Иванова,— появилась в журнале «Сибирские огни» (1923, № 1-2) в рассказе Г. Павлова «Ли-Ю» (с подзаголовком «Примитив»), где китаец поражает своих сотоварищей-красноармейцев «веселым» рассказом о зверском убийстве двух взятых им в плен чехов, поясняя: «Кыласна Армия — шибко холсо... Чеха — худой». В том же 1923 году опубликован рассказ И. Бабеля «Ходя» (Силуэты. Одесса, 1923, № 6/7). Рассказ, не имевший отношения к материалу гражданской войны, изображал инородный, чужой для российского обывателя тип сознания и поведения. Возможность трагического эффекта в случае, когда один мир механически, клином входит в толщу мира ему чуждого,— эту глубокую тему, начатую рассказом 1923 года, Булгаков развернет три года спустя в пьесе «Зойкина квартира»: чем безмятежней легкомысленная игра горничной Манюшки с ухаживающими за ней китайцами — тем жестче и беспощадней проявляет автор свое представление о неслиянности миров Востока и Запада. (В отличие от распространившейся в те годы концепции «евразийства» Булгаков сближал Россию с Западом.) Феномен мировой революции, казавшийся в те годы столь реальным и притягательным, представление о том, что социальные перегородки бесконечно прочнее и важнее национальных («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), Булгаковым, во всяком случае, если не оспорены, то поставлены под сомнение.

Замысел рассказа «Китайская история», выходя за пределы даже и этих важных для автора постулатов, подымается до

пафоса общечеловеческой трагедии. Перед нами — трагедия отдельной и единственной человеческой жизни, бессмысленно сгорающей в пламени социального катаклизма — в идеально чистом случае помимовольного и совершающегося почти без участия сознания вовлечения этой жизни в борьбу активных участников и действователей.

## ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Впервые: часть 1 — «Литературное приложение» к газ. «Накануне», 1922, 18 июня (с большими купюрами, отмеченными точками, с эпиграфом: «Плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским»); «Возрождение», 1923, т. 2 (с купюрами, с некоторыми разночтениями по сравнению с «Накануне», без эпиграфа, с подзаголовком — «Часть первая»); часть 2 — «Россия», 1923, № 5. Отрывки из 1-й части печатались: газ. «Бакинский рабочий», 1924, 1 января.

Рукописи не сохранились.

Печатается по тексту альм. «Возрождение» (часть 1-я) и журн. «Россия» (часть 2-я).

### 1

Дата, обозначенная автором в первой публикации «Записок»,— «1920—1921» — указывает, что «Записки» были начаты во Владикавказе. В Москву Булгаков приехал (в 20-х числах сентября 1921 года), возможно, с написанной вчерне «кавказской» частью и завершал ее, существенно дорабатывая, в конце года. И. С. Раабен рассказывала, что Булгаков впервые пришел к ней (с просьбой печатать ему на машинке в долг) поздней осенью 1921 года: «Первое, что мы стали с ним печатать, были «Записки на манжетах» (цит. по кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988, с. 128).

«Московская» часть «Записок» писалась, видимо, уже в начале 1922 года, также по следам биографической ситуации — 1 октября 1921 года Булгаков был зачислен на службу в Лито Главполитпросвета (подчинявшееся Лито Наркомпроса), а 23 ноября того же года литературный отдел уже расформирован и Булгаков объявлен в приказе «уволенным с 1/XII с. г. с выдачей за 2 недели вперед» [1]. «...Когда «Записки на манжетах»

[1] Документы Лито, связанные с Булгаковым, выявлены (в ЦГА РСФСР, ф. 2306, 2313 и др.) Р. Янгировым.

были закончены (то есть продиктованы на машинку.— *М.Ч.*),— продолжает И. С. Раабен,— он долго не мог их напечатать. Он приходил в отчаяние, рассказывал, что не принял никто. Потом пришел и сказал, что продал в издательство «Накануне», в Берлин» (т а м ж е, с. 129).

18 июня 1922 года первая часть «Записок» была напечатана в «Накануне». Авторским комментарием к дальнейшим попыткам публикации могут служить страницы повести «Тайному другу»: «Дальше заело. <...> На выручку пришел «Сочельник». Приехавший из Берлина один из заправил этого органа, человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение» (Новый мир, 1987, № 8, с. 173).

Человек с желтым портфелем — Павел Абрамович Садыкер, сотрудник редакции «Накануне», приезжавший в Москву «на разведку» (как пишет в своих воспоминаниях об этой газете Э. Миндлин). Соглашение о печатании при первом разговоре с ним достигнуто не было; однако 29 декабря 1922 года заведующая редакцией газеты «Накануне» Е. Кричевская написала Булгакову, что у нее в Ленинграде «был П. Садыкер и говорил, что он виделся с Вами и Катаевым и сговорился с Вами о постоянной работе <...> как Вы устроили свои «Записки». Я говорила о них Садыкеру и советовала взять их для издания в Берлине, если Вы их еще не устроили». 30 декабря 1922 года Булгаков читает «Записки» на «Никитинских субботниках». «Михаил Афанасьевич в своем предварительном слове указывает,— записано в протоколе заседания,— что в этих записках, состоящих из 3-х частей, изображена голодная жизнь поэта где-то на юге. Писатель приехал в Москву с определенным намерением составить себе литературную карьеру. Главы из 3-й части Михаил Афанасьевич и читает» (Отдел рукописей Литературного музея, архив «Никитинских субботников»). Это чтение кратко зафиксировано и в дневнике И. Н. Розанова (где инициалы Булгакова, еще мало известного в московской литературной среде, названы с ошибкой): «30 дек. Субботник Никит. Из повести Булгакова Мих. Як. «Зап. на манжетах» (ОР ГБЛ, архив И. Н. Розанова). Из протокола явствует, что чтение «Записок» было начато автором с конца — с московской части; продолжено оно было 14 января 1923 года; в протоколе Никитинского субботника отмечено: «Михаил Булгаков. «Записки на манжетах». Часть I и II» (ср. в печатной хронике заседаний: «М. Булгаков — «Записки на манжетах» (окончание) — альм. «Свиток», № 3. М.—Л., 1924, с. 227).

13 февраля Кричевская пишет Булгакову (из Ленинграда), предлагая ему переиздать «Записки на манжетах» «в том виде, как они печатались в «Накануне», и еще прибавить рассказ. Словом, до листа размером»; Булгаков, в свою очередь, предложил напечатать II часть «Записок», присовокупив рассказ «Чаша жизни» (опубликованный в «Накануне» 31 декабря 1922 г.). 21 февраля Кричевская, получив рукопись и письмо, ответила Булгакову отказом (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 417). Однако в тот же самый день П. А. Садыкер пишет Булгакову из Берлина на бланке издательства «Накануне»: «В настоящее время после выхода первых наших книг выяснилась возможность скорого издания новых книг» и предлагает предоставить им право издания «Записок на манжетах». Оговаривая весьма скромный гонорар, Садыкер обещал «7—8 долларов за печатный лист. Уплата денег при сдаче рукописи. Деньги Вам будут выплачены московской конторой. <...> Книжку мы издадим быстро и красиво» (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 254).

Проект договора об отдельном издании «Записок» «между Акционерным обществом «Накануне» в лице директора-распорядителя Общества П. А. Садыкера, с одной стороны, и Михаилом Афанасьевичем Булгаковым—с другой», датирован 19 апреля 1923 года. В проекте указан объем произведения: «приблизительно $4\frac{1}{4}$ (четыре и одна четверть) печатного листа». Гонорар определялся в 8 долларов за лист, и пунктом 12 отмечалось, что «гонорар за первое издание в размере 34 (тридцать четыре) доллара Булгаков получил сполна» (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 150). Как вытекает из дальнейшего, в это время рукопись и была передана издательству—следовательно, реальный ее объем составлял не менее 4-х листов (что более чем в два раза превышает объем дошедшей до нас опубликованной части «Записок»).

Пункт 10 договора гласил: «Если по требованию цензуры потребуются сокращения книги, то Булгаков не будет возражать против них и А. О. «Накануне» вправе их произвести»; 20 апреля Булгаков пишет П. А. Садыкеру: «На безоговорочное сокращение согласиться не могу. Этот § 10 необходимо исключить или переработать совместно. Во всем остальном договор вполне приемлем мною» (черновик записки сохранился в коллекции Э. Циппельзона в ОР ГБЛ, ф. 477). Не позже 1 августа вышел в свет альманах «Возрождение» (в этот день Булгаков делает на книге надпись: «Из б-ки М. А. Булгакова») с первой частью «Записок»,—по-видимому, с существенными (хотя и меньшими, чем в «Накануне») сокращениями в тексте.

31 августа 1923 года, отвечая на вопрос Слезкина о «берлинских книгах», Булгаков пишет: «Печатание наших книг вызывает во мне раздражение: до сих пор их нет. Наконец Потехин (писатель Ю. Н. Потехин, один из редакторов «Накануне», в 1923 году вернулся в Россию.— *М. Ч.*) сообщил, что на днях их ждет. По слухам, они уже готовы (первыми выйдут твоя и моя). Интересно, выпустят ли их. За свою я весьма и весьма беспокоюсь. Корректуры они мне, конечно, и не подумали прислать». Некоторый свет на дальнейшее развитие событий бросает неоконченная повесть 1929 года: «Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве и в Берлине» (Новый мир, 1987, № 8, с. 173).

1 января 1924 года в № 1 (1024) газеты «Бакинский рабочий» были напечатаны последние шесть глав первой части «Записок» с датировкой «Москва, 1923 год» и подзаголовком «Отрывки». В главке 9 «История с великими писателями» после заголовка газетной статьи: «Опять Пушкин!» следовал фрагмент из нее (возможно, купированный в предыдущих публикациях): «Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами... и т. д.».

Весной 1924 года Булгаков попытался напечатать «Записки» в сборниках «Недра», где в начале 1924 года вышла его первая повесть — «Дьяволиада». Свидетельством этой попытки служит письмо Булгакова от 26 мая 1924 года секретарю «Недр» П. Н. Зайцеву: «Оставляю Вам «Записки на манжетах» и убедительную просьбу поскорее выяснить их судьбу. В III-й части есть отрывок уже печатавшийся. Надеюсь, что это не смутит Николая Семеновича (Ангарского.— *М. Ч.*). При чтении III-й части придется переходить от напечатанных отрывков к писанным на машине, следя за нумерацией глав. Я был бы очень рад, если бы «Манжеты» подошли. Мне они лично нравятся» (Памир, 1987, № 8, с. 92). Булгаков упоминает в письме только о публикации фрагмента «московской» части,— видимо, из чисто практических соображений, не желая «смутить» Ангарского большим объемом уже печатавшегося или же считая публикацию в «Возрождении» слишком урезанной.

В архиве писателя сохранилась вырезка публикации из журнала «Россия» со следами работы автора: выброшена (отрезана) начальная главка («Московская бездна. Дювлам»), а

остальные — пронумерованы (от 1-й до 11-й), причем нумерация поправлялась несколько раз. Это — свидетельства попыток автора издать полный текст «Записок» весной 1923-го и весной 1924 года.

31 мая 1924 года Булгаков в письме П. Н. Зайцеву спрашивает среди прочего: «Сообщите, что с «Записками»?»

Напечатать их в «Недрах» также не удалось, и строки в автобиографии (октябрь 1924 г.), подводящие черту под историей с «Накануне», передавали, таким образом, состояние автора в момент, когда исчерпались и другие попытки публикации самого значительного его сочинения двух первых московских лет: он писал, что «Накануне» обещало выпустить книгу «в мае 1923 г. и не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен» (Писатели. Автобиографии и портреты..., с. 56).

В полном виде «Записки на манжетах» не только не были изданы при жизни автора, но и не дошли до наших дней.

Рассказ «Богема» сначала входил, как можно предположить (Архив М. А. Булгакова, с. 36), в состав «Записок»; возможно, фрагмент рассказа, примерно со слов: «Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю», и до конца, помещался в начале 13-й главки «Записок», на месте нынешней строки точек.

Немало цензурных купюр было сделано и в частях печатавшихся[1]. В альманахе «Возрождение» были восстановлены многие обширные изъятия, сделанные в «Накануне», в частности — главы I и XII (поэтому для настоящего издания выбран текст «Возрождения»). В то же время в этой публикации сделаны некоторые купюры по сравнению с текстом «Накануне» — явно по цензурным соображениям[2]. Многочисленные строки точек отмечают, по-видимому, эти изъятия. Но можно предполагать, что в некоторых случаях эта графика используется по художественным соображениям.

---

[1] Список разночтений опубликован Ф. Левиным в комментариях к публикации «Записок на манжетах» в кн.: Булгаков М., Ранняя неизданная проза. Сост. и пред. Ф. Левина. Мюнхен, 1976, с. 197—202.

[2] Укажем некоторые из них:

стр. 480. *...проклял сирень.*—В «Накануне» вместо точки далее следует: «и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!
Я вам спою чрезвычайку!»

стр. 482. *...мы шепчемся.*—В «Накануне» далее следует: «Какие имена на иссохших наших языках! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!» — и строка точек, и др.

## 2

Автобиографическая основа «Записок» восстанавливается по устным воспоминаниям Т. Н. Кисельгоф, по газетным и журнальным публикациям 1920—1921 годов, а также по материалам архива Лито.

В главе о возвратном тифе (в первой публикации озаглавленной «Возвратный тиф», но полностью замененной точками) получило отражение реальное биографическое обстоятельство: Булгаков заболел возвратным тифом в момент, когда после поражения под Егорлыкской, оказавшегося решающим, началась спешная эвакуация белой армии. Татьяна Николаевна рассказывала: «Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач. Он сказал, что у Михаила возвратный тиф: «Если будем отступать — ему нельзя ехать». Однажды утром я вышла и вижу, что город пуст. <...> В это время — между белыми и советской властью — в городе были грабежи, ночью ходить было страшно; однажды на пустой улице ингуш схватил меня за руку — я вырвалась, бежала бегом... Во время болезни у него были дикие боли, беспамятство... Потом он часто упрекал меня: «Ты — слабая женщина, не могла меня вывезти!» Но когда мне два врача говорят, что на первой же остановке он умрет,— как же я могла везти? Они мне так и говорили: «Что же вы хотите — довезти его до Казбека и похоронить?» (ср. реплики больного героя «Записок»: «Меня бросят! Бросят!»; «Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России...»).

Реальным комментарием к «Запискам» служит и корреспонденция Ю. Слезкина «Литература в провинции (письмо из Владикавказа)», дающая прежде всего прототипические детали к главе 2 «Что мы будем делать?!», повествующей о нем самом. Слезкин описывает, как в прошлом году «заведовал подотделом искусств» в Чернигове до прихода белых (ср. в «Записках»: «Я уже заведовал»), как позже добрался до Владикавказа «после кошмарного месячного пути в теплушках <...> Через десять дней по приезде я заболел сыпным тифом, но когда встал на ноги — добровольцы грузили арбы и уходили в горы. Вслед за ними пришли советские войска, и я принялся за работу по подотделу искусств» (Вестник литературы, 1921, № 1, с. 14).

Эта же корреспонденция Ю. Слезкина восстанавливает картину литературной жизни Владикавказа 1920 года, получившую отражение в «Записках»: «Если в Чернигове поэты отмечены

знаком Блока или Брюсова, то во Владикавказе нераздельно царит Маяковский (ср. нарочито свежее восприятие имени Маяковского героем «московской» части «Записок».— *М. Ч.*). <...> Рюрик Ивнев задержался во Владикавказе проездом. Прочел две лекции «О любви и смерти», напечатал стихи, продал пьесу <...> и укатил дальше. За ним проследовали в Россию Н. Н. Евреинов, Осип Мандельштам и Эренбург. <...> Приезжал во Владикавказ из Москвы Серафимович, ставил свою новую пьесу <...> Как характерный штрих местных литературных нравов приведу оригинальное приглашение, полученное мною: «Цех пролетарских поэтов и литераторов приглашает вас записаться оппонентом на прение (напечатано: «премию».— *М. Ч.*) о творчестве Пушкина, имеющее быть в программе 4 вечера поэтов. Несогласие ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере» <...> вечер состоялся, и Пушкина «разнесли в пух и прах». Молодой беллетрист М. Булгаков «имел гражданское мужество» выступить оппонентом, но зато на другой день в «Коммунисте» его обвинили чуть ли не в контрреволюционности» (Вестник литературы, 1921, № 1, с. 14; см. также: Начало, 1921, № 1, с. 29).

## 3

В сочинении, посредством которого Булгаков спешил войти в литературу заново — после печатных выступлений зимы 1919—1920 годов, перечеркнутых ходом исторических событий, и конъюнктурных пьес 1920—1921 годов, от которых он отказался сам,— в центре повествования встал герой, рассчитанно близкий к автору.

Автор «Записок на манжетах» создавал иллюзию автобиографичности. Интерес читателя направлялся не к бытописи или психологическому анализу, а к иному слою художественности — к соотношению автора с «я» рассказчика. Здесь это соотношение выражалось в слиянии, полнота которого всячески подчеркивалась. Автор вплотную придвигал к читателю свою собственную жизнь (некий ее образ), укрупняя детали,— и одновременно демонстрировал свою способность к рассказыванию, компетентность неизвестного беллетриста.

Тому, кто приехал в Москву с «бумажкой», вывезенной «из горного царства», вместо литературного имени,— «я» в «Записках на манжетах» *его заменяло.* Повествуя от первого лица о чем-то сугубо личном, автор сам себя анонсировал.

Появившиеся через несколько лет рассказы о враче, не случайно сближенные с «Записками на манжетах» заглавием («Записки юного врача»), давали герою булгаковской прозы новое измерение: перед читателем оказывалась как бы предшествующая стадия его бытия. В центре «Записок юного врача» — герой с биографией, с очевидным прошлым (кончил университет, получив диплом врача), настоящим и будущим. (Будущее присутствует в рассказах — в мечтах «юного врача» и в ретроспективном взгляде рассказчика, взирающего на свою жизнь уже из иного времени.) Он — интеллигент, вполне определенно сознающий свою роль в обществе. Его энергия естественным образом направляется к реальному результату, укрепляет его положение, авторитет, поднимает порой до могущества (он «воскрешает» больных).

Герой «Записок на манжетах» лишен предыстории. Его прежний статус отменен, новый еще не сложился. Энергичные действия не приносят успеха, а только ухудшают ситуацию. Встроиться в новый социальный механизм, войти в контакт с «массой» он может только одним, неестественным для него, путем — написав заведомо «бездарную» пьесу. Однако чем отчетливее безысходность ситуации, тем очевиднее представление о некой оптимистической перспективе.

Этот персонаж — некто, но не никто. У него есть прошлое, но оно непредъявимо. Он мог бы сказать о себе словами будущего героя фельетона «Четыре портрета»: «Я — бывший... впрочем, это все равно... Ныне человек с занятиями, называемыми «неопределенными». Бывший статус героя — часть разрушенной иерархии — вызывающе зафиксирован в самом названии — «Записки *на манжетах*». Настоящее его — зыбко, будущее — совершенно неопределенно. И, однако, именно будущая судьба, обеспеченная скрытой от окружающих и полускрытой от читателей сутью его личности, определяет всю динамику произведения. Кульминацией его «загадочного» построения становится момент, когда герой берется *защищать Пушкина* — как полноправный его представитель в современном враждебном им обоим мире.

Принципы построения нового литературного героя были декларированы Булгаковым в тот же год, когда шла работа над «Записками на манжетах»,— в статье о прозе Ю. Слезкина. Стараясь «разгадать его интимную черту, то скрытое и характерное, что определяет писателя вполне», он внутренне противопоставляет этому собственное отношение к героям: «Ю. Слезкин стоит в стороне. Он всегда в стороне. Он знает души своих героев, но никогда не вкладывает в них своей души. Она у него

замкнута, она всегда в стороне. <...> пан Яцковский выходит у него живым, но Ю. Слезкин не живет и не дышит своими Яцковскими» (Юрий Слезкин (Силуэт) — Сполохи, 1922, № 12). Кроме активности авторского отношения к героям (вплоть до слияния — с одними и нескрываемого отвращения — к другим), чертой булгаковской прозы, начиная с «Записок на манжетах», стали сами свойства героя, ставшего в ее центре. Осознанность и этой авторской задачи очевидна в полемической окраске его литературно-критических характеристик. «У того, кто мечтает об изысканной жизни и творит, *вспоминая кожаные томики,* в душе всегда печаль об ушедшем. Герои его — не бойцы и не создатели того «завтра», о котором так пекутся трезвые учители из толстых журналов. Поэтому *они не жизнеспособны* и всегда на них смертная тень или печать *обреченности*». Автору «Записок на манжетах» претят, во всяком случае, герои не жизнеспособные, и, оглядываясь назад, он черпает там не сознание обреченности, а, необычным для современного общественного быта и литературного контекста образом,— опору для сегодняшней жизнеспособности. Энергия героя «Записок на манжетах» не падает под напором неудач, а едва ли не нарастает к концу сочинения. «В числе погибших быть не желаю» — слова из письма Булгакова к матери от 17 ноября 1921 года могли бы служить автобиографическим эпиграфом к «Запискам».

Дневниковый характер «Записок», с одной стороны, мотивирует недоговоренности, с другой же — требует интенсивного читательского внимания к тексту, вынуждая достраивать оставленное за его пределами. Напряженность отношений между текстом и затекстом — важная и художественно значимая черта «Записок на манжетах». Их автор формирует заново ту культурную среду, которая вместе с ним потеряла свой социальный авторитет и распалась как среда,— формирует, адресуясь к ней самим строем своего повествования.

Повествование «Записок» насыщено реминисценциями — от Пушкина до авторов предреволюционного журнала «Сатирикон». «Лито — литераторы. Несчастные мы! <...> Бедный ребенок! Не ребенок. Мы бедные!» — одинокие среди новых людей литераторы облекают свои жалобы в слова, сказанные раньше и еще звучащие в памяти определенного слоя читателей-современников. Автор «Записок» рассчитывает на эту общую с ним читательскую память, в которой пребывает в сохранности среди прочей «бывшей» литературы и рассказ Аверченко: «Бедные мы с вами...— прошептал я и заплакал... <...> И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали: — Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! — И тоже плакали над

своей горькой участью <...> И так плакали мы все» («Корибу», 1910). Когда позже в «Записках покойника» безымянный молодой человек объявит редактору, что его автор Максудов подражает «самому обыкновенному Аверченко!» — это имя не будет случайным. Для Булгакова оно — знак отмененной журналистики, прямую связь с которой он утверждает. Уверенность авторского тона перенята им у прежних фельетонистов, привычно рассчитывающих на внимание своих постоянных читателей. Главный эффект повествования «Записок на манжетах» — в несоответствии этой уверенности, решительности авторских суждений, категоричности оценок — жизнеположению автора-рассказчика, в котором для этой уверенности нет никаких внешних оснований. Наперекор складывающейся новой норме общественного быта, герой и автор «Записок» опираются на прежние, «дореволюционные», представления, противопоставляя «бронзовому воротнику» — крахмальный воротничок и манжеты. Распавшаяся жизнь, детально продемонстрированная, скреплена и организована одним — твердым самосознанием рассказчика.

Можно рассматривать «Записки на манжетах» и как развернутую реминисценцию — автор рассчитывает, что его читатель не может не увидеть за текстом гоголевских «Записок сумасшедшего» как постоянного фона и резонатора.

Тема *литературы* — одна из нескольких, впервые возникших в «Записках на манжетах» и ставших постоянными в творчестве Булгакова.

В новой действительности литература свертывается в «Лито»: это — мир организуемой специальными усилиями квазилитературы. В пьесе «Адам и Ева» (1931) Маркизов спрашивает профессионального литератора: «Отчего литература такая скучная? <...> Печатное всегда тянет почитать, а когда литература... <...> Межа да колхоз!» «Печатное» — это «книги», то есть то, что читают, перечитывают и помнят. В «Записках на манжетах» «книгами» названы сочинения Пушкина и Мельникова-Печерского, сюда относятся Гоголь[1], Некрасов, Островский, Чехов. «Литература» же в словоупотреблении Булгакова становится неологизмом, так как теперь этим словом называют иное, чем раньше. Это и вызовет признание героя рассказа «Богема», совпадающего с героем «Записок на манжетах»: «Я тоже ненавижу литературу...»

---

[1] В авторское повествование включена цитата из «Носа»; косвенно введен Достоевский — фамилией одного из персонажей «Преступления и наказания», *Разумихина*.

Книги — литература, мастер — писатель — эти противопоставления станут устойчивыми в художественном мире Булгакова, и через много лет герой романа «Мастер и Маргарита» солидаризируется с ранними героями: «Я впервые попал в мир литературы, но теперь <...> вспоминаю о нем с ужасом!»

*Болезнь* как полноправный фрагмент сюжета, с медицински точной картиной симптомов, с развернутым описанием бреда и т. п., вошла в русскую литературу в конце XIX века — главным образом в рассказах Чехова. Унаследованная литературная традиция, а также собственная врачебная практика обусловили ее появление у Булгакова — в качестве повторяющегося фабульного звена. Характерное же для него отношение к фактам своей биографии привело к закреплению за этим звеном особой сюжетной функции. Тиф, роковым образом настигший военного врача и корреспондента белых газет в начале 1920 года и оставивший его под властью победившей стороны, заставил вглядеться в событие с особым вниманием. Булгаков увидел возможности его художественного переосмысления. Частное биографическое обстоятельство было преобразовано в литературный прием, ставший устойчивым.

В «Записках на манжетах» *болезнь* соединяется смысловой связью с роковым моментом смены власти и окончательного слома прежнего жизнеустройства. При первом известии о катастрофе герой чувствует признаки начинающейся болезни, затем наступает забытье, бред, и его суждения оставляют возможность двойного истолкования: «Я бегу в Париж, там напишу роман...» — читателю предлагается на выбор — принять эти мечтания всерьез или рассматривать их как часть бреда. Сознание возвращается к нему уже в ином, изменившемся мире. Герой, таким образом, болезненно в буквальном смысле слова переживает социальную ломку.

Это будет использовано во всех трех романах Булгакова. В «Белой гвардии» в момент кровавой смены власти и в ожидании последующих перемен болеет и бредит доктор Турбин, в «Записках покойника» и «Мастере и Маргарите» близкие к автору герои заболевают, как только делают попытку перейти из своего уединенного мира в мир «литературы», слитый с новым социальным устройством.

Сформированная Булгаковым сюжетная функция болезни предстанет в его творчестве в разных вариантах. Его герои либо выходят из нее к новым попыткам адаптации — прежде чем погибнуть окончательно («Записки покойника»), либо погибают до всяких попыток («Морфий»), либо погружаются, слом-

ленные роковыми событиями, в душевную болезнь, выходя из социальной жизни («Красная корона»), либо, наконец, подымаются из «дома скорби» к покою инобытия («Мастер и Маргарита»).

*Болезнь — сон — воображаемая ситуация* (повторяющаяся из произведения в произведение воображаемая героем картина расправы с убийцей разовьется даже в самостоятельный рассказ — «Я убил») — эти фабульные звенья, опробованные в «Записках на манжетах», станут основными способами претворения жизненного материала.

Автобиографичность, выдвинутость самого автора на авансцену — в лице предельно сближенного с ним героя — оказалась постоянной и все усложнявшейся чертой художественного мира Булгакова.

Мотив *неузнанности* большого художника и высокой ценности его личности определится уже в «Записках на манжетах» — с некоторой долей шаржированности. Этот мотив будет подробно развит и доведен до трагического гротеска в «Записках покойника». А в писавшемся одновременно с «Записками покойника» романе «Мастер и Маргарита» этот же мотив, освободившись от шаржа и гротеска, достигнет самой высокой ноты — Мастер уходит безвестным, и самой композицией романа (чередованием современных и новозаветных глав) читателю предложена возможность разгадывать его судьбу и как второе пришествие, оставшееся неузнанным.

Тема *неузнанности* останется для сочинителя «Записок на манжетах» актуальной до конца — и творчески, и биографически. Е. С. Булгакова рассказывала автору этого комментария, что он не раз повторял: «Когда я умру, в какой-нибудь вечерней газете в крохотной рамочке будет напечатано: «Умер Михаил Александрович Бумаков» (Архив М. А. Булгакова, с. 145).

Стр. 473. *«Русское слово»* — газета (1895—1918), издававшаяся (в Москве) с 1897 г. И. Д. Сытиным, привлекшим к участию в ней известнейших в России тех лет журналистов; марка журналиста «Русского слова» оставалась и в 1920-е годы значимой для Булгакова (известно устное свидетельство об этом В. Катаева).

*Корпус* — помета для наборщика с указанием шрифта.

*«Credito italiano»* — название итальянского банка.

Стр. 475. *Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский* — отсылка к романам П. И. Мельникова-Печерского (1818—1883) «В лесах» и «На

горах», воспроизводящим быт и духовную жизнь российского старообрядчества.

*Взбранной воеводе победительная!..*— начало (кондак 1) акафистов Пресвятой Богородице.

*...монашки... васнецовские?..*— Воспроизводя бред находящегося в полузабытьи героя «Записок», автор протягивает цепь ассоциаций от воспоминаний его о монашенках Мельникова-Печерского к детским и юношеским впечатлениям от церковного пения во Владимирском соборе (Киев), главный неф которого расписан В. М. Васнецовым.

«Монашки» станут повторяющимся образом в художественном мире Булгакова — важным в первую очередь как черное пятно в зрительном ряду; «монашка» появится в пьесе «Мольер», в киносценарии «Мертвые души» (где во 2-й редакции будет произведена характерная замена: «Захолустная улица. Чичиков, высунувшись из брички, расспрашивает <бабу с коромыслом на плече> монашку»).

*Не монашки, а бумажки...*— По ассоциации больной вспоминает рифмующиеся с «монашками» слова популярного куплета:

*Ах, сашки-канашки мои,*
Разменяйте мне бумажки мои!
А бумажки-то новенькие,
Двадцатипятирублевенькие!

Стр. 476. *...и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.*— Ср. в рассказе А. Чехова «Тиф»: «И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать» (Чехов А. П. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1985, с. 133).

Стр. 477. *Мама! Мама! Что мы будем делатъ!*— строка эстрадной песенки, популярной в годы войны и революции:

— Мама! Мама! Что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
— У тебя нет теплого платочка, дочка,
У меня нет зимнего пальта.

Стр. 480—481. В главке «Камер-юнкер Пушкин» — цитаты из стихотворений Пушкина «Стансы», «Вакхическая песня» и «Памятник».

Стр. 481. *...идеже нестъ...*— «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» (из молитвы об умерших).

Стр. 483. *Братъя писатели...*— «Братья писатели! в нашей

судьбе // Что-то лежит роковое» — из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855); предшествующие строки о «юноше с толстой тетрадкой» («С юга пешком привела его страсть // В дальнюю нашу столицу») естественным образом могли быть отнесены Булгаковым к собственной биографии.

*...и златом...*—Музыкальная пьеса Н. Н. Евреинова связана, в частности, со стихотворением Пушкина «Золото и булат».

*Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчъ. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится: — Вот не доедем, да и только!* — Автор строит весь фрагмент на материале русской классической литературы, подчеркнуто описывая современность при ее помощи, делая современников действующими лицами уже написанных ранее пьес: диалог Несчастливцева и Счастливцева в комедии Островского «Лес» («...— Куда и откуда? — <...> из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с? — <...> Из Керчи в Вологду» — действие II, явл. 2), монолог Осипа из «Ревизора» Гоголя: «Вот не доедем, да и только, домой!» (действие II, явл. 1).

Стр. 487. *...как гром его угроза.*— Стихотворение Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» цитируется Булгаковым в редакции, включенной поэтом в «Сцены из рыцарских времен» в виде песни Франца. Форма «Lumen *coeli*» (поправленная издателями против рукописи поэта: «Lumen *coelum*») печаталась во всех изданиях с 1841 г., пока в 1910 г. С. А. Венгеров не вернулся к первопечатному тексту.

*Не хуже Кнута Гамсуна.*— Отсылка к роману К. Гамсуна «Голод», известному русскому читателю с 1892 г. (первый русский перевод; одно из изданий романа вышло в Москве в 1920 г.).

Стр. 505. *Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок!*— Возможно, здесь — приближение к замыслу (или ненамеренное отражение его) повести «Роковые яйца», зловещий персонаж которой получил фамилию Рок (в наборной машинописи исправлено рукою автора на «Рокк»,— несомненно, под редакторским или цензурным давлением, вместе с изменением имени и отчества персонажа). Фраза «Кто мог... поручить работу!» формулирует один из лейтмотивов будущей повести — обнажение губительной роли в новом обществе невежественных и непрофессиональных его членов.

Стр. 508. *...Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники...*— характерный для поэтики «Записок на манжетах» пример пересечения автором границы между своим и читательским знанием. Булгаков намеренно придает повествованию характер

дневниковой скорописи, шифрующей автобиографические реалии. За именем Некрасова читатель-современник мог угадывать какую-то работу к недавнему юбилею поэта (материалы изданного в Госиздате сборника Н. А. Некрасова — «Избранные стихотворения». М., 1921 — готовились в Лито); читатель мог также понять, что речь идет о готовившихся в Лито сборниках «Голод» и «На голод» (в протоколах, писанных рукою Булгакова, они именуются «голодными сборниками»). Но вряд ли многим могло быть известно, что драматург Р. Григоровский именно при Булгакове прислал в Лито «рукопись пьесы «Воскресший алкоголик».

# ПРИЛОЖЕНИЕ

В ночь на 3-е число *(Из романа «Алый мах»)*.— Впервые — «Литературное приложение» к газете «Накануне», 1922, № 30, 10 декабря.

Рукопись не сохранилась.

Публикуемый фрагмент — первое печатное указание на роман из эпохи гражданской войны. Перед нами — отрывок из неизвестной редакции будущей «Белой гвардии», существенно отличный от печатного текста романа под этим названием.

Название романа «Алый мах» было, возможно, условным, данным для печати. Оно имело в виду движение красной конницы. Мах — шаг при беге, галопе («Мах скакуна, длина раскидки ног» — по словарю В. И. Даля). Короткое слово, передающее движение, связано с будущим названием пьесы о том же времени — «Бег».

Неизвестно, была ли эта редакция — с несколько иным кругом героев, с гораздо более обширными сценами действия петлюровцев и главное — с принципиально иной этико-психологической проблемой в основе — дописана до конца. Следы ее мы видим в рассказе «Я убил» и «Красная корона». Во всех трех произведениях — осколки во многом иного, чем позже, подхода к материалу. Трагически-кровавый колорит изображаемых событий во фрагменте редакции 1922 года был интенсивней, чем во всех последующих произведениях Булгакова. Острота страдания героя за муки себе подобного дошла здесь едва ли не до самой высокой отметки на его шкале. В том обнаженном виде, в каком выступила эта тема в работе 1922 года, она ушла из творчества писателя навсегда, переоформившись в иные художественные проявления (казнь Иешуа в

романе «Мастер и Маргарита»), уже опосредованные по отношению к биографическому опыту, но от него, несомненно, ведущие свое начало.

Биографическая основа романа о 1918 годе открыта автором — в именах героев, в реалиях, известных близким. Жена доктора Бакалейникова носит имя и отчество его сестры (той, которая, по свидетельствам родных и друзей, послужила прототипом Елены Тальберг в «Белой гвардии»), брат — имя брата Булгакова, Юрий Леонидович — реальное имя и отчество Ю. Л. Гладыревского, свойственника Варвары Афанасьевны Карум (он был двоюродным братом ее мужа, Л. С. Карума). По свидетельству Т. Н. Кисельгоф, Гладыревский, послуживший прототипом Шервинского «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»[1], часто бывал в доме Булгаковых в 1918—1919 годах: «Когда Михаил вел прием <больных>, мы с ним часто болтали в соседней комнате, смеялись. Михаил выходил, спрашивал подозрительно: — Что вы тут делаете? — А мы смеялись еще больше...»

Побег доктора Бакалейникова от петлюровцев, описание которого совпадает в основных чертах с описанием в рассказе «Необыкновенные приключения доктора», соответствует реальным событиям жизни автора. Т. Н. Кисельгоф рассказывала: «Его сначала мобилизовали синежупанники[2]. Я куда-то уходила, пришла — лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то, меня взяли». Прихожу — он сидит на лошади. «Мы уходим за мост — приходи туда завтра!» Пришла, принесла ему что-то. Потом дома слышу — синежупанники отходят. В час ночи — звонок. Мы с Варей побежали, открываем: стоит весь бледный... Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны... Он отстал, кинулся за столб — и его не заметили... После этого заболел, не мог вставать. Приходил часто доктор Иван Павлович Воскресенский. Была температура высокая. Наверно, это было что-то нервное».

Фрагмент ранней редакции романа демонстрирует существенные черты поэтики Булгакова, с очевидностью показывая, что к 1922 году сложились не только черты его центрального

---

[1] Ср. сделанную П. С. Поповым запись слов Булгакова о героях пьесы «Дни Турбиных»: «Фамилии вымышленные, но в основе лежат фамилии прототипов. Так, например, фамилия Шервинского кончается тоже на «ский».

[2] См. примеч. к «Белой гвардии».

героя, основные мотивы, устойчивые сюжетные ходы и ситуации, но и устойчивые предметно-повествовательные «блоки». Проза Булгакова строится в дальнейшем с помощью некоторого достаточно определенного набора элементов — изобразительных и повествовательных.

Сопоставление начальной сцены-картины во фрагменте «В ночь на 3-е число» и в рассказе «Налет» позволяет увидеть, как в разных сюжетно-стилистических комбинациях используются одни и те же элементы и в одном и том же взаимосоположении.

Увидев на мосту «первое убийство в своей жизни», доктор Бакалейников, «подняв голову к небу, *увидел шипящий белый фонарь*, а выше опять *светило* черное небо <...> и играющие *звезды*».

Этот шипящий фонарь, при свете которого виден труп, встретится не раз и не два в прозе Булгакова. «*Шипя* и разворачиваясь... ползли огромные змеи... Вверху бледно горел *огромной силы электрический шар... труп человека в сером у двери*» («Роковые яйца»). Элементы этой картины перестроятся в другом произведении в сцену убийства (впервые написанную еще в 1922 г.): «Над поверженным *шипел электрический фонарь*... стынущий *труп еврея в черном у входа на мост*» («Белая гвардия»). Но еще ранее, в рассказе «Налет», читатель увидит: «Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и *растерзанным* (как растерзаны персонажи «Роковых яиц» около теплицы.— *М. Ч.*) *в конусе электрического фонарика*, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе». (Отметим, что в повести «Роковые яйца» погибают также двое и к тому же фамилия одного из них — Щукин.)

Электрический фонарь — главнейший из предметов, участвующих в действии «Налета», и в момент расстрела Абрам и Стрельцов стоят рядом «все в том же голубоватом сиянии фонарика».

В рассказе «Я убил» герой попадает «в пыльную пустую комнату, *ослепительно освещенную сильным электрическим шаром*»; в комнате потеки крови — следы убийства. Оказавшись на дороге, герой «поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды». «В белой оштукатуренной комнате» на столе — фонарь, а «в черной железной печушке плясал багровый огонь». *«В свете фонаря»* герой-рассказчик видит полковника Лещенко — обнаженного до пояса и прижимающего «к груди окровавленную марлю». Так становится очевидной жесткая связь — электрический *фонарь*, освещающий окровавленную *жертву*,— и

всегда противостоящий ему в булгаковском художественном мире живой огонь — в печке (герой «Налета» в минуту смертельной опасности «вспомнил почему-то огонь *в черной печечке*») или в окне далекого жилья.

«Светились два огня — *белый* на станции, *холодный и высокий,* и *низенький...* за полотном... *Высокий огонь* на станции слабел, а *желтоватый низенький* был неизменен». Абрам ползет, думая о «желтом огне», ползет, «никогда не теряя из виду желтый огонь», и, уже вползши «в черные сенцы», видит, что «желтый огонь... шипел в трехлинейной лампочке» («Налет»). Доктор Бакалейников обращен к «желтым мигающим огням Слободки», он впивается «в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках». При этом *луна* (у которой «жидкомолочный *коварный* отсвет» — «Налет») соотнесена, сближена с *фонарями* и участвует в этой функции в том своего рода кратчайшем плане будущих картин (а в реальности — давно уже созданных), который зафиксирован в «Записках покойника»: «*Сверкнуло* сзади человечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь <...> Он *неподвижно лежит,* и от головы растекается черная лужица. А *в высоте луна,* а *вдали* цепочкой грустные, *красноватые огоньки* в селении».

По многим произведениям Булгакова 20-х годов пройдет разделение ночного *зримого мифа* на три ряда предметов — три разных источника света, по-разному соотнесенных с человеком. *Электрический* (голубой, голубоватый) *фонарь* с его холодным светом, действующий «заодно» с морозом и враждебный человеку, неизменно выступает как безучастный свидетель (или материальный «пособник») убийства. Расположенные обычно ниже его в пространстве живые *огни жилья* (желтые, желтенькие; мигающие, меняющиеся в размерах), близкие человеку, обещают ему тепло и спасенье (или напоминают о них). Наконец,— *звезды,* к которым человек возводит взор, ища спасения, и значение которых зависит от характера веры и надежды взирающего на них.

Эта структура мира, оказавшаяся особенно важной для финала «Белой гвардии» (опубл. в 1929 г.), очевидна уже в ранней редакции этого финала («Конец Петлюры», 1924 — см. статью-преамбулу к роману, с. 566).

Станция светится «глазками желтых огней». «*Голубоватые лучи фонаря висели в тылу* человека. *Две голубоватые луны, не грея, а лишь дразня,* горели на платформе. Человек искал *другого огня* и не находил его нигде». И, наконец: «Играла Венера красноватая, а *от луны фонаря* временами поблескивала на серенькой груди человека *ответная звезда.* Она была маленькая и тоже

пятиконечная». В редакции 1929 года последний фрагмент остался почти неизменным (добавлено лишь «*голубой* луны»), что говорит об изначальной повышенной значимости для автора каждого из стянутых в эти несколько фраз элементов и их сопо625ложения.

Так звезда на груди часового, многозначительно описанная автором как «ответная» по отношению к лучам *фонаря* в его же «тылу»,— для самого часового находит родственный себе отсвет непосредственно среди звезд небесных.

Это же самое построение — в пьесе «Бег». Наиболее полно оно выражено в ремарках ко «Сну второму» — тому, где и происходит столкновение Серафимы и Крапилина с Хлудовым. За окнами «чувствуется черная ночь с *голубыми электрическими лунами*» (под ними в конце «Сна» — повешенные), «мороз», горят «железные *черные печки* и керосиновые *лампы на столах*», «два зеленых, похожих на глаза чудовищ огня кондукторских фонарей» (двойники «голубых» фонарей на перроне) и, наконец,— перед иконой «разноцветная лампада». Здесь она — знак *звездного неба*,— того, которое в «Белой гвардии» в *авторском* контексте, в отличие от мировидения часового-красноармейца (для которого звезды в небе — «явно» пятиконечные), сравнимо с «синим пологом у царских врат», звезды же — с «огоньками», зажигаемыми в алтаре.

В «Сне восьмом и последнем» Хлудов помнит «столбы и на столбах фонарики», он готов «пройти под фонариками», Чарнота же вслед за ним вспоминает: «За мной много чего есть! Хотя, правда, *фонарей в тылу* у меня нет!»

Так фонарь-луна *в тылу* (то есть за спиной) часового-красноармейца («Белая гвардия») объединен с фонарями *в тылу* (то есть за плечами, в прошлом) Хлудова общим значением. Они — символ бесконечной цепи жертв насилия, совершенного обеими сторонами в годы братоубийственной войны, символ общенационального неискупимого, тяготеющего над текущим днем бремени вины.

«Как отделился ты один от цепи *лун и фонарей*?» — вопрос, обращенный Хлудовым к видимому лишь ему одному Крапилину, готовил символику романа «Мастер и Маргарита», широко охватывающего историческую жизнь и подытоживающего новейшую национальную историю. В финале последнего романа луна, заливающая «зелено и ярко» площадку с креслом Пилата, «светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь», а героиня, носительница идеи милосердия, вопрошала: «Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много?»

Постоянное в булгаковской прозе внимание к источникам света — это взгляд драматурга, всегда имеющего в виду освещение места действия, сценической площади. Так перед нами — не только важные свойства поэтики, но и — точки совмещения повествовательного и драматургического мышления Булгакова.

Ранняя редакция последней главы романа «Белая гвардия» (1925).— При жизни автора не публиковалась.

Впервые — журн. «Новый мир», 1987, № 2, по корректуре из журнала «Россия», № 6 (ГБЛ, ф. 562, 2.9),— единственному источнику текста. Печатается по данному изданию.

24 апреля 1925 года редактор «России» И. Лежнев просит М. Булгакова передать в редакцию «конец романа» (в это время уже, по-видимому, готов тираж пятого номера «России» с продолжением «Белой гвардии»). Спустя полтора месяца, 7 июня 1925 года, он повторяет свою просьбу: «Уже давно пора сдавать материал по № 6, в набор, надо набирать окончание «Белой гвардии», а рукопись Вы все не заносите. Убедительная просьба не затягивать более этого дела» (Новый мир, 1987, № 2, с. 138). В тот же день Булгаков отдал конец романа в редакцию и вскоре уехал в Коктебель, где интенсивно работал над пьесой «Белая гвардия».

Осенью с печатанием романа начались осложнения — в связи с кризисом, переживаемым журналом «Россия». 10 или 11 октября Булгаков написал Лежневу решительное письмо, на которое 11 октября получил ответ: «Издавать роман отдельной книгой я не собираюсь во всяком случае. Авторскую корректуру пяти листов последней трети романа при сем прилагаю. Прошу вернуть ее в исправленном виде, в среду. И. Лежнев» (ГБЛ, ф. 562, 19.37).

26 октября 1925 года Булгаков подал заявление в конфликтную комиссию Всероссийского Союза писателей: «Редактор журнала «Россия» Исай Григорьевич Лежнев, после того, как издательство «Россия» закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа «Белая гвардия» и не возвращает мне его» (ЦГАЛИ, ф. 341, I. 257),— и 4 ноября его приглашают в комиссию — «для дачи показаний по делу, возбужденному Вами». События ближайших дней нашли впоследствии комическое отражение в неоконченной повести, писавшейся осенью 1929 года и адресованной «Тайному другу».

Итак, осенью 1925 года на руках у автора осталась корректура ненапечатанной части романа, составляющей пять

листов. Она озаглавлена: «Белая гвардия. Часть четвертая (Окончание)» и начинается главой 14. На стр. 54 корректуры начиналась «часть пятая» — главки 18 («Турбин стал умирать...») и 19. При последующей переработке все эти главки вошли в состав III части (начатой печатанием в 5-й книжке «России»), а 19-я была заменена двумя новыми — 19-й и 20-й.

Корректура невышедшей части составляет 80 страниц — как раз те пять листов, которые упомянуты Лежневым в письме,— но текст, возможно, неполон. На одной из страниц рукою автора написан заголовок: «Най в анатомичке (ненапечатанный отрывок из романа «Белая гвардия»)» — свидетельство попыток автора напечатать отрывок из не вышедшей в свет финальной части романа.

Правка на тексте главы 19 отлична от всей остальной — в ней правились только те страницы, которые впоследствии вошли в новую редакцию в этом исправленном виде; те же, которые впоследствии были заменены или переписывались целиком, в корректуре остались чистыми.

В мае 1926 года журнал и издательство закрыли окончательно; Лежнев после обыска и ареста был выслан за границу. Роман остался недопечатанным.

Одно из первых свидетельств о возможном авторском возвращении к нему — письмо А. Н. Тихонова от 25 февраля 1927 года: «Ну, как же поживает «Белая гвардия»? Намерены Вы ее у нас печатать или нет?» (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 419).

25 марта Тихонов Горькому на вопрос о судьбе Булгакова: «Булгаков пробует ставить свою пьесу «Багровый остров», но пока безуспешно. Постараюсь выслать Вам экземпляр пьесы. Работает над романом «Белая гвардия» — переделывает почти заново» (Архив Горького, КГ-П. 77-1-18). Возможно, в это самое время и шла коренная переработка конца романа.

Слушатели первых чтений романа зимой 1923/24 годов знали, что речь идет о первой части *трилогии*. Еще летом 1925 года, провожая Булгаковых (5 августа) из Коктебеля, М. Волошин написал ему на своем сборнике: «...доведите до конца трилогию «Белой гвардии»!»

Последняя глава романа в редакции 1925 года, на наш взгляд, несомненно свидетельствует о том, что автор рассчитывает на продолжение: отношения Николки и Ирины Най только завязываются; фигура роковой женщины Юлии Марковны Рейсс (в поздней редакции — Юлии Александровны), веду-

щей какую-то двойную (и, видимо, политическую) игру, также кажется сюжетно многообещающей.

Вторая особенность последней главки в редакции 1925 года — заметное присутствие автобиографического. Любовные сцены (выпадающие из стилистики предшествующих частей) кажутся точками прямого проникновения биографически реальных деталей непосредственно в ткань романа; внезапные, не мотивированные автором порывы героя представляются перенесенными из иной редакции романа, где, возможно, была рассказана интимная часть биографии Турбина. Можно предполагать, что перед нами — следы какой-то предшествовавшей редакции, изглаженные в неизвестный нам момент из основной части романа, а в последней главе по каким-то причинам — возможно, из-за спешки летней сдачи в набор — задержавшиеся до корректуры. Исчезли они только после радикальной переработки конца романа, предпринятой уже для отдельного издания.

Потеряв в 1925—1926 годах возможность допечатать роман, Булгаков постепенно отказался и от мысли о продолжении трилогии. Одним из результатов перестройки творческих намерений и стала переработка последней главы — уже, по-видимому, тогда, когда выяснилась перспектива полного издания романа в Париже.

Переработка конца романа шла по нескольким линиям, основными из которых представляются две. Одна была обусловлена отказом от замысла трилогии. Прореживались фабульные линии, густо намеченные в финале 1925 года; одни из них обрубались (Николка — Ирина Най), другие — изменялись и закруглялись. В финале 1925 года напряженность личных взаимоотношений персонажей нарастала, в новой редакции все уравновешивалось, успокаивалось. Мы не думаем, что тот финал «Белой гвардии», который мы знали до сего времени, был весь заново сочинен Булгаковым во второй половине 1920-х годов,— многие части были уже написаны, даже публиковались как фрагменты из романа «Белая гвардия» (напр., в журнале «Шквал», 1924, № 5), но не вмещались в объем предполагавшейся в «России» публикации последней трети романа и были оставлены за пределами последней главы для отдельного издания романа или возможного его продолжения.

Другая линия переделок была обусловлена тем, что работа над финалом романа шла после того, как была написана, несколько раз переделана и, наконец, поставлена на сцене в редакции, появившейся под большим нажимом режиссуры,

пьеса «Дни Турбиных», а будучи поставленной, вызвала грубую критику в печати.

Эти переделки сосредоточились главным образом на фигуре главного героя — Алексея Турбина и отчасти — на изменении «женской» темы в романе.

После мученической смерти Алексея Турбина *в пьесе* герой *романа* был изменен. В редакции, увидевшей свет в 1929 году, перед нами уже не мечущийся, рефлектирующий, не раз проявляющий слабость доктор, еще не утративший связи с доктором Бакалейниковым (см. «В ночь на 3-е число»). Теперь это герой, на которого лег трагический отсвет гибели Турбина в пьесе. Облагообразились, возвысились и приобрели некую бесплотность его отношения с Юлией; исчез важный момент — ее страх перед разоблачениями гораздо более серьезными, чем уличение в любовной связи. Возвышены, осветлены в последнем тексте и отношения Елены с Шервинским — ранняя редакция показывает, однако, что именно по ее готовой канве разрабатывались эти отношения в пьесе. Отношения Мышлаевского с Анютой также приобрели идиллически-платонический характер. Героев пьесы, уже ославленных, ошельмованных критикой и горячо принятых лишенной голоса частью зала[1], автор теперь не снижал, а возвышал и укрупнял в новом финале романа.

Возможно, что затруднения в работе над окончанием романа, которые очевидным образом испытывал Булгаков в 1925 году, были связаны с тем, что этот год оказался рубежным в эволюции писателя. Ту тему неискупимой вины российского интеллигента, которая была определяющей для работы первых московских лет, к этому времени сменила тема иная, наиболее отчетливо выраженная в повести «Собачье сердце» и «Записках юного врача»,— тема непреложности высокой роли интеллигента в нормально развивающемся обществе и гибельных последствий разрушения этой роли. Эти сочинения были для Булгакова способом борьбы со сложившимся и во многом уже себя проявившим новым общественным порядком.

Напечатанный в конце 1926 года рассказ «Я убил», подводивший черту под материалом гражданской войны, вводил

---

[1] Одно из немногих уцелевших свидетельств — письмо Булгакову зрителя, подписавшегося «Виктор Викторович Мышлаевский» (текст письма опубл.: Чудакова М. О. М. Булгаков и опоязовская критика (Заметки к проблеме построения истории отечественной литературы XX века).— Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988, с. 233—235).

совершенно новую ноту — с запоздалым сожалением автор, в сущности, заявлял о том, что на вооруженное насилие интеллигент должен был отвечать не рефлексией а более энергичной и решительной борьбой.

Два года спустя, в то самое время, когда готовился к печати новый финал «Белой гвардии», Булгаковым владели уже размышления о необратимости происшедшего и о роли сильной власти как единственного спасительного средства. Зарождалась мрачная утопия «Мастера и Маргариты» — о добрых и веселых дьяволах.

# СОДЕРЖАНИЕ

**Булгаков М. А.**

Б 90 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 1. Записки юного врача; Белая гвардия; Рассказы; Записки на манжетах / Редкол.: Г. Гоц, А. Караганов, В. Лакшин и др.; Вступ. статья В. Лакшина; Подгот. текста М. Чудаковой; Коммент. Я. Лурье, А. Рогинского («Белая гвардия»), М. Чудаковой.— М.: Худож. лит., 1989.— 623 с., ил.

ISBN 5-280-00759-5 (Т. 1)

ISBN 5-280-00760-9

В первый том Собрания сочинений Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940) входят его ранние произведения: «Записки юного врача», роман «Белая гвардия», рассказы начала 20-х годов: «Необыкновенные приключения доктора», «Морфий», «Налет» и др.

**Б $\frac{4702010201\text{-}312}{028(01)\text{-}89}$ Подписное** **ББК 84Р7**

**В альбоме использованы фотографии из личных и государственных архивов**

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
БУЛГАКОВ

*Собрание сочинений*

*Том первый*

Редактор *К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Т. Сидорова, Н. Замятина*

ИБ № 5282

Сдано в набор 03.02.89. Подписано в печать 17.07.89. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76+1 вкл.+нак.=33,23. Усл. кр.-отт. 34,12. Уч.-изд. л. 35,1+1 вкл.+нак.=35,59. Тираж 400 000 (2-й завод 150 001—300 000) экз. Изд. № II-3206. Заказ № 782. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.



А. И. Булгаков. Начало 1900-х годов, Киев



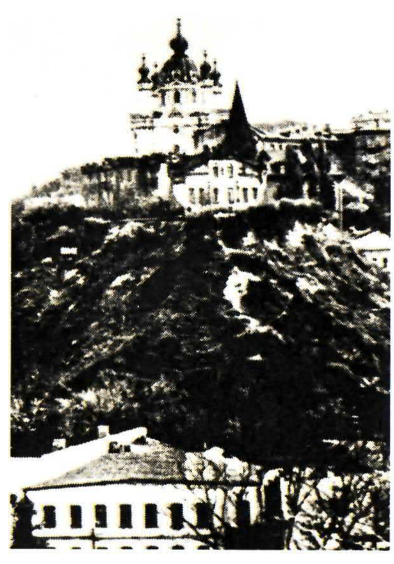
В. М. Булгакова. 1900-е годы, Киев



Дом, в котором родился М. А. Булгаков. Киев, Воздвиженская ул., д. 10. *Современное фото*



Михаил Булгаков — гимназист. 1908, Киев



Киев. Андреевский спуск и Андреевская церковь. *Фото 1960-х годов*

Первая Киевская гимназия, где учился М. А. Булгаков в 1901—1909 гг. 1900-е годы



Михаил Булгаков — гимназист. 1909, Киев



Дом, где жила семья Булгаковых в 1906—1913 и 1918—1919 гг. Киев, Андреевский спуск, д. 13. *Фото 1970-х годов*



Я. В. Крынская (прототип Ванды в романе «Белая гвардия»). 1900-е годы, Киев



В. П. Листовничий (прототип Василисы в романе «Белая гвардия»). 1900-е годы, Киев



Т. Н. Лаппа. Начало 1910-х годов



М. А. Булгаков. 1913



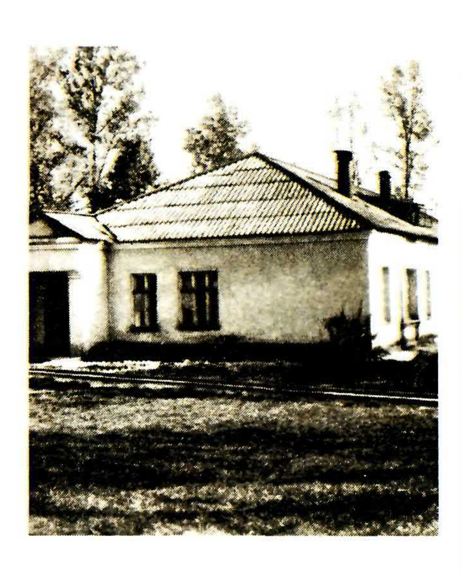
Семья Булгаковых-Покровских на даче в Буче (под Киевом). Лето 1914 г. Слева направо: М. М. Покровский, Надя Булгакова, Вера Булгакова, Т. Н. Лаппа (Булгакова), Елена Булгакова, В. М. Булгакова, М. А. Булгаков, Н. М. Покровский, В. Богданов, Варя Булгакова, М. Лисянская, И. Л. Булгакова, И. П. Воскресенский



М. А. Булгаков. 1916, Киев



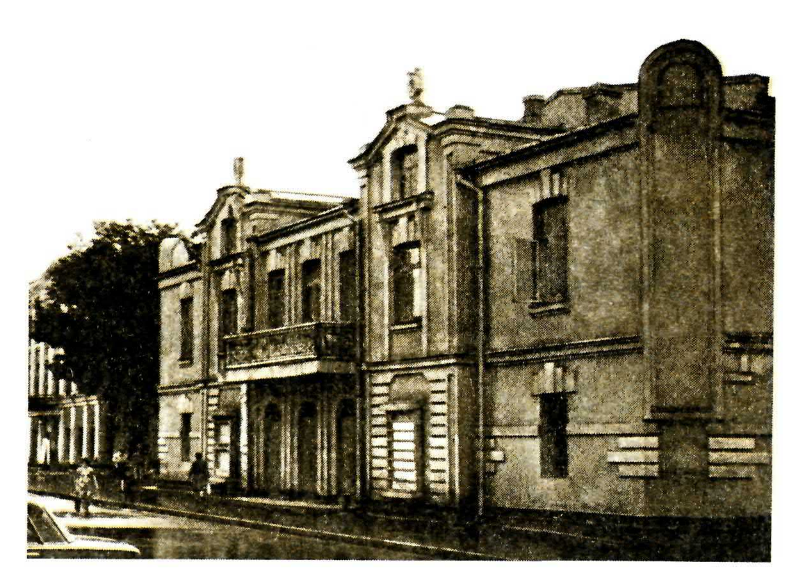
М. А. Булгаков среди раненых в Киевском госпитале Красного Креста. Начало 1916 г.



Вязьма. Городская земская больница (флигель), где Булгаков работал врачом в 1917—1918 гг. *Современное фото*



М. А. Булгаков. 1916, Киев



Владикавказ (совр. г. Орджоникидзе). Здание, где в 1920 г. Булгаков работал в подотделе искусств Владикавказского наробраза



Владикавказ (совр. г. Орджоникидзе). «Первый Владикавказский советский театр», где в 1920—1921 гг. шли ранние пьесы М. А. Булгакова



М. А. Булгаков. *Рис. А. Куренного.* 1923, Москва, изд-во «Никитинские субботники»



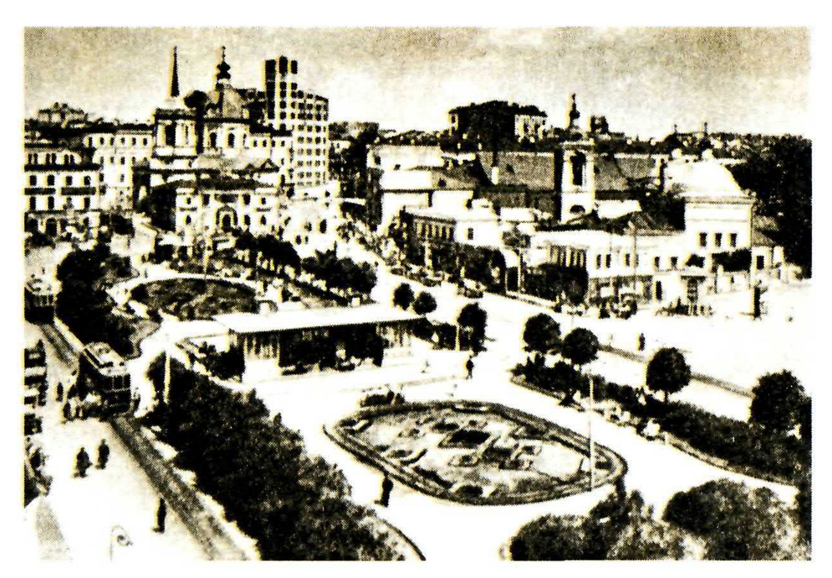
М. А. Булгаков. Начало 1920-х годов, Москва



М. А. Булгаков. 1926, Москва



Л. Е. Белозерская. Середина 1920-х годов, Москва



Москва. Арбатская площадь. *Фото 1920-х годов*

Москва. Дом по Сретенскому бульвару, 6, где в 1921 г. М. А. Булгаков работал в Лито Главполитпросвета. *Современное фото*